

Зинаида Александровна Миркина родилась в Москве в 1926 году. В 1949 году она окончила филологический факультет МГУ, но из-за болезни на пять лет приковавшей её к постели, распределения не получила и работала потом дома. Писала всю жизнь стихи и прозу. В советское время печататься могла лишь как переводчик из-за религиозной направленности своих стихов. Основные переводы — Р.-М. Рильке, суфийская поэзия. В 90-е годы начали выходить книги — вышло десять поэтических сборников и несколько томов эссеистики и художественной прозы, часть из них в соавторстве с Г. С. Померанцем. З.А. Миркина — лауреат норвежской премии Бьёрнстерне Бьёрнсона.

УЧИТЬСЯ ПАДАТЬ

В сказке Михаэля Энде человек живет на уютно меблированном диске, вертящемся в уютной полусфере, вроде планетария, украшенной звездами и луной. Но вдруг небесный свод треснул и сквозь трещину глянула бездна. В бездне, ни на что не опираясь, стоит закутанная человеческая фигура, — и этот человек ни на чем, позвал: «Иди ко мне!» - «Я упаду, - ответил человек на диске. — Ты обманщик, ты зовешь меня в пропасть...»

Трещина за трещиной - весь мир человека разваливается, а человек ни на чем при каждом повороте диска смотрит в глаза и мягким голосом зовет к себе: «Учись падать. Учись падать и держаться ни на чем».

Я помню вечер в Коктебеле, когда Зинаида Миркина читала свои стихи. «Нет, я еще жить хочу!» — воскликнул поэт Р. Он не хотел падать и держаться ни на чем. И как человек на своем рассыпающемся диске, он вцепился в обломки. Но диск рассыпается, открыты или закрыты наши глаза, видим мы трещины или нет.

Мир начинается с нуля.

Из ничего встает Земля.

И звезд немое волшебство

Рождается из ничего.

Из полной тьмы восходит свет.

Из одного сплошного «нет»,

Как океанская вода,

Разлилось мировое «да!».

О, тот чреватый миром ноль,

В котором утихает боль!

Та точка, где весы стоят,

Уравновешивая ад,
Где Дух одолевает вес
Всех гор и всех семи небес.
.....
Кто не доходит до нуля,
Под тем колеблется Земля,
Над тем гремит небесный гром -
Тот не становится творцом.

Кто до нуля дойти не смог,
Тому лишь только снится Бог,
И глаза Божьего овал
Его пугает, как провал (З. Миркина)

Нуль Зинаиды Миркиной - это опустошенность сосуда, в который входит дух Целого. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», - говорит Майстер Экхарт. Нуль - это ни одной капли твари, абсолютное ничто твари. И вот здесь, когда все очевидное рассыпается в прах, наступает черед веры. «Вера же есть... уверенность в невидимом» (Послание к евреям, 11:1), которое не может быть удостоверено внешне и постигаемо только внутренне. Говоря языком автора, это черед истины без ее двойников, без застывших авторитетов, без слов, выцветших от тысячи повторов, миг авторитета внутри нас, миг творчества.

Зинаида Миркина обращается к истокам творческого самосознания, о котором писали «Вехи»³: к Пушкину, к Достоевскому - и изнутри Пушкина, изнутри Достоевского освобождает их от препятствий, созданных страхом падать и держаться ни на чем, когда вдруг терялась способность идти по водам - и, подобно апостолу Петру, они начинали тонуть (Матфей, 14:30-31). Это не внешний суд (очевидно, немислимый); это Пушкин судит Пушкина, Достоевский - Достоевского. Да, но устами Миркиной? Странно. Непривычно.

Литературоведы так не пишут. Филологи так не пишут. Пишут - поэты, а у каждого поэта свой Пушкин, свой Достоевский, и в этом своем Достоевском Зинаида Миркина видит его взлеты и провалы: так, как поэты видят взлеты и провалы своих героев. Ибо для каждого подлинного поэта его герой - сын, единосущный отцу... Можно не согласиться с Пушкиным Марины Цветаевой (у вас, может быть, - ваш Пушкин, ставший частью вашего

внутреннего мира). Но некорректно возражать, что «Мой Пушкин» Цветаевой - не настоящий Пушкин. Настоящий Пушкин - это именно Пушкин личного восприятия, Пушкин читателей, а не памятник на площади и не условная схема юбилейных статей.

Все поэтические воплощения Пушкина или Достоевского - это факты одновременно двух творческих биографий: посмертной - того, о ком пишут, и живой биографии пишущего. Творческая личность познается творческой личностью. Лирический отклик на лирику не менее истинен, чем структурно-семиотический анализ (целостно истинен). А доподлинный Пушкин, доподлинный Достоевский - вечная, неисчерпаемая тайна, к которой можно бесконечно подходить — и никогда нельзя окончательно, бесповоротно прийти так, чтобы и говорить больше не о чем и пересматривать нечего. Зинаида Миркина, может быть, глубже других заглянула в эту тайну: до конца, до предстояния вместе с Пушкиным и Достоевским на Страшном Суде. Но это не документ из канцелярии с печатью Страшного Суда. Это поэт глазом своего сердца увидел поэта. Каждый подступ к великой тайне — «опыт», эссе (слово «эссе» и значит: опыт, попытка). Это эскиз целого. Факты, документы - осколки целого. Сами по себе они не складываются во что-то живое. Душу в глину вдувает художник, монтирующий факты, создающий из «фактов жизни» Пушкина и Достоевского живого героя. Всегда единственного его собственной личности. «Пушкинская речь» Достоевского говорит мне и о Пушкине, и о Достоевском (неизвестно, о ком больше). «Мой Пушкин» Цветаевой - о Пушкине и о Цветаевой. «Прогулки с Пушкиным» Синявского (Герца) - о Пушкине и о Синявском. Так и эта книжка - самораскрытие ее автора. На той предельной глубине, которая автору доступна.

Дух нельзя измерить ничем, кроме духа. Только собственной глубиной, ожившей от прикосновения слова, я могу проникнуть в глубину поэта. И в процессе измерения я одновременно изменяю и его (приближая к себе), и себя (приближаясь к нему, вмещаю его в себя). Я постигаю его собой (это субъективно); но в ходе постижения я действительно меняюсь и в себе постигаю его (его, существующего вне меня). Бердяев писал, что глубинное познание «трансубъективно» (то есть лично мое и в то же время не только мое) — по ту сторону объективного и субъективного.

Познание Целого подобно борьбе Иакова с ангелом, как ее описал Рильке:

Кого тот ангел победил,

Тот правым, не гордясь собою,

Выходит из любого боя

В сознание и расцвете сил.

Не станет он искать побед.

Он ждет, чтоб высшее начало

Его все чаще побеждало,

Чтобы расти ему в ответ.

(«Созерцание». Перевод Б. Пастернака)

Не очень важно, какого поэта мы больше познаем в «Моем Пушкине», в «Истине и ее двойниках» и подобной «прозе поэта». Важнее, что мы познаем Поэта и сквозь него - «Поэта величайшего». Так - поэтом величайшим - Тагор называл Бога.

Григорий Померанц

ИСТИНА И ЕЕ ДВОЙНИКИ

«Я на то родился и на то пришел в мир,
Чтобы свидетельствовать об Истине;
Пилат сказал Ему: что есть Истина?»
(Иоанн. 18: 37-38).

«Мы говорим о том, что знаем,
И свидетельствуем о том, что видели;
А вы свидетельства Нашего не принимаете».
(Иоанн. 3:11)

ГЛАВА 1

СОЗЕРЦАНИЕ

«Сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду кажется, что про то».

«Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить»¹.

Это слова князя Мышкина, человека, имевшего настоящий религиозный опыт и потому о Боге не спорившего. Меньше всего надеялся он показать и доказать то, что открылось ему в тишине и в глубине. Все слова и доказательства - не про то, ибо «то» - не предмет среди предметов, не явление среди явлений. Все, что можно увидеть физическими глазами, показать и удостоверить - не то. Даже сам Иисус, увиденный одними физическими глазами - не то, не чудо, не Бог.

Чтобы увидеть «то», вовсе не надо закрывать глаза на «это». «То» не опровергает и не зачеркивает этот мир. Оно его только углубляет и высветляет. Увидеть «то» - значит увидеть сквозь этот смертный мир его бессмертную суть, вечность сквозь время, смысл сквозь бессмыслицу. Можно ли это понять и доказать тому, кто видит и чувствует не так, как вы? Можно было спорить о том, что вокруг чего вертится: Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Для каждого века была своя научная истина. Я допускаю даже возможность спора о том, существуют ли Земля и Солнце на самом деле или только в нашем воображении. Но о том, люблю ли я солнце, люблю ли я красоту, люблю ли я моих близких и, наконец, Бога, - спорить нельзя. Я люблю. Это бесспорно. Верите вы этому или не верите, это другой вопрос. Но я-то знаю.

Бесконечность жизни ощущается так же, как и любовь: сердцем. Созерцание - это есть виденье сердцем, только сердце может доглядеть вещи до их невидимой сути, доглядеть творение до Творца, мир до Бога. Бога не видел никто и никогда. Это сказал еще апостол Павел.

Бог объективно, то есть извне, не удостоверяется, ибо Он внутри. Где-то очень глубоко внутри нас есть единая, общая всем точка, единый центр, единая реальность, без которой жизнь вообще немислима,

которая и есть Жизнь Вечная.

Истинная вера есть абсолютность сердечного зрения. Обнаружение вещей невидимых, то есть умение видеть сердцевину жизни. Если же начались споры и разногласия, значит, внутренне еще не увидено.

Значит, мы - вовне.

Истинно религиозный путь - это раскрытие внутреннего глаза, это не спор об Истине, а развитие сердечного внимания, растущее затихание, в котором начинает звучать то, что вовне не слышно. Духовная Истина не очевидна, но она внутренне бесспорна.

Однако вся история человечества, человеческой мысли, а заодно и история Церкви, есть история бесконечных споров, рассекающих истину на куски... Вечный спор о том, кто прав...

И, конечно, по обе стороны баррикад - цитаты из Евангелия (или других священных книг). «Не мир, но меч» (Матфей, 10:34). Но ведь Он же сказал: «Взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей, 26:52). Как это совместить? Какую бы половину ни выбрать - все будет против Него, против целостной истины. А как совместить?

Когда-то фарисеи именно так Его и улавливали: «Позволительно ли нам давать подать Кесарю?»... И получили ответ: «Кесарево - Кесарю, а Божие Богу» (Лука, 20:22,25). Но как узнать, что кесарево, что Божие? Кто скажет?

Извне не скажет никто. И снова мы возвращаемся к жгучему вопросу: «Не мир, но меч»? Или «Взявшие меч, мечом погибнут»?

Попробуем выбрать второе. Кажется, весь дух христианства за это: «Любите врагов ваших» (Матфей, 5:44), «Блаженны миротворцы...» (Матфей, 5:9). Ну, а если на ваших глазах убивают ребенка? И словами о миротворцах оправдывается малодушие, трусость?..

Выход один: внутри должны быть некие весы, и никуда от этого не денешься. Нет правды на все случаи жизни. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матфей, 6:33).

Ищите. Ибо оно всегда сокрыто. Только следы, только вехи на пути. Только притчи. Только образы...

Бог творит нас по Своему подобию. Он творит образ. То есть говорит, каким хочет нас видеть, а не как нам поступать. Целостное «каким быть», а не сборник правил, как быть в каждом случае.

Ни одной директивы. Только образы. В целостном образе совмещается логически несовместимое.

Если видеть сердцем целостный образ Христа, то нельзя не почувствовать, что Он скорее сто раз даст убить себя, чем один раз Сам убьет кого-либо. Если бы это было не так, не было бы распятия. «Отойди от Меня, сатана» (Матфей, 16:23), — говорит Он Петру, хотевшему во что бы то ни стало спасти Учителя от казни... И знаменитое «Взявшие меч, мечом погибнут» было сказано ему же, пытавшемуся мечом защитить безоружного пленника.

И все-таки всех, кто будет буквально выполнять Его слова, Он внезапно ошеломит так же, как ошеломлял фарисеев, нарушая букву Закона и следуя его духу. «Не суббота для человека, а человек для субботы» (Марк, 2:27)... «Не мир, но меч»... по отношению к греху, ко злу. Не мириться со злом и грехом, в то же время бесконечно жалея и любя грешника, воистину бесконечно, вплоть до того, чтобы принести себя в жертву за всех.

Вот это «не мириться, любя», «не примиряться, жалея» и есть целостность, совмещение логически несовместимого. «Не мириться» — без любви и жалости — было бы тем, от чего Христос дальше всех на свете. Любить, жалеть и мириться с подлостью, низостью в душе любимого — это тот самый мир, о котором сказано: не мир, но меч.

Против зла стоять насмерть. Но как? А вот это никогда не известно. Только помнить, что оно и в других, и в тебе — одно и то же зло. И если приходится брать в руки настоящий, а не только метафорический меч, нельзя забывать, что это обоюдоострое оружие. Рубя других, ты можешь ненароком загубить доброту в себе самом. И тогда враг, пораженный вовне, проникнет к тебе внутрь. И станет еще страшнее.

Итак что бы Христос ни сказал, это не указание, а образ, и тот, кто приближается к образу Христа, в ком Христос изображается, тот и прав.

Главное - не спор о том, какая идея правильна, а какая - нет. Равное - это умение отличить человеческую идею, всегда относительно верную и неверную, от божественной, абсолютной истины, не определяемой нами, а определяющей нас. Но как отличить человеческое от

божеского? Божеское от кесарева?

Этот вопрос ответа не имеет. По определению одного религиозного мыслителя (Джидду Кришнамурти), только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные - ответа не имеют. Правильные вопросы направлены внутрь, к Богу, который внутри нас. И ответить на них может только Бог - так, как ответил Он Иову. О человеческих идеях можно спорить. Божественную Истину можно только созерцать.

Созерцание... Самое пассивное состояние души. Земля, принимающая семя. Абсолютная полнота внимания, сила которого обратно пропорциональна действию. Никакого движения. В том числе движения мысли. Никаких помех, Душа настроилась на прием. И тогда совершается таинство. Происходит зачатие от Духа.

И в физическом, и в духовном мире законы одни и те же. Нельзя выдумать себе ребенка. Так же как нельзя выдумать настоящую поэму. Она зачинается, вынашивается и рождается. Она может быть неудачной или удачной (как ребенок), но если она живая, на нее также

распространяется заповедь: не убий...

Живое, сущее - не значит обязательно новое. Оно - вечное. И оно

каждый раз заново рождается. Нельзя просто повторить вечную мысль. Ее нужно созерцать. То есть увидеть сердцем, соединиться с тем, что видит сердце, - зачать, выносить и родить заново. То, что только повторено, а не рождено, не живое И оно бесконечно уступает самому плохонькому, самому неправильному и несовершенному, но живому. И это вечный соблазн для человеческого ума, которому всегда хочется повторить или ниспровергнуть (что очень часто - две стороны одной медали), но не родить заново... Дети, подростки повторяют или ниспровергают - но они живут в мире, уже сотворенном; творить, рождать они еще не умеют И наше, несколько тысячелетий насчитывающее человечество (если говорить о массе), - еще не вышло из школьного возраста. Легче всего нам повторить или ниспровергнуть (или делать и то, и другое сразу).

До сих пор длится на свете древняя мистерия: Иов и его друзья.

Бог предаст своего любимого праведника в руки сатаны, и тот отнимает у Иова все, что ему дал Бог: богатство, всех десятерых детей, здоровье. Иов поражен страшной болезнью. Он абсолютно немощен. И один в пустыне. «Похули Бога и умри», - говорит ему жена, которой опротивело его дыхание (Иов, 2:9, 19:17). «Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных; неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов, 2:10).

И вот приходят друзья и останавливаются перед Иовом и молчат, потрясенные. Если бы они не прерывали молчания! Если бы они отважились на созерцание, на полноту сострадания, на сопричастность!

Но созерцание, истинное духовное созерцание - это не просто пассивность. Это самый напряженный духовный труд. Это отказ от движения внешнего ради движения внутреннего. Это затихание, замирание всего, что вблизи и на поверхности, для того чтобы услышать то, что вдали и внутри. Это размыкание своей малой цельности, самости для смыкания с великим целым (не от себя творю) — сотворчество с Богом. Это ступень, на которой нелегко устоять.

И друзья Иова спохватываются. Им не по силам настоящий духовный труд. Они не дают своему молчанию созреть и принести плод. Священное бездействие, в котором вот-вот начнет действовать Бог, их пугает. Они начинают действовать сами. От себя. И вся великая мудрость веков - к их услугам. Только повтори. Выучил - повтори.

И они призывают мученика к покаянию. Если Бог свят, то Он прав. Если Он прав, значит, ты не прав. Если Он наказывает - кайся!

И тут-то Иов не выдерживает. И проклинает. Не спешите говорить, что Бога. — Он проклинает ходячую мудрость, человеческие представления о Боге, а заодно и свои собственные представления, свою собственную накопленную мудрость и стойкость, свой разум, свою силу, свою способность терпеть. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов, 3:3)

Все сметено. Весь хлам мертворожденных слов отброшен. Остается одна боль, одна исстрадавшаяся душа и ничего больше. Молчание. И здесь, в молчании, становится слышимым живой голос. Живой Бог ответил душе, которая отбросила все неживое и пробилась к обнаженной таинственной Глубине, к смыслу своего страдания. Бездна открылась Бездне. Гром. Буря. А потом — тишина. И в ней — Бог. То есть Чудо. Ощущение нового измерения Жизни.

Какие слова сказал Бог Иову? Если быть целомудренным, надо бы не повторять этих слов, никогда не повторять. То, что Бог сказал Иову, - это Тайна. Было живое созерцание. Свершилось таинство. Из живого созерцания, как плод его, родились слова.

Эти слова не так уже многим отличаются от слов, которые говорили Иову друзья. И все-таки между словами Бога и словами друзей — бездна. Та самая Бездна, из которой рождается жизнь. Одни слова рождены. Другие повторены. Разница только в этом. Но не бывает разницы большей. Одни слова - таинственные - живые. Другие слова — лишённые всякой тайны — мертвые.

«Мысль изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев. «Silentium!»), — сказал поэт и продолжал всю жизнь писать, говорить — изрекать... Он хорошо знал, как трудно изречь и как трудно услышать мысль. Он предостерегал и говорящих, и слушающих от видимой легкости восприятия, от повторения вместо рождения.

Изречь мысль (или услышать изреченную мысль) значит зачать, выносить и родить. Мысль изреченная — готовая мысль, обретшая форму мысли, есть оболочка мысли. А у

нее, кроме этой видимой оболочки, есть глубина. Тайна. Не причастившись этой Тайны, не изречешь живого и не услышишь живое.

ГЛАВА 2

МЕРА ЖИЗНИ

Истинная вера в Бога невозможна без созерцания. Вера без созерцания есть омоним веры, а по сути — ее антоним. Это «не та вера - не доверие глубине, раскрывшейся сердцу, а слепое доверие чему-то внешнему, чего сердце не знает». То, что знает сердце, не нуждается в удостоверении.

То, что можно проверить, — не Чудо и не Вечность. Ибо проверка лежит в области внешних глаз, внешних чувств — на том самом поповерхностном уровне, на котором Чудо существовать не может, как не может существовать в верхних слоях моря глубоководная рыба. Чудо - не нарушение физических законов, а обнаружение других законов, не противоречащих законам физического мира, а не за-висящих от них.

Обнаружение Вечности внутри преходящего мира, обнаружение бессмертия внутри смертных существ... То, что только было или только будет, не есть вечное. Какое же оно вечное, если его нет сейчас? Можно проверить, было ли, можно проверить, будет ли, но можно ли проверить, есть ли?

Прежде всего - любовь. Можно ли проверить любовь?

По-моему, то, что можно и нужно проверить, не есть любовь во всем истинном значении этого слова. Любовь одаривает сердце всей полнотой жизни. Этого и есть мерило. Этим мерят. Это же не мерят ничем.

Вот тут я предвижу остановку. Недоумение, а подчас и бунт сознанный, привычно направленного на физический мир. «Как это не мерят ничем?!» Мы привыкли всё мерить. Мы не знаем того, что нельзя измерить. Любовь? Любовь меряется делами. Даже и Евангелие цитировать можно: «По плодам их узнаете их...» (Матфей, 7:16).

Да... совершенно верно. Как разобрать бедному королю Лиру, которая из дочерей действительно любит его? Разве не по делам, разве не по плодам? Ну, конечно, и по делам, и по плодам... — для слепых сердцем, не способных видеть... Корделия, Гонерилья и Регана были точно такими же, когда изъяснялись в своих чувствах к отцу, как и потом, когда проявили их на деле. Король Лир не видел, а верил в общепринятом смысле этого слова. Такая вера подлежит проверке. Иногда она ее выдерживает, иногда — нет. Но и подтвержденная, и опровергнутая, это — не та вера.

У Л. Андреева есть рассказ о человеке, страстно веровавшем. Но когда он не смог со своей верой сотворить чудо, он как бы в пропасть упал. Вера его рассыпалась. Это типичный пример «не той» веры: истинная вера не может рассыпаться никогда ни от чего на свете. Ибо все будет - «не про то», как говорил князь Мышкин.

Вера истинная ведет туда, где ничего измерить нельзя. Из мира поступков в мир причин и еще глубже — к таинственной Первопричине жизни. Все дела, плоды, результаты находятся в мире внешнем, в мире следствий, видимых, проявленных. Первопричина — не дело, не плод, не результат и ничем из перечисленного не мерится. Она мерится только самой собой. Истинно верующий уже сдвинул гору. Сдвинутая гора - это сброшенное с духа давление материальной силы, это непоработаемость духа плотью, независимость от нее, внутренний выход в Царство, которое не от мира сего. В царство, где дела проверяются Любовью, а не Любовь — делами. Ощущение полноты Любви в сердце и есть высшая точка жизни. Ее центр. Ее смысл. Внутреннее солнце, от которого расходятся житнетворные лучи во внешний мир. «Бог есть Любовь» (1 Иоанна, 4:8).

В одной суфийской притче Бог явился к святому и предложил исполнить любое его желание. «Зачем мне это, — ответил святой. — С меня достаточно того, что Ты есть».

Это предел веры, это полнота созерцания. Большого не может быть. Все уже есть. Сейчас и здесь. Тот, кто увидел Бога, увидел непреходящий смысл преходящих вещей, увидел все прошедшее и будущее. Смерть прошла. Прошло прошлое. Воскресение и жизнь вечная.

«Я есмь воскресение и жизнь» (Иоанн, 11:25), — сказал Христос слова, которые невозможно вместить тем, кто привык все измерять мерками разума.

ГЛАВА 5

УСИЛИЕ, КОТОРЫМ БЕРЕТСЯ ЦАРСТВО

Достоевский был тем Иовом, который докричался до Бога. И увидел. И онемел, потрясенный. Он почувствовал Нечто, за что можно отдать жизнь:

«Так ужасно ясно и такая радость... Если более пяти секунд, то душа не выдержит и исчезнет. В эти пять секунд я переживаю жизнь и за них отдал бы всю мою жизнь, потому что стоит»⁴.

Это сказал Кириллов, но мог бы сказать и сам Достоевский. Он сам пережил предсмертное созерцание освещенного солнцем шпилья и не устанет говорить о пронзенности Богом, точно этим горящим шпилем. Насквозь пронзен и жив, а не умер. Случилось событие огромной важности: при яркой вспышке внутреннего света он отчетливо увидел цель своего пути. Увидел сам путь, и вырвались из сердца слова «смешного человека»: «И пойду! И пойду!»⁵.

-Куда?

Да разве это объяснишь?

-Как?

Да разве это расскажешь?

Однако - идти и рассказывать, проповедовать Истину, которую он видел. Видел Истину... Так что же он, преобразился? Стал святым? Только ли свет исходит от него?

Нет.

В глубине его сердца как бы: проступил образ святого - князя Мышкина («Идиот»), От него он никогда не откажется. Это теперь центр его жизни, его глубинная святость. Образ человека, в котором отпечатался Бог, в котором произошло преображение. Человека, в котором умерло «эго». Соблазны? Борьба с соблазнами? Князь не знает этого. И не потому, что у него детское сердце, еще не понимающее сладости запретного плода. Так думают о князе часто, но это неверно.

Князь — сердцевед, почти ясновидящий, князь видит и знает больше всех окружающих его грешных людей; и если безгрешен, то не по неведению, а потому, что грех над ним не властен, его не тянет к греху; красота Содомы ни на мгновение не кажется ему красотой. Сердце его не раздвоено. Оно отдано божественной красоте. Любовь к этой божественной красоте, к Богу, которого увидел он внутренним зрением, выжгла грех. Он стал прозрачным чистым сосудом, наполненным светом. Он светится. Святой, светящийся... Его можно растерзать, но не соблазнить. Он навсегда оставит светящийся след.

А сам Достоевский?

Такого полного преображения в нем не произошло. Цельности нет. Одна часть души его у цели, в далекой глубине своей; другая — только начинает свой путь, спотыкается, падает, поминутно оглядывается. И все-таки: «И пойду! И пойду!». И идет. Внутренний человек зовет, внешний сопротивляется призыву духа. Идет великая борьба, может быть - до последнего вздоха жизни. Ясно только одно: она не может решиться в отрицательную сторону (в сторону внешнего человека).

Эти слова, сказанные Зосимой об Иване, можно отнести и к автору «Карамазовых». Он любит князя Мышкина, любит святого, святость, как и Иван — своего младшего брата. От этой любви ему никуда не деться. Без нее он жить не может. И она и есть спасающая, охраняющая и направляющая сила его души. Это по ее велению он идет к своей цели, своим трудным, подчас страшным путем.

В глубине его души живет святой. Но жить на этой глубине - значит жить в постоянном созерцании. И даже тысячу раз пережитое созерцание еще не есть постоянное созерцание.

Постоянное созерцание, как и непрерывная молитва, — это уже некое новое качество сердца и ума — преображение.

Весь Достоевский — это порыв к преображению. И созерцание возможности преображения. Но самого преображения — полного перерождения человека, перерождения его строя чувств, его желаний, — еще не наступило.

В романе «Идиот» описано первое религиозное созерцание Достоевского: созерцание луча света на шпилье в ожидании казни. С тех пор это, может быть, не раз повторялось, — созерцание Вечности, созерцание смысла жизни. Те самые минуты, «в которые epileptic Магомет обзирал все царства Аллаха».

Действительно, эти минуты граничат с откровениями родоначальников великих религий. Личные свидетельства о Боге. Открывание третьего глаза или шестого чувства, видящего, ощущающего непреодолимое, остановку времени, абсолютную полноту жизни. Но вслед за этими вознесениями земная физическая природа брала верх и наступала тяжелая тьма, отупение, почти что муки ада. Князь Мышкин говорил, что светлые минуты стоили всего. Впрочем, тут же прибавлял, что во время мучений он, может быть, и не считает, что минуты просветления искупают их, и все-таки вне всяких соизмерностей и логики знает сердце, что в минуты эти оно видело Истину. (Не куцую правду факта, представляющую глазам, а бесконечную Истину-смысл, представляющую сердцу.)

Одновременно или сразу вслед за созерцанием Высшего Света приходит к Достоевскому и созерцание греха. Вернее, в этом новом свете становится видна истинная природа человека - и Высший Образ, по которому он создан, и бесконечность отдаления его от этого Образа — глубина падения. Вместо туманной мечтательности приходит видение действительности со всей ее красотой и ужасом. Со светом, вонзающимся во мрак, и мраком, грозящим затмить свет. В этой борьбе света и мрака — весь Достоевский. Придет он или не придет к постоянному свету, победит или не победит, - но огромная воля к свету есть, и она струится со страниц его романов. Все они, начиная с «Преступления и наказания», — это великая, может быть, неслыханная в мировой литературе по силе искренности и глубине исповедь. Это обнародование своих бесконечных сомнений, бесконечных грехов своего ума и сердца. (Да, и ума, и сердца. В одних романах внимание больше сосредоточено на грехах ума, в других — на грехах сердца.)

И вот в мир, на обозрение всем хлынул такой поток откровенности, которого человечество еще не знало. Никто никогда в мировой литературе еще не заглядывал в такие глубины подсознания, в такие темные уголки души и вместе с тем никто и никогда не подступал так близко к самому Источнику света.

Немудрено, что читатели были ошеломлены. Герои Достоевского были списаны как будто вовсе и не с них, и не с их соседей. На самом деле люди просто не умели видеть ни себя, ни своих соседей. У них было другое зрение. И вот поступки героев, в которых созерцаются и воплощаются невидимые, не выявленные движения души, воспринимались как поступки самого автора. Дошло до того, что Достоевского обвинили в грехе, который он считал самым страшным на свете. Ставрогин («Бесы») и его творец сливались в сознании читателей в одно лицо.

При этом забывалось одно невероятно важное обстоятельство: самый страшный герой Достоевского (ибо страшнее Ставрогина нет) не отважился на покаяние. Его проект покаяния был игрой с самим собой. Он смог все, на что его подбивал дьявол, а послушаться Божьего голоса не смог. Здесь он оказался немощен. Не хватило того самого усилия, которым берется Царствие Небесное. Усилия покаяния — усилия отталкивания от нашей грешной природы.

Достоевский вовсе не делит мир на всегда плохих и всегда хороших, на ангелов и демонов. Все динамично. Праведник — не тот, кого Бог таким сделал, а тот, кто сам себя поднял из грязи. Он мог быть самым закоренелым грешником. Чудо в том, что и для

такого грешника возможно полное преображение, если он по-настоящему от всей души покается.

Такое покаяние и есть чудо. На него нужна великая душевная сила и великая воля к свету. На это не был способен Ставрогин. На это был способен Достоевский. И поэтому расстояние между ними большее, чем от неба до преисподней.

Когда Тихон Задонский, этот истинный святой, говорит Ставрогину: «Я, может быть, грешник больший, чем вы», — это не только заученная формула христианского смирения. Это еще утверждение единой природы всех людей, одного теста, из которого делаются и святые и грешники.

Одного теста? Да разве все на самом деле сделаны из одного теста? Разве не с разными дарами, не с разными возможностями люди рождаются на свет? Одного к греху тянет, и преодолеть это тяготение ему трудно, а другому нет ничего труднее, чем согрешить. По крайней мере - так согрешить.

И все же первоначальная природа у всех едина. Какая таинственная работа совершалась в предсуществованиях наших, когда душа удалялась от своей истинной природы, мы не знаем. И однако, вот главное, что мы знаем, что должны знать: наша истинная природа, Образ, по которому мы все созданы, - священный Божий образ.

И двигаясь к очищению, к святости, мы движемся внутрь, по направлению к нашей собственной сути. Чем дальше человек ушел от своей природы, тем труднее ему вернуться. Но возможность вернуться внутрь есть всегда и у всякого. Грешнику совершить такой поворот труднее, чем праведнику. И именно потому усилие его ценится не-вероятно высоко. И радость об одном раскаявшемся грешнике более, чем о десяти праведниках.

Природа у святого, и у грешника — одна. Отличие святого не в иноприродности, а в том самом усилии, которое могут сделать все. Дерзай! Ставрогин на мерзость дерзнул, а на святость — нет.

Глава 4

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

Ставрогин сочетал в себе грехи и ума, и сердца. Он был как бы хром на обе ноги сразу. Сочетание для героев Достоевского достаточно редкое.

Обычно его страдающие герои — либо мученики идеи, ум которых не принимает Бога, либо мученики плоти, изменяющие Богу, не переставая при этом любить его бессильной, но неотступной любовью.

Разум и Ивана Карамазова и Раскольниковов хочет строить мир по-своему, установить свой порядок вместо Божьего. Бог их не устраивает. Бог для них - выдумка твари дрожащей. А бесстрашный, по их мнению, знает, что нет Высшего, — и сам становится высшим. Это - гордыня ума, великий грех разума, который сдерживает только душа, только живущая в ней любовь. Пока бунтующий гордец любит и страдает, он еще жив, есть надежда. Чем больше страдания, тем больше надежды.

Но взбунтовавшийся разум борется с душой, с любовью, со всеми «низкими» чувствами. И вот Раскольников убивает Алену Ивановну и Лизавету... С первого же шага защитник невинных убивает одну из самых невинных, самых чистых, самых кротких. Ему не давали покоя глаза засеченной лошади? А глаза Лизаветы?

Иван, собственно, не делает никакого шага. Он только примеривается, только думает. И хотя Бог как будто очень мешает ему, он смутно чувствует, что не может стать на Его место, что-то здесь не то... Не так. Не может он без Бога, хотя почему — непонятно. Ничего не удастся поделать с дурацкой, не вмещающей логике душой, которая никакими «разрешениями» пользоваться не хочет, не может, да и все тут! Так что Иван, как и Раскольников, не доволен собой, не соответствует он собственному идеалу, не удастся ему до конца восстать на Бога.

С другими героями все обстоит иначе. Они еще глаз не смеют поднять на Бога. Ни о каком восстании речи нет. Бог их незыблем в небе. Но вот сами себя они не устраивают. Не устраивает себя Мармеладов, не устраивает себя Митя Карамазов... Не устраивает их человек вообще (широк, слишком широк человек...).

И еще один герой (или антигерой) есть в мире Достоевского: человек из подполья. Может быть, первый, кто осмелился до конца заглянуть в самого себя и увидеть не благообразие, а мерзость, был именно человек из подполья. Отшатнулся ли он, ужаснулся ли он - это другой вопрос.

На это у него не хватило силы. Но он увидел. И не скрыл. Он увидел, что обезбоженный человек скрывает в себе беса. И, может быть, потому увидел, что глубже жил. А тот, кто живет мельче, так тесно сросся со своим бесом, что может мирно сосуществовать с ним, вовсе его не замечая и воображая себя благородным и прекрасным.

Подпольный человек слаб; у него нет силы на борьбу с бесом, но он видит. И это не так-то мало. Это живой открытый вопрос о природе человека, поставленный в истоке великих романов Достоевского.

Собственно, с двух этих вопросов и начинается великий Достоевский: о природе человека и о существовании Бога. Действительно ли свят и совершенен Бог, или все это выдумки и нет ни святости Бога, ни Его самого? Действительно ли прекрасен естественный человек, или стихийное животное начало наше уже исказило свою истинную божественную природу и нужен великий духовный труд, чтобы к ней возвратиться?

Эти вопросы романы Достоевского решают так, как будто бы раньше их не решал никто. Герои неотрывно вглядываются в бездну своей души, вызывают бури — и бросаются им навстречу. Иов, буря и Бог почти в каждом романе. Хотя Иов Достоевского редко бывает

Божьим праведником. Чаще всего это Иовгрешник. Однако сила страдания очищает его, сжигает грех, открывает Богу дорогу в сердце, и Раскольников подхватывает луч, протянутый с неба. Протянутый всем: только возьми...

Ставрогин этого луча не подхватывает. Он не хочет помощи. Он сам все может. Иван провозглашает: «Все позволено» («Братья Карамазовы») - и не может (спасительная немощь). Ставрогин может. Он гораздо последовательнее и Ивана, и идеалиста Раскольникова (Шиллера, как говорит о нем Свидригайлов). Если нет Бога, то побоку и всякую мораль. Природа человеческая плоха? Превосходно. Чем хуже, тем лучше. Нужна только сила. Родион Романович долго упрекал себя в недостатке силы. Ну, а Николай Всеволодович чувствовал в себе силу беспредельную. Только и делал, что пробовал силу свою, и убеждался, что она беспредельна. Так ли ему была нужна Матреша? Нет, конечно. Ему нужно было убедиться, насколько способен он попирать все божеские законы. Может быть, это был экзамен на последнюю ступень адского могущества... Сдал экзамен.

Есть две противоположные друг другу силы - любовь и власть. Если любовь есть внутренняя полнота жизни, то власть есть заполнение пустоты. Если любовь — жизнь истинная, то власть — жизнь кажущаяся, замена жизни, возможность жизни, возможность жить при отсутствии жизни.

Хочу сразу избежать спора о словах.

И «Любовь» и «Власть» могут иметь разный смысл. Любовь может быть корыстной и грешной, а власть - необходимым учреждением и освященной Богом тяжелой обязанностью. Такая власть всегда уравновешена ответственностью и не противоречит любви. Может быть, наконец, власть внутренняя. Это и есть власть Бога. Но внутренняя власть никогда никого не поработает. Верный раб Божий — это человек, служащий внутреннему Господину. Это правильно установленная иерархия, внутренний космос. Здесь же я говорю о другом: бескорыстной любви ко всему сущему и о власти как о внешней силе, как о стремлении к безраздельному господству над другим. Ваалы - властители. Дьявол - князь, властитель мира сего. А Бог - это любовь, царь внутреннего царства. Бог — освобождающая душу любовь, дьявол — поработавшая душу власть.

«Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Иоанна, 4:18). Абсолютная власть мира сего как будто тоже не знает страха. Но это внешнее сходство антиподов. Опустошенный, опорожненный от Любви человек устремляется к власти. И становится бесстрашным властелином. Как будто становится... Кто знает, какой-нибудь каторжник Орлов («Записки из Мертвого дома»), может быть, и становится, а Ставрогин... не совсем.

Сверхчеловек, человекобог наткнулся на свое «не могу». И эту подножку подставила ему красота. Он вдруг увидел сон поразительной красоты, любимый сон Достоевского, который снится многим его героям: золотой, закатный свет с картины Клода Лоррена... образ внутренней красоты безгрешного человечества. Ставрогину - такой сон! Да. И он чувствовал, может быть, вспоминал душой неслыханное счастье — может быть, его душа вспоминала в этом сне саму себя еще не искаженную, не искаленную, живую, созданную по образу и по-добию Бога своего. И вот именно в этом золотистом свете, в истинном свете души своей стал невозможен, невыносим ему его страшный грех. И пришла Матреша со своим поднятым кулачком. И кончился всемогущий Ставрогин. Он

уже не смог. Человекобог рухнул. Остался грешный человек, которому протянут луч, паутинка. Спасайся!..

В страшном положении наш мир. Хотя, благодарение Богу, не все, далеко не все дошли до ступени Ставрогина, но все грешны. И если даже Ставрогину можно спастись, то ведь всем, всем можно! Вот где пришла пора действительного испытания силы.

Но здесь он не выдержал.

ГЛАВА 5

ДВА СТРАХА, ДВЕ СВОБОДЫ

«Совершенная любовь изгоняет страх». И абсолютная власть его тоже изгоняет. Друг другу противостоят два бесстрашных: Бог и дьявол.

Совершенная Любовь изгоняет страх дьявола — страх внешнего. Тому, в ком совершилась, восполнилась Любовь, ничто внешнее не страшно. Даже сам ад. Сила Божия не в том, что Он может уничтожить ад, а в том, что ад не может уничтожить Его. Как бы ни старался. Никогда. Бог - это выход сквозь ад, выход сквозь безвыходность. Ад — внешнее. Бог — внутреннее. Выход внутрь, открытый для любого грешника. Открытый всегда. Только сделай шаг. Ступи. Там, внутри, не страшны никакие обстоятельства, никакие физические законы. Там есть нечто, не зависящее от этих законов и законы эти творящее.

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн, 2:19). Что это значит? Если здесь говорится о чуде, которое могут увидеть физические глаза, то почему: «мир уже не увидит Меня, а вы увидите» (Иоанн, 4:19)? Почему, наконец, Он просто не сошел с креста, доказав этим всем и каждому свое всемогущество? Сошел с креста или воскрес на глазах у всех - не такая уж большая разница. Тут дело в ином... В том, что не происходит на глазах у всех... А только в таинственном внутреннем пространстве. (То, что происходит потом, «на глазах у всех», — весь мир наш и каждая песчинка этого мира — имеют корень и причину в таинственном «внутри». И все тайное станет явным. Но тайное никогда не сведется к явному и не мерится явным. Оно само по себе мерило. Его нельзя доказать и показать. Внутреннее предстает лишь внутреннему. То, что Христос умер, видели все. То, что Христос воскрес, видят немногие.)

Бог не уничтожает ад, но Он его бесконечно превосходит. По сравнению с бытием Бога, ад — небытие, ничто. Бытие кажущееся.

Страх Божий — это страх внутреннего своего, это страх перед своей собственной жизнетворной глубиной, перед Творцом. Постоянный внутренний трепет свободного сердца, боящегося попасть в рабство к внешнему, отторгающему от самого себя.

Мы знаем словосочетание «страх Божий». И как-то не принято другое: страх дьявольский. Есть просто страх, обычный, порабащивающий душу страх внешнего — страх перед обстоятельствами, страх перед творениями видимыми, все более уводящий от невидимого, бесплотного Творца. — От своей собственной божественной сути. Это страх тварный. И все же он от дьявола, этот страх. От князя мира сего. Он внушен его властью над нами.

Есть священный внутренний трепет — страх оскорбить того, кого люблю, кто любит меня и дает мне жизнь. Этот страх углубляет и возвышает душу. И есть унижительный трепет раба перед господином, унижительный страх слабого перед неодолимыми обстоятельствами. Этот страх мельчит, унижает душу.

Бог учит не бояться дьявола. Дьявол учит не бояться Бога. Вера в Бога — ощущение полноты бытия только во внутреннем пространстве, ощущение независимости этого пространства ни от чего внешнего. Живое ощущение это, которое есть не что иное, как собирание любви, собирание Духа Святого, в конце концов изгоняет страх внешнего. Совершенная любовь изгоняет тварный страх, побеждает его. Но процесс совершенствования любви идет через сталкивание страхов.

Если страх обидеть в тебе больше, чем страх быть обиженным, страх причинить боль больше, чем страх испытать боль, значит ты больше веришь Господину внутреннему, чем господину внешнему. Значит твоя любовь к этому Внутреннему говорит тебе все более и более внятно, что истинное бытие и истинное могущество сосредоточены только внутри. И ты все больше убеждаешься, что внешнее бытие — временное и в конце концов кажущееся, а внутреннее — вечно сущее. Ты все более убеждаешься, что главное в жизни твоей зависит вовсе не от кого-то и не от чего-то, а от тебя самого, потому что ты властен обидеть или не обидеть, причинить боль или не причинить (великая власть!..); и сам властен вынести обиду и боль от других, не замутясь душой, не позволив вырвать ее из глубины на мель и разъединить со своей сутью.

Любовь к этой сути, к житнетворной вечной глубине, любовь к Творцу освобождает душу от страха перед тварью. Любовь к Творцу есть живое ощущение нашей общей, невидимой глазам Вечности, общего нам всем внутреннего пространства. Страх потерять это пространство, потерять вечность, быть извергнутым из нее во тьму внешнюю, изгоняет страх перед самыми большими страданиями.

Два страха, две смерти противостоят друг другу... Самое совершенное из творений - Иисус Христос — не был свободен полностью от тварного страха. Его слезы в Гефсиманском саду... Его смертный пот... Его до сих пор не отзвучавшее восклицание на кресте... Страх тварный в Нем был, поскольку и в Нем была природа человеческая. Но его победил страх Божий. Победила полная готовность растворить свою человеческую волю в воле Божественной. Да, пусть убьют, пусть распнут, но любовь останется цельной, свет не уйдет из сердца.

«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»... (Лука, 23:31). Больше-шего не может сказать человек в свой страшный, свой смертный час. Предельная вера в Творца. Больше быть не может.

Нет, не магическое избавление от смерти, а прохождение через смерть. Сознательный выбор одной смерти во имя избежания другой. Смерть для внешнего, временного, во имя жизни внутреннего, вечного. (Я умру, да будешь жив Ты!) Смертию смерть поправ.

Дьявол — тварь. Сильнейшая из тварей. Может быть, не дрожащая тварь... Бесстрашная тварь, но тварь, а не Творец. Той дрожи, того трепета, который соединяет тварь с Творцом, в нем нет или почти нет (он предельно мал, этот трепет; он побежден духом власти, упоением своей властью). Дьявол княжит в мире сем — внешнем; правит тварями, владеет ими.

Как? Почему? Почему Бог позволил это? Обычный вопрос, порожденный вечной путаницей. Люди упорно представляют себе Бога как власть, которая может что-то кому-то позволять или не позволять... Путаница между внешним и внутренним, между Божиим и тварным.

Нет, Бог не управляет жизнью извне. Бог только есть среди небытия и Он не дает небытию поглотить Себя. Сущность Бога - БЫТЬ И ТВОРИТЬ. Дьявол же не может ни того, ни другого. Он не причастен к полноте бытия — жизни вечной. Он не причастен к творчеству жизни. Что же он может? Только обладать тем, что сотворил Бог. Обладать и распоряжаться. Ибо Творец не обладает ничем. Творить и обладать — противостоящие друг другу понятия.

Творчество — это дыхание Творца, ритм, движение, поток. Обладание - задержка дыхания, остановка сердца. Дьявол может обладать тем, что сотворил Бог. Только не самим Богом.

БОГОМ, - ЖИЗНЬЮ, - ЛЮБОВЬЮ - владеть нельзя. Этому можно только причаститься, преодолев самость, отдельность. Дьявол — тварь Божья, не желающая причаститься Богу. Тварь, стремящаяся подчинить Бога себе. Но здесь предел всякой власти, всякого могущества. Здесь всякая тварь линяет, теряет силу. Жадная старуха, получившая все, что только могла пожелать, остается при разбитом корыте, как только помыслила завладеть Золотой Рыбкой.

Во внешнем мире тварь может господствовать. Но всегда остается нечто, ей неподвластное И это НЕЧТО — главнейшее - суть бытия. Здесь - область того непонятого, иррационального страха, от которого не свободен и дьявол. «И бесы веруют и трепещут» (Иакова, 2:19). Тот самый священный трепет, страх внутреннего своего, — он есть и у бесов... И заставляет их иногда цепенеть и отшатываться от непонятого, неподвластного им...

Как смущен Мефистофель, когда Фауст посылает его в царство Матерей. Развязный, ни перед чем не останавливающийся, черт впервые замирает и говорит, что ему туда нельзя. Там... Он даже не в состоянии выговорить. Там — ничто, никакой твари. Ничего со-творенного. И однако — бытие. Он его чувствует, как собаки чуют привидения. Здесь граница. Здесь черт кончается с концом всякой твари. Дальше — Творец. И Его не испугается только причастный Ему, причастный творчеству. «В твоём ничто я мыслю всё найти» (И.В. Гёте. «Фауст»),

Мефистофель, может быть, близок к черту Ивана Карамазова: мелкий бес, лакей, приживальщик. Озорник, наслаждающийся своими проказами, но неспособный ни на что крупное. Перед страданием, перед угрозой гибели он бежит. Но есть ведь другие черти, покрупнее. У чертей ведь тоже есть своя иерархия. Как поведет себя перед «ничто» демон высокого полета? Романтический, страдающий Демон, герой Лермонтова, Врубеля? Носитель света - Люцифер - вспыхнувший так ярко, что почти ослепил мир и много душ прожег дотла... Он способен созерцать величие Творца. Он и блеск взгляда Его может выдержать, но... «на челе его высоком не отразилось ничего». Ни малейшего содрогания. Ни мига того священного трепета, который говорит о существовании чего-то большего, чем он. Нет большего. Нет предела его гордыне. Он сам не менее прекрасен, чем вершины Кавказа, сверкающие, как грани алмазов. Божий первенец.

И в отличие от всех мелких бесов он глубоко, нестерпимо страдает. Он исчерпал все возможности жить отрицанием. Дошел до дна наслаждения властью, могуществом — до пустоты. Мефистофель содрогался при мысли о пустоте. Этот - не содрогнулся. И очутился в пусто-те. Он не раб. Он безгранично свободен. Свободен от всякого страха. Свободен от... жизни. Вот оно — адское страдание: жить без жизни. Жить, не чувствуя ничего, что могло бы привязывать к жизни. Уж какой тут аппетит к жизни! Тут жажда смерти, но смерти нет, нет, нет!..

Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья, —
И зло наскучило ему.
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
(М.Ю. Лермонтов. «Демон»)

Бесконечное повторение. Вместо тайны рождения и воскресения, утомительное однообразие, механический такт вместо ритма. Если Бог есть полнота бытия, дьявол есть пустота небытия.

Бездна Бога и бездна дьявола, зеркально отражающие друг друга, внешне подобные, в сущности абсолютно противоположные...

Сатана есть тварь не дрожащая. Тварь бестрепетная и потому со-всем погибшая, совсем непричастная к бытию, совсем свободная от Творца своего.

Свобода... Их тоже две. Нет одной свободы в этом мире. Есть свобода твари. И свобода Творца. Бунт дьявола, его восстание против Бога начинается во имя свободы. Свобода твари против свободы Творца. Свобода тварей означает свободу множеств, сталкивающихся между собой. Свобода миллионов означает войну миллионов. Свобода Творца есть свобода того глубинного жизнетворного начала, которое объединяет всех и вся. Для того, чтобы быть действительно свободным, надо найти свое единство со всем миром. Иметь великий страх Божий - страх обидеть другого, вплоть до жертвенного желания: лучше умереть самому, чем причинить боль другому.

Освобождение от страха тварного может быть только за счет возрастания страха Божиего. Полностью свободен от всякого страха только Сам Бог. Там, внутри, господствует Бог, не боящийся дьявола. Здесь, вовне, — дьявол, не боящийся Бога. А между ними — страх и трепет тех бесчисленных, кто еще может спастись и еще может по-гибнуть. Поле боя.

ГЛАВА 6

РАСКОЛОТАЯ ДУША

Ставрогин хотел быть бесстрашным. Во что бы то ни стало бесстрашным. А от какого страха быть свободным, это ему до поры до времени все равно. Впрочем, может и не все равно... Слишком много было намешано в этом человеке. Слишком много совмещалось несовместимого. И ему надо было понять, прежде всего во что бы то ни стало понять самого себя. Испытать. И быть честным. В честности ведь ему не откажешь. То, что он украл деньги бедного чиновника, — пустяки. Ведь не деньги ему нужны были. Нельзя было ответить самому себе - может ли он красть, не попробовав, не испытав. Попробовал. Ответил. Честно ответил: может. И так во всем. Он препарировал собственную душу, как какую-нибудь лягушку. Может быть, подчас бывало и больно, и не очень приятно. Ну так что? Это надо было победить. И побеждал. И какое наслаждение испытывал от победы! Вынесенное унижение, снесенная пощечина — все, все могу!

Но все-таки страх в нем был... И не все, не все еще он мог... И тот поразительный, заветный для Достоевского сон приснился Николаю Всеволодовичу не случайно. В каких давних предсуществованиях душа его знала рай — нам не известно, но она его знала и, что еще важнее, - не забыла. Ибо и Люцифер знал. Был же он светоносным ангелом... В этой душе, непостижимым образом совмещавшей несовместимое, жило воспоминание о божественном созерцании. Жило.

И вот это-то увидела в нем блаженная Марья Тимофеевна, вот почему и прозвала его светлым князем. Если Лизу завораживала его таинственная сила, а Дашино материнское сердце тянула невидимая никому слабость, - то Марья Тимофеевна провидела тайную красоту, спрятанную в глубине его души.

Эта красота была. Но... была не только она. Она совмещалась с чем-то, чего восхищенное цельное сердце провидицы до поры до времени не замечало. Хромоножка поверила в светлую красоту и в вере своей обманулась.

Красота Ставрогина была расколота внутри себя на две: красоту Мадонны и Содома. Влекло и то, и другое. Красота Мадонны не оскорблялась страшным соседством, не вытесняла, не выжигала своим светом тьму, а мирно уживалась с ней, стихийно присутствуя при разложении души на составные части.

Ангел церкви Лаодикийской был не холоден и не горяч (Откровение, 3:14-19). Не так холоден, чтобы потушить, заморозить воспоминание об увиденном сердце рае, и не так горяч, чтобы возненавидеть ад и сделать великое житнетворное усилие - собрать воедино расколотую душу. Он продолжал исследовать, что он может, а чего не может. Нет, не одно безобразие заставило его жениться на Марье Тимофеевне. В нем таилась великая возможность. Он мог, может быть, он был призван запеть осанну и воскликнуть, как Тихон: «Креста твоего позорного да не постыжуся!» («Братья Карамазовы»). Но он не сделал этого. Священный уголок его души, в котором таилась искра несотворенного света, подвергался исследованию, как и все прочие. И это было кощунство.

То, что открылось самой глубине твоей души, самому внутреннему, — не проверяется. Оно животворит втайне. Внутри. Оно само проверяет всех и вся. Но когда перед тобой встает Бог истинный и твое сердце хоть на миг вздрогнуло, вспомнило - узнало, — склонись и замри.

Все вопросы: «как распознать?», всяческие «как?», «где?» и «почему?» - здесь неуместны. Сердце или знает, или нет. Но если знание хоть на миг коснулось сердца, оно не вправе забыть, оно должно быть верным этому знанию. «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите...» (Иоанн, 9:41). Великие, полные таинственного значения слова Христа. Видел, но не поверил. Ибо имел оба страха сразу. И страх Божий (нет, не умер этот страх, как ни убивал его), и страх тварный, страх внешнего, боязнь довериться внутреннему; ибо все внешнее, все очевидное было против: не мог никак существовать в этом мире Бог. Это доказывалось разумом, как дважды два - четыре.

Против этой куцей истинки бунтовал еще подпольный человек - самый прямой предшественник Ставрогина, - он показывал язык хрустальному дворцу, выстроенному по законам разума; он говорил: «я согласен, что дважды два - четыре — превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два — пять - премилая иногда вещица». И внутренний человек в Ставрогине бунтовал против всех этих «дважды два — четыре» — и все-таки отбросить их никак не мог. Он оставался в плену у арифметики и поверял ей даже те отголоски истинного откровения, которые у него по временам бывали. А расколотое сердце поддерживало грех разума.

Одинаковая тяга к двум идеалам красоты - Мадонны и Содома — лишала силы, делала светлого князя, призванного к подвигу любви, — самозванцем, Гришкой Отрепьевым.

Дьявольская красота отличается от Божьей тем, что не ведет сквозь себя, далее себя (далее образа — в Несотворенное, внеобразное), а останавливается на себе самой. Она — не путь, а ловушка. (Не выход в бесконечное, а задыхание в конечном. Красота тварей, которая не ведет к Творцу.)

В мире Достоевского есть две красоты: Красота, которая мир спасет (Божественная), и Красота, как страшная, ужасная сила (демоническая красота).

Демон, обладающий красотой, может знать все о величии Бога, он почти во всем подобен Ему, — кроме одного: он — тварь. Он — от-дельность. И от этого не откажется ни за что.

Он хочет войти в безграничность вместе со своей ограниченностью, со своей отдельностью. Ненасытимая адская жажда, бесплодная, не знающая конца мука падшего ангела...

Равная Богу тварь... Может ли быть больший соблазн для твари, чем ее, твари, равенство с Богом?! Он все еще носитель света - Люцифер, умеющий заставить мир вспыхнуть всеми цветами радуги, увлечь невиданной яркостью впечатлений, опоить сверканием, звуками, ароматами.

И для тебя с звезды восточной Сорву венец я золотой, Возьму росы с цветов полночных, Тебя осыплю той росой.

Я дам тебе все, все земное, Люби меня.

(«Демон»)

И как еще его любят! Как жалеют! Величественный страдалец... Демон, Печорин — и вот рядом с ними Ставрогин. Мужчины заморожены им. Женщины по одному его мановению забудут все, чем жили, пой-дут, как крысы за дудочкой крысолова, на край света, пойдут, может быть, на предательство... На забвение всего, чем дорожили в жизни. И только одна юродивая, обиженная Богом, полоумная Хромоножка в ответ на его вопрос: «Уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?» — скажет: «Об вас я совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить». И в ответ на все его сатанинское величие презрительно усмехнется. «Прочь, самозванец! - повелительно вскричала она. — Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!».

Эта калека, эта слабейшая из слабых совершенно отбросила тварный страх: страх Божий (никогда никого не обидит) и любовь к Богу вытеснили, выжгли в ней все тварное! Как свободно парит она в духовном пространстве! Как видит все скрытое!

«Нет, не может быть, чтобы сокол филином стал. Не такой мой князь!» - гордо и торжественно подняла она голову. И когда Ставрогин отвечает ей, что она его не за того принимает, что князем он никогда не был, Марья Тимофеевна приходит в исступление. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Коринфянам, 3:19). А безумие в глазах мира сего и есть духовная мудрость. Он не принимает этого? Он отказывается от законов мира духовного? Не князь?! Отказывается от своего призвания к подвигу любви и веры?

«Господи! — всплеснула она руками. — Всего от врагов его ожидала, но такой дерзости — никогда! Да жив ли он?.. Убил ты его или нет, признавайся!» Ей дела нет до очевидности, до фактов - истинок этого мира. Она провидит то, что есть в мире духовном. А в духе он убил в себе князя. Убил Божий образ. И вот понеслось в темноту, во след убежавшему «сверхчеловеку»: «Гришка Отреп-ев а-на-фе-ма!» («Бесы»).

Глава 7

ВЗЛОМАННАЯ ТАЙНА

Рядом со Ставрогиним находятся люди, в жизни которых он сыграл невероятно большую роль; люди совершенно разные, иногда до полярной противоположности. Но все они как-то пересекаются, скрещиваются в ставрогинской душе. Это и Марья Тимофеевна, и Кириллов, и Шатов, и Петр Верховенский — со всеми «бесами», выпущенными им на вольную волю.

Кириллов — одна из самых странных фигур в мире Достоевского. Ему отданы глубочайшие, священные слова. Он пережил, он знал сердцем то же, что и святой — князь Мышкин. И, однако, если князь и в болезни, и в безумии своем остается светом, то Кириллов и в доходящем до откровения свете своем остается безумцем; и кажется, что он бредит у нас на глазах.

Созерцания у князя и у Кириллова - одни и те же. Они просто буквально совпадают. Оба пережили реальность Высшего Света, как бы увидели смысл жизни, узнали, что за минуты эти можно отдать всю последующую жизнь, - «потому что стоит...». Почему же из столь одинаковых созерцаний — столь разные выводы?

Очень долго Кириллов казался мне «ошибкой Достоевского», образом, который сконструирован умом. Казалось, что из такой полноты созерцания нельзя сделать столь безумных выводов... Но теперь я знаю, что образ Кириллова — не ошибка. В нем сказалась великая правда. Князь Мышкин в минуты высшего созерцания ничего не хотел, кроме того, что есть. Он мог бы сказать, как святой из суфийской легенды, которому Бог обещал выполнить любое его желание: «У меня нет желаний. Мне довольно того, что Ты есть». Полнота созерцания Бога есть преображение человека. Нет больше желаний, ибо все совершилось. Нет прошлого и будущего. Есть бесконечно расширенное настоящее. Это и значит: нет времени. Есть Вечность. Нет ничего внешнего. Все внутри. Источник жизни — Бог - Царство Божие - внутри.

Где есть большее богатство, чем в сердце, вместившем все? Кто может что-либо дать этому сердцу? Никто. Оно же само может давать бесконечно. Солнце ни у кого не просит света. Сердце, ставшее солнцем, непрестанно изливает в мир самого себя...

Князь Мышкин стал таким сердцем-солнцем, - святым - светящимся - светящим. Его душа уже видит по ту сторону разделений, по ту сторону часов и дней, жизни и смерти.

Абсолютно не постижимым для разума образом он знает, что смерти нет (хотя она все-таки есть), что страдания нет (хотя оно есть... и как ещё есть!).

Эти «есть» и «нет» относятся к разным планам, пластам бытия. Мышкин видит глубинный, вечный пласт; глубинную тайну жизни. Он созерцал необъяснимое. Он видел невидимое. Видел, вовсе не уходя из этого видимого мира, а только доглядев этот мир до конца - и дальше, сквозь этот мир. Видел сквозь сотворенное — Творца. И давал Творцу творить внутри себя. Как, в каких формах происходит творчество, — не так уже важно. В слове, или в музыке, или в картине, — или только в сердце отпечатывается

Непостижимое, - не все ли равно? Важно, что отпечатывается. Творчество не есть при-

думывание, изобретение чего-то нового, что возникает, имеет начало — и будет иметь конец. Творчество (истинное) есть проявление вечного; проявление, то есть делание тайного явным; то, что есть, нельзя придумать. Его можно только увидеть и проявить — попытаться показать всем, по возможности приблизить ко всем — ещё, ещё и ещё раз родить — привести в этот мир явлений то, что существует всегда в мире сущностей. Есть тайна творчества. Творчество - это таинство. Живое — нерукотворное (хотя бы это и была сделанная руками статуя или храм). Если в них живая красота — тут тайна нерукотворная. В рукотворном и головном (сделанном только руками и придуманном головой) — никакой тайны. Все обозримо, все можно измерить, сосчитать, понять. Ничего большего, чем мое «я». Все - от себя. Мое дело. Моя вещь.

Князь Мышкин и Кириллов имели одинаковые (или почти одинаковые) созерцания. Но князь предоставил Творцу свое сердце, предоставил Ему действовать внутри себя. Только это и есть творчество. Кириллов захотел действовать сам. Захотел дела.

Собственно, в его сердце свершилось таинство (как оно может не свершиться в том, кто так видел?..). И он стал хорош, прекрасен. Это ведь и Ставрогин знал. (Не мог не видеть. Наткнулся лбом.) Но вот поверить до конца своему Внутреннейшему, открывающемуся перед ним в потрясающие минуты, как открывается мир в грозу, освещенный молнией, поверить откровению он не смог. Почему? Что ему помешало? Ведь он полюбил. Бога полюбил. Христа полюбил. Сердце его раздвоения не знало. Это не Ставрогин, расколотый между Мадонной и Содомом, не ангел церкви Лаодикийской. Потому-то и был он так бесспорно хорош, так светел. Сердце Кириллова, как и сердце Мышкина, безгрешно. Оба сердца наполнила любовь к Христу (а через Него и ко всем людям). Только князь свою любовь вынес, выдержал (не выдержала плоть; дух все вынес); а Кириллов любви своей не выдержал. Ибо стал ее проверять.

«Слушай, - говорил он в исступлении очень нелюбимому им Петру Верховенскому. - Слушай: этот Человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека - одно сумасшествие...»

И - «если законы природы не пожалели и этого, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то стало быть вся планета и есть ложь, и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы природы — ложь и дьяволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?» Это рассуждение предваряют слова: «Один на кресте до того веровал, что сказал другому: "Будешь сегодня со мной в раю". Кончился день, оба померли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное».

Кириллов хотел, чтобы сказанное оправдалось. Он проверял. Но то, что можно проверить — подтвердить или опровергнуть - все равно, - это не то, что созерцается сердцем. То ничем не проверяется, не мерится. А все само меряет. Оно не от мира сего и сими глазами не видится. Все, что от мира сего, — не то, не про то.

Но ведь Кириллов испытал всю полноту Любви, Жизни, Света - жизнь вечную: «Жизнь есть, а смерти нет совсем». Как же он не понял, что это выше всех проверок и удостоверений?! Что Оно само создает понятия, разумения, новое виденье?

Велика инерция твари, противодействующей Творцу. Это страшная сила. Множество легенд и сказок посвящено такому мистическому неверию - испугу ограниченности перед Безграничным, испугу формы перед Таинственной светоносной волной.

Тайна, Чудо, Сам Бог не могут быть очевидными, умопостигаемыми. Они могут только просвечивать сквозь очевидность, размыв ее дно, ее границы. Надо уметь шагнуть вслед

за Христом по воде, оставить всякую почву. В какой бы форме ни пришел призыв - не усомниться, не оглянуться, если позвала Любовь, если сделалась видимой сердцу невидимая глубина глубин...

Приходит на ум легенда о Лоэнгрине. Когда к опозоренной Эльзе, над которой висит угроза смертной казни, приплывает по морю на лебедь светоносный рыцарь, она поражена. На глазах у всех произошло чудо. Рыцарь спасает девушку. Он любит ее. Он становится ее женихом. Он сам - чудо, высшее, прекраснейшее, что она видела в жизни. Он дает ей все. А от нее просит только одного: не спрашивать его имени. Пока... до срока... Довериться сердцу. Любви довериться.

Условие кажется ей ничтожным, смехотворно легким, а оказывается невыполнимым.

Гадкая ведьма растревляет ее тревогу: почему, почему он не открывается? Может быть, Эльзу ждет какой-то новый позор? Если все чисто, почему рыцарь скрывает имя? И это «почему» перевешивает все. Эльза не согласна на тайну. Ей легче потерять все, но понять. Не то же ли самое в начале Священной истории? Зачем нужен был Еве запретный плод? Почему не могли первые сотворенные люди поверить своему Творцу, которого видели их сердца? («...если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха...»). Зачем надо было подтвердить внешними чувствами свое внутреннее знание, выйти изнутри наружу, из глубины, из безмерности - на мель? И пощупать ее ногами? Потому что разум хочет все обозреть и измерить? И ему надо было вместить безграничность в границы? Не просто быть (в Боге), а иметь (знание)? (Во «Сне смешного человека»: «Знание законов счастья выше счастья, знание законов жизни выше жизни».)

Инерция твари. Спор твари с Творцом. Обладать, взять, уместить в границы, вместо того чтобы разрушить последнюю границу, отдать Ему себя...

Спор длится по сей день. Может быть, условие и не так легко, как показалось Эльзе сначала... Может быть, не так легко было Орфею - не оглянуться в ответ на мольбы Эвридики. Совершенно довериться Творцу — это иногда невыносимо тяжело, как Аврааму принести в жертву Исаака. Невыносимо тяжело поверить Невидимому, который дает и отнимает, который мучает невинных, терзает детей, который отдает на позорную казнь Чудо Свое, Сына Своего — совершеннейшее Свое создание... Как можно Ему довериться? Вопрос этот во внешнем пространстве ответа не имеет. Можно сказать только одно: довериться своему внутреннему, против всей очевидности, всей жесткости внешнего - нелегко. И очень немногим это дается, даже увидевшим свет.

Князь Мышкин не мог не верить Тому, кого любил; а Кириллов не мог верить. В этом вся разница. Не хватало смирения. Сидеть и ждать, что со мной, что во мне сделают?! Нет, надо действовать самому. Что делать? Ничего? Нет, нет! Нужно дело. Н. Ф. Федоров придумал такое дело: собирать по атомам отцов и воскрешать их, Кириллов придумал другое дело. Суть одна: изобрести, доказать, придумать самому - а не дожидаться творческого толчка через тебя.

«Но позвольте, - возражает Кириллову Петр Степанович, - ну, а если вы Бог? Если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь от того, что был прежний Бог?

- Наконец-то ты понял! - вскричал Кириллов восторженно. — Стало быть, можно же понять, если даже такой, как ты, понял! Понимаешь теперь, что все спасение для всех - всем доказать (выделено мной. - З.М.) эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал, есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой

главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же не начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я ещё только Бог поневоле, и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую». Это, может быть, безумие. Но в то же время и неопровержимо стройная логика, которая должна была бы привести к смерти логики. «Я начну и кончу, и дверь открою», — продолжает засомневавшийся в своем Боге ангел (ибо Кириллов — обезумевший ангел). «И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит всех физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие!»

Своеволие. Сам от себя творю. В противоположность Христу, который Сам от Себя не творил ничего. Своеволие. - Свобода твари. Испуг перед бездной Творца и непостижимостью творчества, испуг перед Безграничным, недоверие к нему приводит к обожествлению ограниченного.

Обожествившая себя тварь есть дьявол. Но дьявол — реальный князь мира сего — начисто лишен добра и любви. Нельзя быть человекобогом — и иметь сердце, трепещущее любовью, играть с ребенком в мяч и отвечать на его улыбку такой же детской улыбкой; быть самому ребенком, любящим и открытым; иметь столько страха Божьего, чтобы скорее погибнуть, только бы не причинить боли другому... Если бы Кириллов вдумался во все это, он закричал бы, как Виргинский после убийства Шатова: «Не то! Не то!» («Бесы»). К несчастью, Кириллов, духовно гениальный человек, в то же время совершенно не талантлив, когда пытается воплотить увиденное. Талант - это умение воплощать семя света, запавшее в тебя, не придумывая ничего лишнего, без отсебятины, прислушиваясь к живому процессу развития духовного зародыша, от зачатия до рождения. А Кириллов, увидев потрясающие глубины, как бы замуривает глаза и начинает выдумывать, конструировать. Он не рождает нечто живое, от духа жизни, а создает идею-робота, идею-чудовище, пожирающее своего бесталанного творца. Человекобог, тваребог — это либо дьявол (но дьяволом Кириллов не хочет стать), либо утопия (попытка заменить целостность жизни рациональной схемой). И начинается царство утопии, то есть царство безумия и безумцев, маниакально уверенных в своей правоте.

Кириллов — благороднейший из безумцев. Он видит высший пункт своеволия не в убийстве, а в самоубийстве. И конечно, ему не легко убить себя, почти так же трудно, как Раскольникову — Алену Ивановну и Лизавету. Но он, как и Раскольников, и Великий инквизитор, убедил себя, что делает свое страшное дело во имя добра, во имя единственно возможного добра на Земле. Это предел, до которого доводят самоубийственные возможности логики; точка, на которой надо сказать: *absurdum est*, - и вернуться к источникам жизни. Но, как все безумцы, Кириллов не замечает своего безумия, не видит, что давно уже шагает по призрачному царству утопии. Откуда берется вера в то, что в следующем же поколении люди переродятся физически? Только от желания, от внутренней потребности во внешнем чуде. Решительно так же, как вера Н.Ф. Федорова в возможность собрать по атомам и возродить давно истлевших покойников. Утопия — тот самый хрустальный дворец, которому хотел высунуть язык подпольный

человек. Хрустальный дворец, другое имя которому — муравейник. Плоское изобретение человеческое, противостоящее бездонной красоте и потрясающей высоте божественного замысла. Теснота вместо простора. Дело вместо Творчества. Самоубийство вместо жизни вечной.

Глава 8 ЛОГИКА И СТРАХ БОЖИЙ

«Клянусь вам, господа, что слишком сознавать - это болезнь, настоящая, полная болезнь... Я крепко убежден, что не только много сознания, но даже и всякое сознание - болезнь». Так говорит подпольный человек. Вторая его тирада не поддается обсуждению: если «всякое сознание болезнь», мы теряем почву для анализа: тогда всем нам место в больнице. Здесь перед нами гипербола, буквально нелепая, но важная, как способ подчеркнуть значение первого высказывания. «Слишком» — это всегда плохо. И слишком сознавать — плохо. Остается понять, почему, в чем это слишком? Некоторый переизбыток разума, уже не опирающийся на бытие? Верчение ума на холостом ходу? То, что бытие определяет сознание, — не ложь. Ложь — сводить бытие к материи. С этим ни один духовно чуткий человек не согласится. Чувство целостности мира говорит, что материя - только видимое следствие незримых процессов, осязаемая брэнная оболочка вечного и вечно непобедимого духа. Но так или иначе, сознанию предшествует и его определяет Бытие — Реальность - Сущее. Сознание не может быть независимым. Самодовлеющая, прямолинейная логика, логика мысли, не оглядывающейся на жизнь, подобна падшему ангелу, восставшему на своего Господина. Он мнит себя самодостаточным. Он - блистательное творение, не нуждающееся в собственном Творце... И в конечном итоге он отрывается от Источника Жизни. Именно этот блистающий ангел и заслоняет, подменяет собой Бога для гордых умов из мира Достоевского. Ум, не подчинившийся никому и ничему, не признающий над собой Высшего - вот их идеал. Но такой ум, такое гипертрофированное сознание — действительно болезнь... Ум — не самое Высшее. Ум — слуга. И он может быть бесконечно высок только тогда, когда служит; когда сознает себя частью Великого Целого и служит этому Целому. Если некая часть организма не подчинена общему центру - это действительно болезнь, и грозная. И тогда появляется искушение отрубить большой член, не надо его: «всякое сознание — болезнь». — Лучше «вселиться в семипудовую купчиху». Только бы не думать! Не думать, а жить, - как угодно низко, одною плотью («сила низости карамазовской»), И, однако, это хирургическое решение вопроса скорее в духе Толстого, чем Достоевского. Достоевский понимает, что это не выход, а тупик. В глубине души брезжит свет истинного выхода: не погашенное, а преображенное сознание, сознание «сильно развитой личности», гармонической личности, в которой логика занимает подобающее ей второе место. Первое - принадлежит чувству Целого. Это чувство великой тайны, к которой ты причастен, и оно всегда сопровождается священным трепетом - страхом Божиим - страхом отрыва от Целого. Страх Божий есть чувство собственной малости, малости по отношению к тому, что ты не можешь вместить, но что вмещает тебя. Невмещенное в сознание, бесконечно переросшее его Неведомое Бытие... Страх Божий - это страх перед неведомой глубиной сердца, перед бездной живого Духа...

Сознание, исполненное страха Божьего, движется не по прямой, а по извилистой кривой, по таинственным лабиринтам жизни с неторопливостью древесных стволов и ветвей. Оно (сознание это) чувствует свою задачу как бы в тайной ощупи живого, в слиянии с ним. Только бы не потерять связь с Неведомым, не сознавать «слишком много».

В природе очень редки прямые линии: черта горизонта, отвес скалы или соснового ствола. Эти редкие прямые особенно значительны на фоне бесчисленных кривых. Они появляются как внезапная стрела, как перст Божий, направленный туда, где обрывается всякая линия, всякий предмет. И это соотношение линии (предмета) с Беспредметным (пустым) и дает поразительное чувство значительности, ощущение присутствия невидимого Духа. Линия обрывается, но жизнь длится. Перед глазами пустота, но она наполнена. Линия (частность) ведет в Целое, во Всецелость.

Эта тайна соотношения между предметом и пространством, между предметом и Всецелостью потрясает нас в линиях храмов, гор, скал. Нет ничего общего между такими органическими прямыми и нашими коробками, большими и малыми, наставленными безо всякого соотношения с пространством и друг с другом в современном городе.

...Мы так давно обогнали
Медлящих проводников в вечность... и так одиноки
Рядом друг с другом, друг друга не зная.
Путь наш не вьется, как тропки лесов и потоки,
Дивным меандром. Он краткость, прямая...

Это сказал Рильке в «Сонетах к Орфею» (ч. 1, сонет № 24. Перевод З. Миркиной). С ним перекликается Тагор: «Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу, состоящему из одного лезвия: он ранит в кровь руку, берущую его».

Безоглядная логика, смертоносная логика... Дьявол - логик. Он не верит в цельность мира. Все у него дробится, рассыпается на части.

Разве можно увидеть глазами, выделить вовне то, чему ты причастен? «Ты невидим, потому что Ты — зрачок моего глаза», — сказал Тагор о внутренней первопричине жизни. Ее не постигнешь умом... Слишком много сознания — это, пожалуй, глупость...

Испытать страх Божий, остановиться в страхе перед умонепостижимым, но ощущаемым - вот начало премудрости. Увидеть собственную границу. «Я знаю только то, что я ничего не знаю»...

Герои-теоретики Достоевского забыли о страхе Божьем; больше того: они глядят на него свысока, с презрением. Раскольников уверен, что превосходит Соню умом. Ее душу он чувствует, но в понимании жизни она кажется ему ничтожно слабой. Ее «глупая» вера, конечно же, от ее простоты и невежества. «Так ты очень молишься Богу-то, Соня? - спрашивает он. - А тебе Бог за это что делает? - Все делает, - прошептала Соня».

Не похоже ли это Сонино «все» на Фаустов ответ Мефистофелю: «В твоём «ничто» я мыслю все найти»? На поверхности, на уровне фактов - ничего. Но сама Сонина душа, любовь, живущая в ней (это чувство всецелости в сердце, чувство причастности Всему), — какой Мефистофель это поймет? И сколько страданий нужно пройти Раскольникову, чтобы понять это?.. Когда поймет - преобразится. Ум займет свое место, душа, наконец, станет целой, исцелится. А пока - душа и ум бьются друг с другом. Душа ещё не съедена идеей. Она жива. И она непомерно страдает. Соня видит эту душу живую и мучается вместе с ней. Соне есть что любить и на что надеяться. Раскольников - тяжело больной, но

отнюдь не безнадежный пациент. Это не Ставрогин, над которым бессильно склонилась Даша.

И Раскольников, и Иван Карамазов - живые души. В них есть способность любить, способность страдать и сострадать, есть истинная доброта и чистота. Что же происходит с ними? Почему они делают (или считают долгом своим делать) то, чего душа их не может принять? Они страдают за людей; не могут вынести страданий детей или даже животных (глаза засеченной лошади), но в то же время не верят в людей и презирают их. Им очевидно, что люди сделаны из разных пород глины, а вовсе не созданы все по единому высокому Образу. Человек мелок и жалок. И требовать от него слишком много, значит накладывать на него бремена неудобноносимые... Слишком уважать людей, как Христос, это значит не жалеть их... Уважать можно только сверхчеловека. Вот он и должен повести за собой жалкое человеческое стадо, и при этом выставить как приманку Высокий Образ Божий, этот нежизненный идеал, высокий обман.

Долго-долго, целую ночь излагает эти идеи Великий инквизитор молчащему Узнику своему. Почему же, за что же целует его Христос в его «бескровные девяностолетние уста»? За страдание. За то, что душа инквизитора сама сжигает себя на костре; за то, что душа эта, не веруя, не может отказаться от любви к Христу, как от самой себя.

Христос неправ. Это инквизитору очевидно. Но любить он может только Христа. Это тоже очевидно. Если люди мелки и жалки, то любить их нельзя, а только жалеть и презирать. Он может пожертвовать для них своей жизнью, но жизнь эта потеряла смысл, ибо смысл ее — в любви. А любит он только Того, Кого по всей логике надо сжечь.

Итак, надо сжигать любимого и жить с нелюбимыми, с презренными, «ничтожной властвуя землей». Но ведь коли Земля так ничтожна, то гораздо логичнее сеять зло («без наслажденья» или даже с наслаждением). А ведь инквизитор хочет сеять добро... Добро без любви?

Ну, может быть, и не совсем без любви. Любовь, как будто есть — к бедным, грешным людям, любовь к человечеству, в достоинство которого он не верит и которое превращает в свое стадо. Великие утописты, начинавшие с такой любви, приводили к власти других, действовавших уже безо всякой любви, с одной жадной власти.

Так вот к чему пришел бедный, жалкий ум, поставивший себя на первое место. Что у героя Ивановой поэмы, что у Раскольникова — та же мука самосожжения. И Соня видит эту извивающуюся в огне душу и страдает ей так же, как Христос инквизитору. Сон о глазах засеченной лошади, и - он сам же, сам - по кротким глазам Лизаветы! Да кто же может выдержать такую пытку?! Или каменная душа (вроде каторжника Орлова), которой ни человек, ни лошадь замученная никогда не приснятся; или полная невозможность убить. Но то и другое вместе!..

Почему Раскольников, отдающий последние деньги незнакомым сиротам, считает себя почти что обязанным убивать (и в том числе Лизавету, такую же сироту)? Почему любящий Христа никак не может в него поверить? Потому что он (в данном случае равно и Раскольников, и Иван) слишком верит в свою способность понимать, судить, беспрекословно верит логике; и уверенность в себе мешает поверить в Неведомый, но любимый Источник жизни.

Если бы немножко засомневаться в себе... Хоть чуть засомневаться в непогрешимой логике и замолчать и прислушаться... Если бы впустили в душу страх Божий, то перестали бы затягивать петлю на собственном горле. Но пока логика бестрепетна и непогрешима, дьявол торжествует. Дьявол? Куда как гордо! Чёрт-приживальщик, чёрт пошляк со своей

лакейски-снисходительной, смердяковской улыбкой.

Если Христос неправ, то прав Смердяков. Тогда торжествует пошлость и ничего более. Гордому уму Бог казался выдумкой? Он Ему противопоставил сверхчеловека? Но сверхчеловек оказался тоже выдумкой ловушкой. И гордиться решительно нечем. Если уж одна чистая логика, отвергающая немыслимую (и нелогичную) Высоту Образа по которому создан человек, то прав Смердяков со своими лакейскими представлениями о мире. И Смердяков в конце концов и будет править обезбоженным миром.

Если люди достойны всего лишь сожаления и презрения, то и сам ты презирающий их, достоин того же. Если же люди достойны религиозно-благоговейного отношения, то для человекобога, для сверхчеловека нет места.

Неожиданный вывод... Но ведь это то самое, во что упирается Кириллов. Ибо Кириллов презирать людей не способен и возвеличиваться над ними не может. Он чист, как ребенок. Но эти глаза без блеска эта отрывистая речь, эти ночные бдения, один на один с идеей с безжизненной прямой линией, ведущей никуда в тупик. Такой же безжизненной и бездуховной, как упершийся в облака небоскреб или заводская труба, коптящая небо. Кириллов кончает с собой, следуя логике своей идеи. Но не только поэтому. Он запутался. Желая быть последовательным, он упирается в чудовищные противоречия.

Логика себя исчерпала. Идея его съела.

-Все хороши, - говорит Кириллов. - Только еще не знают, что хороши. А когда узнают, не будут делать зла.

- И вы хороший? - спрашивает его Ставрогин.

- И вы хороший (очень хороший) человек, послушный идее, позволяет взвалить на себя вину за убийство Шатова (дорогого ему и действительно прекрасного человека).

«Шатушка, милый он, родимый, голубчик мой», - говорит о нем Марья Тимофеевна. Таким образом Кириллов и вправду становится причастным к убийству (заранее ведь сказал, что все покроет и на себя возьмет. О, как ему тошно и как он запутался («Все хороши? Нет, все подлецу все все подлецы. И я подлец»), С этим нельзя, не хочется, незачем жить. И выходит, что самоубийство его не только по идее, а ещё от невыносимого чувства тупика.

И так. И этак. Если все хороши, то и он хорош. А если все подлецы, то и он подлец. Может быть, опять логика безумия? Нет. Это уже не безумие. Это - живое чувство его живой, задыхающейся души. Нельзя быть хорошим, презирая людей, не веря в их высокие возможности, не спрашивая с них, равно как и с себя самого, высоты. Только чувство этой высоты, которую мы все можем и должны в конце концов занять, осмысляет жизнь. Или замысел о нашей Душе, как и вообще о жизни, высок и прекрасен и в жизни есть Святыня, или, не веря в Святыню, опускаешься на скотский уровень.

Даже если никого не убил и ничего не украл, а только брезгливо отделился от другого, назвав его подлецом или гадом («один гад съест другую гадину», — сказал Иван об отце и брате), ты отнял у себя самого чистый воздух, которым должна дышать душа. «Кто же скажет брату своему: безумный, подлежит геенне огненной» (Матфей, 5:22). Христос никого не посылает в геенну. Но тот, кто распяет себя гневом и ненавистью, сам себя туда посылает. Ненависть и презрение (даже если они по очевидности справедливы) разъедают душу, в которой живут.

Можно видеть мерзость человеческую и отнюдь не мириться с ней. (Не мир, но меч!) И Христос, обличая фарисеев, говорил гневно: «Порождения ехиднины!» (Матфей, 23:33). Но Он говорил это с величайшей болью, охраняя общую, единую, в каждой душе

живущую Святыню. Он бичом изгонял торгующих из храма во имя общей высоты, во имя чистоты Единого храма, где все должны возвышаться духом. Он лучше всех знает о тайне сопричастности всех со всеми... И на крест пойдет за всех и каждого, в том числе за последнего грешника.

Все таинственно связаны со всеми. Все одного Бога имеем. Он — наше глубочайшее «Я», общее всем. И это тайна, равно принадлежащая всем, связующая всех.

«Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете». Это «Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою, без воли его выливалось из души - Было двое и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает из рук человеческих, новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!

- Эх напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет никакой тайны, - искренно и весело хохотала Арина Про- упппвна - Этак всякая муха - тайна» («Бесы»). Поразительно важный диалог. Может быть, здесь вся основа религиозного чувства. Именно «про то». И так просто. И здесь - водо раздел. Он преходит именно и только между теми, кто чувствует и не чувствует Тайну. Ну, конечно, и муха - тайна. Она - из той же самой Тайны, из таинственной животворящей Бездны. И человеку, и мухе равно принадлежит эта тайна. Простая муха таинственна и разумом непостижима. Так же, как я. Если муха не таинственна, то и я, человек, не таинственен не бездонен - не божественен. Моя одухотворенность и божественность одновременно одухотворяют и муху. Мы одухотворены по-разному, в разной степени. Но оба одухотворены, поскольку живые. И это - наше общее, единое. А уж с человеком... со всяким чело еком мы сопряжены, впряжены в одного Бога. Хотим мы этого или не хотим, это так. Когда Раскольников говорит, что он убил всего только зловредную вошь, Соня восклицает: «Это человек-то вошь?!». И опять пропасть ещё большая, чем между Шатовым и акушеркой. «Это человек-то вошь?!».

И вот необъяснимое действие духовного закона: ведь Раскольников лучше старухи-процентщицы? Бесспорно лучше - до тех пор, пока не отрезал себя от нее, не поставил себя над ее жизнью и смертью. Пока логика не провела убийственную прямую, не разрешила целое на части. А когда разрешила, то он сам - часть, а не целое, осколок, а не живой организм. Наше таинственное духовное уравнение в том и состоит, что сколько ты отнимаешь у другого, столько же, если не больше отнимается и у тебя самого. А сколько дашь, столько тебе прибавится (и более того).

Логика здесь ничего не доказывает. Хорошо, если страх Божий вовремя осадит ее разбежавшихся коней... Старуха-процентщица плоха? Да може быть. Но это не дает никакого права тебе распоряжаться жизнью. Кто поставил тебя судьей над ней? Не ты ее создал. Она таинственна и неприкосновенна. Она оскорбила общую святыню? Тем более тебе, чувствующему это, надлежит хранить эту святыню а не оскорблять ее стократ, становясь убийцей. Или общая Святыня есть тогда не становись убийцей; или ее нет, но тогда не обманывай себя, что действуешь во имя добра и человеколюбия. Цель не оправдывает средства...

Если ты присваиваешь себе права судьи, если выделяешь себя и ставишь над всеми, ты сам извергаешь себя из Общей Тайны, из Таинственного Целого.

Гордое высокомерие (даже того, кому есть чем гордиться) отрезает от других, от общей всем глубины, обрекает душу на оскудение, в конце концов - на гибель. Обозвать человека

вошью - это слепая гордыня, смертный грех!

А полячишкой? А жидком?

Это человек-то полячишка? Это человек-то — жидок?! Так хочется воскликнуть вместе с Соней, обращаясь уже не к Родиону Романовичу, а к самому Федору Михайловичу.

Господь с Вами... Да Вы ли это? Вы ведь не такой... Помните, как Мышкин сказал Настасье Филипповне: «Вам-то как не стыдно... Ведь Вы не такая»...

Мог ли когда-нибудь князь Мышкин (эта внутренняя святыня Достоевского) назвать человека «жидком» и «полячишкой»? Он, обращавшийся с лакеем, как с равным себе, он, не давший сбить себя с уважительного тона по отношению к пятнадцатилетнему мальчику. И когда не в меру разгоряченная генеральша Епанчина вскрикивает: «Это о мальчике-то — Николай Ардальонович?!» — он невозмутимо и твердо стоит на своем: «Николай Ардальонович». Три раза повторяет это князь, заставляя Елизавету Прокофьевну отступить. Унизить любого мальчишку — Бога в нем унизить. Обидеть его - Бога в нем обидеть...

Так как же это все сочетается в Достоевском? Как это может ужиться вместе? Где-то здесь кончается страх Божий и начинаются страсти и пристрастия и готовая к их услугам Идея...

Нет, не так пуста христианская формула: «я - последний грешник», «я хуже всех». С точки зрения здравого смысла — нелепость. Неужели Тихон Задонский хуже Николая Ставрогина? Но Тихон Задонский просто не живет в том духовном пространстве, где люди сравниваются, соизмеряются, превозносятся один перед другим. Для такого, как Тихон, все эти соизмерения - безумие. И лучшие, и худшие - все безумны... Все, кто не видит своей сопряженности со всеми, своей неотделимости... Сам Христос, если бы противопоставил себя всем людям, отделился бы, выделился, перестал бы в тот же миг быть Христом. И Федор Михайлович, хоть о ком-то говорящий с презрением и унижением, предаёт в себе князя Мышкина и большего, чем князь...

«Я последний грешник», - говорит о себе человек с предельным (беспредельным) страхом Божиим, знающий (о, как знающий!), как трудно не обидеть никого, никогда; и знающий, что все претензии нашего «я» на отдельность - бред. С великой болью и любовью глядит он на всех, пронзенный каждым взглядом и каждым словом и не дает уже никому никогда сбить себя с тона... И христианское «я хуже всех» есть некий камертон, по которому должны были бы настраиваться души.

Глава 9

СТРАДАЮЩИЙ ДЕМОН

Лермонтовский Демон. Этот прекрасный страдалец. Столь же великий, сколь страдающий.

Что все страдание земное

Перед минутою одною...

Действительно, «что жизни мелочные сны», что такое все наши беды?! Вот кто страдает не минуту, а Вечность... Это слово завораживав как видение снежной горы, освещенной луной. Как мелок™ этим видением человеческий поселок, примостившийся у подножья. Вот кого можно любить. (Вечность Красоты!). Вот кому нужно сострадать (Вечность страдания!).

Недаром бедная Тамара затрепетала, как огонек свечи. «Святым захочет ли молиться, а сердцем молится ему»... «Сиял он тихо, как звезда манил и звал он, но куда?»
И почему в финале поэмы таинственный гений, вечный страдалец стал вдруг так однозначно ужасен? Чем это подготовлено? Откуда это:

Увы, злой дух торжествовал!

И дальше:

Каким смотрел он злобным взглядом,
Как полон был смертельным ядом
Вражды, не знающей конца,
И веяло могильным хладом
От неподвижного лица...
Ангел отгоняет его, как злую муху:
Исчезни, мрачный дух сомненья!..

Добро торжествует. Однако что это значит? Понятия добра и зла не раскрыты, не прояснены. Они давно смещены, запутаны. Есть только различие символов: ангел - это хорошо, демон - это плохо. Демон побежден, но что с того? Разве разрушены его чары? Разве перестал он быть вечным страдальцем? Ведь след в душе, прочерченный им, нестираем...

Нет никакого выхода из духовного конфликта. Кажется, что поэт сам испугался своей дерзновенности и наскоро свел концы с концами... А в душе так и остался страдающим богоборцем, с печатью неземного величия на челе. В большинстве его поэм, и стихов, и прозы он именно таков и есть. И только изредка вдруг проглянет что-то совсем-совсем другое: никакого величия, никакого демонизма; что-то детски простое, пронзительно чистое и светлое: «С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко...» (М.Ю. Лермонтов. «Молитва»). И особенно это, потрясающее по своей глубине и подлинности религиозного чувства:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Никакого противостояния, никакого величия собственного. Только Божье величие. Оно огромно и непостижимо. «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу»... Сколько встает за этими словами - весь вселенский простор и вся безмерность души, так жаждущей причастия Ему! Так любящей Его! Какое там противопоставление! Я так мал, так невероятно мал - крупинка... Вот и звезды - крупинки, разбросанные по безграничности. Но ведь каждая

звезда с звездой говорит... Все чувствуют друг друга, все согласны, собраны в непостижимое единство, и только я, я один... «Что же мне так больно и так трудно?» Просьба, жалоба, такая тихая и смиренная, детская жалоба... Почти то же, что чувствовал больной князь Мышкин в Швейцарии, среди всей величественной красоты и гармонии, окружающей его.

И вот это-то именно чувство стоит на самой грани тайны и переходит в великую неизреченную радость причастности Целому. Не об этом ли говорила и Хромоножка, когда пересказывала врезавшиеся ей в душу слова странницы?.. «Богородица - великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная - радость нам есть; а как напоишь слезами своими землю на пол-аршина в глубину, то тот час же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой горести твоей больше не будет» («Бесы»).

Так вот оно в чем дело... Напоить слезами своими землю на пол-аршина в глубину... Раскрыть, излить и смиренно выплакать душу. Разве не чувствовал и Лермонтов в глубине души, что гордый бунт его никуда не ведет, что как ни бушуешь и ни бунтуешь, а жить этим нельзя. И тихонько, скрываясь ото всех в уединении своем, плачет и не стыдится своих слез чистая детская душа... Она устала, эта душа Она хочет забыться и заснуть. «Но не тем холодным сном могилы» - нет, нет! Она любит жизнь. Она хочет все чувствовать и быть со всем и всеми единой. О, только бы единой!.. Только бы не отделиться! Слиться совсем, совершенно... «У них не было храмов и не было веры, но было чувство такого полного единения с Целым Вселенной», - скажет «смешной человек» Достоевского о людях-ангелах, которых увидел сердцем в своем поразительном сне.

Вот когда появляется та полнота души, в которой не то чтобы приходят ответы на вопросы, а снимаются все вопросы. Душа вырастает и перерастает свои вопросы. И уже нет разделения на Бо- жию пустыню и меня. Мы - одно. Божия Бесконечность и есть моя бесконечность. Величина моя, моя собственная, здесь не имеет ни малейшего значения. Целая звезда, и Луна, и Солнце перед Богом - перед Бесконечностью этой - такая же крупинка, как и я, человек! И я - как они. И мое сердце говорит с каждой искринкой света, как звезда с звездой... Вот это и есть рай...

Вот они - другие чары, белые, чистые, в противоположность черным, демоническим. Красота, которая не губит, а спасает душу...

Демон - враг Богу, но Бог - не враг демону. Демон сам себя извергает из Целого. Но Целое открыто ему и всегда, всегда готово принять блудного сына в свое лоно. Вход в рай открыт всякому, кто только сбросит на пороге, как грязную обувь, грех - свою обособленность, свое, отделенное от мира, «я». Велико ли оно, как Солнце, это «я» - или мало, как мушка, - перед Богом они равны, равно ничтожны.

Сбросить отдельность, причаститься... Так просто! И ничего нет труднее на свете. Самая великая тварь, светоносный ангел взял и отделился когда-то, и вот ведь целую вечность блуждает он «в пустыне мира без приюта» и не хочет, не хочет войти в открытые ворота. Все, что угодно, только не это! И как он прельщает души своей силой, своей красотой, своим страданием!.. Как чарует... Как свободно летает по миру, проникает в каждое окно, во множество книг и душ... И нельзя сказать, чтобы великая русская литература не боролась с его чарами. Боролась. Но, может быть, только Достоевский затмил демонический блеск другим, чистым светом, собранным в душе Мышкина, Сони, Хромоножки, Алеши. Зло нельзя победить огнем и мечом. Зло можно только погасить так, как солнце гасит звезды. Пока зло чарует людей, с ним ничего не поделаешь. Его победит

только тот, кто разрушит чары.

Демон - Божий первенец, самое прекрасное творение. Когда и почему он отпал от Творца своего? Может быть, начало домирной мистерии (которая продолжается по сей день) именно в этом невинном слове: самое. Самый прекрасный. Прекраснее других (самое). Взглянул на себя, взглянул на других. Сравнил. Да ведь и как не сравнить? Он так сильно чувствует красоту, он так любит! А рядом такое несоответствие! Такие мелкие души!.. У Врубеля есть два Демона: Демон сидящий и Демон поверженный. Сидящий Демон полон огромного обаяния. Он бесконечно поэтичен. Его тоска - высокая тоска. И вовсе еще не отторгнут он от мира Божьего, а только от людей, которые не разделяют его души, не платят любовью за любовь. Это поэт, не понятый миром. Другое дело - Демон поверженный. Он воистину повержен. В нем еще есть величие. Но какое мрачное, наводящее ужас!.. Он пуст от жизни и любви. И оттого, что все еще живет, - наводит ужас, как живой мертвец. Хотя в нем все еще есть страдание. Но вместе - такая злость, такая мертвая злость... А ведь это одна и та же душа, проделавшая путь от «люблю сильнее всех» до полного отсутствия любви...

Любовь есть бытие истинное, имеющее жизнь в себе самой, внутри. Совершенная Любовь не имеет ничего внешнего. В сердце вмещается весь мир. Ничего не извергается из сердца. Оно причастно всему. И все причастно ему. Отдельности нет. Но как только душа сравнила себя с кем-то другим, как только отметила свое превосходство, появилось внешнее пространство и начало вытягивать душу из себя самой, затягивать вовне. Душа начинает присваивать себе права большие, чем у других (права лучшего: справедливость), начинает выравнивать и перекраивать мир, созданный Богом, и вдруг незаметным образом приходит к неожиданному финалу: «лучшесть», ради которой прощалось и позволялось столь многое, исчезает. Чувство красоты и, наконец сама любовь, не разделенная миром, мстившая миру за то, что не разделена, - сама любовь эта исчезает, уступая место злобе... А значит, бытие истинное уступило бытию кажущемуся. Ибо в злобе и мести нет бытия. Есть только его оболочка.

Многие романтические герои начинают с того, что они много лучше мира, а кончают тем, что становятся много хуже. И Алеко, убивающий Земфиру и ее любовника, вряд ли принесет в мир свободу, которой жаждет («Ты для себя лишь хочешь воли»), А лермонтовский Арбенин, убивающий свою Нину?

И все-таки и Алеко, и Арбенин еще любили. Ужасно, эгоистично, любовью-обладанием, но все-таки какая-то сильная страсть, какая-то искра жизни... Постепенно и она гаснет. Тот, кто там, в пустоте, не любит совсем, нисколько, никого - и все-таки живет, живет... Вот что такое ад... Так что там - никаких надежд? «Входящие, оставьте упование»?...

(Данте) Нет, это не совсем так. Никаких надежд только для того кто не хочет преобразиться, кто упорствует в желании быть таким каким сам сделал себя. А возможность преобразиться остается всегда И эта возможность, эта последняя надежда - в страдании. Ты уже не можешь любить, но если ты страдаешь от этого, еще не потеряна надежда на воскресение. Если душа сумеет выдержать страдание, - если пройдет свой «квадрильон», может наступить новое рождение; может произойти чудо.

Но демонические натуры обычно и в страдании остаются демоническими, то есть не несут свое страдание как тяжкий дар, как доверенную ношу, а используют его как последнюю попытку ощутить наслаждение. Неспособная любить душа, окруженная ореолом мученичества, привлекает к себе, влюбляет в себя другие души и питается этой влюбленностью. Такая демоническая натура сражается с любовью на ее же поле. Демона

любят. И как любят! До забвения всего мира, до забвения собственной души. Когда Тамара, которая уже не в силах сопротивляться, уже завоеванная, околдованная им, чуть слышно шепчет: «А наказание? Муки ада?» - Демон отвечает: «Ну, что ж, ты будешь там со мной».

Демон ли, Печорин или Ставрогин - все они окружены женщинами, готовыми идти за ними на край света, и все на вопрос Тамары, Мери, Даши отвечают или могли бы ответить точно так же. Исчерпывающий ответ. Последний всплеск сомнения гаснет. И только Хромоножка на предложение принца Гарри жить с ним в угрюмом горном ущелье всю жизнь, говорит насмешливо и брезгливо: «Ни за что не поеду! - Даже и со мной? - А вы что такое, чтобы я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди... Ишь, подъехал! И какие, право, люди нынче терпеливые нашлись. Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь!»

Она любила в нем истинно прекрасное, а он - самозванец. Как только увидела, так и разлетелись чары. Эта полоумная (с обычной человеческой точки зрения) наделена высшим умом и даром различения духов. Она может спутать факты, даже подчас смешать лица (обличья), но души она не смешает никогда. Она хорошо знает, что Шатушка - родной, голубчик, что Даша - ангел (с первого взгляда видит), что ее Лебядкин - лакей; и всех господ и дам в ставрогинской гостиной, считавших ее за идиотку, она насквозь увидела и пожалела: «Посмотрела я на вас всех тогда: все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились, сойдутся и посмеяться от души не умеют. Столько богатства и так мало веселья - гнусно мне все это». Во внешнем - неважном - Марья Тимофеевна легко спутает, но во внутреннем...

Так как же в Ставрогине-то запуталась? Не запуталась. Он сам в себе запутался. Не сразу же стал он огненно-черным. Сперва в нем было только одно: пламя, которое постепенно остывало. Не так скор путь от восторженного мальчика, плакавшего на груди своего учителя, до поверженного демона. И на пути этом созерцались многие возможности. Была среди них и возможность любви к Христу. И Ставрогин примеривал ее к своей душе: подойдет ли? Наверно, в один из таких моментов увидела его впервые Марья Тимофеевна и сердцем своим поняла, что именно это и идет к его душе больше всего на свете. Что в это же время он примерял одежды князя тьмы, она еще не знала. А если бы знала? Кто знает, что было бы, если бы знала... Но она не знала, а он хотел ухватиться за нее, как за последнюю надежду на светлый исход.

Думаю, что это ближе всего к истине, но... Боже мой, ведь он женился на Хромоножке, может быть, уже после Матрешки!.. Что же в нем оставалось? Свет погасшей звезды?.. А, может быть, тот сон, который приснился ему и положил конец его «всемогуществу», посетил душу не без участия Марьи Тимофеевны? Где-то в неведомом им самим пространстве духовном встретились эти души. Открывалась великая возможность. Открывалась, но не осуществилась. Душа его слишком далеко зашла, заигралась всеми своими возможностями. И... он сам еще не знает того, что уже видит Хромоножка, когда по липу ее пробежала судорога и она «подняла, сотрясая их, руки, и вдруг заплакала точь-в-точь, как испугавшийся ребенок; еще мгновение - и она бы закричала».

Та любовь, которая чуть теплилась в сердце «ангела церкви Лао- дикийской», погасла. Сердце остыло. И бедная женщина увидела живого мертвеца... Живого и агрессивного мертвеца, сеющего смерть. Вампира, приходящего, чтобы пить души; паука, который сидит в углу и сосет жизни. Вот и закричала она... А когда опомнилась, взяла себя в руки, гордо выпрямилась и прогнала самозванца.

Самозванец пришел из своей могилы к живым душам, чтобы пить их, вместо того, чтобы вынести свою смерть, вынести свое страдание, отталкиваясь от своего греха со всей силой, вырываясь из него. Другого выхода, кроме покаяния, нет. Страдание дается самым великим грешникам, как луковка - той злошей старухе из Грушенькиной легенды. (Один только раз сделала старуха добро - подала нищему луковку. И вот эту самую луковку подает ей ангел, чтобы ухватилась она за нее, когда он будет тянуть ее вверх из преисподней. И ведь вытягивала луковка... до тех пор, пока старуха не стала отталкивать тех грешников, что уцепились уже за нее саму. «Мне - а не вам луковку ангел дал». И все. Оборвалась луковка. Последняя луковка, или соломинка... И она вытянет, если со всем смирением и благодарностью принять ее... И луковки хватит. В этом - тайна.

Если перенести страдание, ни на миг не пожалев себя, не оглянувшись на себя, а только отталкиваясь от себя; если вынести страдание, как заслуженное сполна, и сколько бы его ни было, считать все еще недостаточным, если так - вытянет луковка, спасешься. Но одна капля самосожаления, самоснисхождения, - и луковка оборвется. Жалеть себя, отталкивать другого - одно и то же. Отталкивать можно только себя. Но именно отталкивать, а не убивать. Жить, постепенно выталкивая из себя грех. Самоубийство, подобное ставрогинскому, есть несогласие на духовный труд, есть протест против Бога, неверие и отчаяние - в конечном итоге отталкивание Самого Бога. Я не верю в однозначность самоубийств, в то, что всякое самоубийство есть самый страшный грех. Между самоубийством Матрешы и Кроткой, с одной стороны, и Ставрогина, с другой - непреодолимая пропасть. Но ставрогинское самоубийство есть именно отталкивание последнего Божьего дара, последней милости, которая дается грешнику.

Навстречу страдающему грешнику идет страдающий Бог. (Сам Христос испытал величайшее страдание - богооставленность. «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Марк, 15:34). Непостижимо. Но так).

Страдание демона заслуженно. Страдание Бога - следствие грехов мира. Когда демон отделяется от Бога, Бог тоже бесконечно страдает; грехи мира Его рвут, мучат, распинают. Распятие Христа - раскрытие тайны Бога, тайны ежечасного распятия.

В одной хасидской легенде говорится о тридцати шести праведниках, на которых мир стоит. Они совершенно незаметны. Никто не знает, и меньше всего - они сами, что на них держится мир. Они самые забитые, самые угнетенные, самые обездоленные, самые обиженные миром души. И несут они все это безропотно. Но вот когда такой праведник умирает, Бог берет в свою жаркую ладонь эту промерзшую в мире душу, и если в ладони Божьей целую минуту не оттаивает эта душа, то Бог плачет...

Бог плачет. Плачет в нас. Это те самые слезы, которыми надо напитать землю. И страдание святых и их безропотные слезы - то единственное, что может преобразить боль в радость, спасти мир.

Страдание Бога спасает душу. Страдание нераскаянного демона чарует и губит душу. Сострадание Богу возрождает даже угасшую душу грешника. Сострадание демону убивает живую душу праведника.

А как же Исаак Сирий молился за бесов? Это - совсем другое дело. Он молился об их спасении, о преображении. Не о том, чтобы они избежали страдания, а о том, чтобы вынесли его.

Самый Чистый на свете взял крест и понес его. И вынес. И тем самым показал, что крест можно вынести. Ему Самому не надо было спасать свою душу. - Спасена. Высветлена. Сам Свет. Но Он взял крест, сострадав тем, кому надо было его вынести. Кому другого

пути не было. Вот так сострадать можно даже демону, но только так. Не иначе.

Глава 10 ЛИШНИЕ

Демон давно летает над русскими просторами и пристально вглядывается в русские души. Точно ищет в них очередного пристанища. Он мерцает перед духовным взором Лермонтова, зовет и чарует его, как в поэме чарует Тамару Как она не погибла - непонятно, а все-таки не погибла; и так же душа Лермонтова... «Она страдала и любила, и рай открылся для любви».

Это же черный дух вперяет свой взгляд в Гоголя, внушая ему дикий мистический ужас. И даже гармоничный и воистину светлый наш гений - Пушкин чувствует вокруг себя хоровод бесов. Это не минутное настроение заплутавшегося в поле путника. Давно

Какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи.
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд...

(А.С. Пушкин. «Демон»)

Стоял ли за этим пушкинским демоном реальный Раевский или кто доугой - не это важно. Важно, что за ним была духовная реальность Что душа с ним встречалась... И плодом этой встречи был герои своего времени - первый из этих москвичей в гарольдовом плаще, из этих чужеземцев с Онеги или Печоры. Они зовут прекрасное мечтою не верят любви и свободе и ничего во всей природе не хотят благословить. И они завораживают самых глубоких, самых поэтичных женщин Да и не только женщин. И женщины, и мужчины ждут от них чего-то особого, чувствуют в них избранность, предназначенность к подвигу. Какому?

Властитель дум, властитель душ, кто же он? Это прежде всего человек недюжинной силы. Я не говорю о тургеневско-измельчавших характерах. Не от них пошел герой Достоевского. Но Онегин и Печорин - сильные люди. Их сила еще не нашла себе применения, но она есть Есть независимость духа, присущая лишь властителю, князю... Вот только непонятно еще, светлому ли, или темному князю... Непонятно это ни тем, кто предан ему душой и телом, готов идти за ним на край света, ни, может быть, ему самому. Герой нашего времени - лишний человек, не вписавшийся или, скорее, как бы выписавшийся, выбывший из общества, противопоставивший себя среде, почве, из которой вырос. Лишний человек - сам по себе. И ему самому и всем вокруг кажется, что он на голову выше прочих. Вот только бы найти задачу по своим силам!.. Вот только найти «веру или Бога» (как говорит Порфирий Петрович Раскольникову), ради которых хоть кишки вырезай! Но где найти веру или Бога? Бог потерян.

Вот он, главный нерв века, его больная точка («Бог умер», - скажет вскоре Ницше). Бог существует лишь как внешняя, мертвая форма. Люди еще не нашли новых живых форм духа и продолжают держаться за старые. Но чувство мертвости, скуки, пустоты жизни

разлито в воздухе.

Герой времени - тот, кто осмеливается назвать мертвое мертвым. На фоне мелких, трусливых душ, оглядывающихся на других и обманывающих самих себя, он крупен. Он отваживается быть самим собой. Что не так-то мало. Он не хочет казаться тем, чего нет. И... и только. Предоставляя судить другим, много это или мало.

Ни мало, ни много — то, что есть.

Разумеется, это герой русского образованного слоя. А что в Европе? В Европе - другое. Романтический демон там уже отлетал. Да, может быть, и не так сильно захватил умы и сердца. Было, конечно, было, но... побаловались и хватит. Надо возвращаться на землю и устраиваться на ней крепче, практичнее, чтобы никаким демонам не повадно было... Бог умер? Ну, умер, так умер. И без него проживем. Как? Да потихоньку, полегоньку, с кофе и сдобными булочками, с борьбой за права, с надежными стенами, с игорными и публичными домами. На земле так на земле.

Я не ручаюсь за то, что именно так было в Европе. Но Достоевскому увиделось все примерно так. Бог потерян образованными людьми повсюду, но русский человек с этим не мирится. А в Европе все отлично примирились. И какими же карликами показались ему эти выродившиеся Дон Карлосы! «Город Гаммельн» отлично обходится без души, с одними телами. Здесь - ни Бога, ни черта, ни воздуха. Ни высоты, ни глубины. Душно. Скучно.

Русский герой нашего времени - какой угодно, но не скучный. Он вовсе не кончен духовно. Он только начинается. Примириться с духотой, с плоскостью бытия он не может...

Молодой Достоевский был ближе к Ленскому, чем к Онегину. Он еще не очень хорошо ориентировался в действительности. Она была опутана романтической дымкой. Великая трагедия века еще не была осознана. То, что идеал надо искать заново, то, что Бог потерян людьми нового времени, - еще не стало для него очевидностью. Пелена с глаз спадает перед лицом смерти, перед апокалиптическим видением. Вот когда душа его в ужасе поняла, что жила вдали от Бога. И она рванулась к Богу и впервые нашла Бога. Потом - впечатления каторги, бесконечно страшные. Никакая романтика не могла бы жить рядом с ними. Он увидел, что человек пал очень низко. И если не поднимется, не выживет. А без Бога человеку не подняться. Вот что стало для Достоевского ясным и бесспорным.

Русские прогрессисты, наивно ждавшие гармонии от людей, потерявших старого Бога и не нашедших нового, от людей, не преображенных не обоженных, представились ему слепцами на краю пропасти. Они не предвидят того, что может произойти с Россией как Юлия Михайловна Лембке - последствий «праздника» («Бесы»), Пожар в натечном, вакханалия убийств и самоубийств, - вот куда летит русская тройка Если ее не остановить, не удержать коней, - то ли еще будет.

Достоевской после каторги стал другим не потому, что был сломлен Он имел мужество переменить убеждения, потому что увидел бесов вошедших в тело России, и почувствовал свою задачу: остановить ж натиск. Роман «Бесы» показался современникам карикатурой, в нем действительно много карикатур; но действительность оказалась еще карикатурней. Предводитель бесов, заморочивший голову даже «великому писателю» Кармазинову, Петр Верховенский, покоряющий, гипнотизирующий умы, выведен таким отвратительным и ничтожным, что напоминает пасквиль. Но если взглянуть из нашего далека, то, пожалуй мы и похлеще видели...

Федору Михайловичу надо было во что бы то ни стало разоблачить героев нашего,

последнего времени, и он это блистательно делает. Однако Верховенский представляет еще не всю бесовщину. Есть и те, кто под ним, и тот, кто над ним. Те, кто под ним, эти суесящиеся бесенята уж так мелки, что пожалуй, хоть в лупу разглядывай. Только может, в Эркеле - намек на трагическую судьбу чистого душой русского революционера. Это один из «малых сих», соблазненных, вовлеченных, погубленных...

Ну а кто над Петром Степановичем? В самом деле, есть ведь над этим главным и поглавнее. И без этого главнейшего тот первый - ничто, пустой мечтатель, Колумб без Америки, как говорит он сам о себе. Кто же этот главнейший?

Разумеется, все тот же страдающий демон, Николай Ставрогин. Гниение началось с головы. Это в ней первой завелись черви разрушительных идей. А голова эта - что угодно, но уж отнюдь не мелка. Это крупное явление. Очень крупное. Это тот, кто смеет быть наглым с Самим Богом, кто просит Господа подвинуться и надеется устроиться в мире без Него. Он, демон этот, достаточно умен, чтобы понимать, что без Царя в мироздании нельзя, как и без царя в голове. Так вот, - «подвинься-ка, Царь небесный, я сяду на Твое место. Я ведь догадался, что Тебя нет совсем. Ну, а я-то — есть...».

За всей бесовской мелочью и бесами покрупней стоит великое отрицание, противожизненный атеизм, черные дыры небытия, проступающие, как глаза страдающего демона... В кого они вперили свой взгляд, тому уже не увернуться, тот вызван на поединок. Либо он переглядит демона и доглядится сквозь эти дыры до непреходящего Бытия, либо будет поглощен черной бездной, выпит - без остатка!

Вызов на такой поединок — знак великого уважения. Вызов этот посылается, может быть, только великим душам. Но что такое битва всех (почти всех) святых с бесами? Обычно об этом мы знаем глухо. Это где-то в прошлом. Святой, житие которого осталось миру, — уже победитель. В его сердце горит немеркнущий свет, и нам светит. Но через что прошли святые, прежде чем добыли свой свет, об этом чаще всего жития умалчивают, не вынести даже рассказа об этом простом смертным. И Сам Христос - не исключение. Не так просты были Его искушения в пустыне... Ну, конечно, Христос победил духа тьмы полностью и смертью смерть поправил. И святые, раз уж они святые, - победители тьмы. Но они знали великую скорбь и великие, непредставимо страшные, часы, а подчас дни и годы богооставленности.

В пространстве Достоевского это прежде всего князь Мышкин, все тот же больной юноша со своей невыносимой тоской душевной отъединенности от всего, всего... Всем все было дано, каждую мушку Бог как бы в ладони держал, и все-то ей было просто, а он, он один, изверженный - в пустыне. Нет, не физической - в метафизической, духовной пустыне, от веянья которой души содрогаются так же, как Мефистофель от царства Матерей...

И все-таки князь победил. Даже потом, вновь задушенный всем ужасом этого мира, все равно — он уже навсегда победитель — растерзан, но не затемнен. Его победа произошла еще где-то за страницами романа (как иногда люди уже рождаются почти светоносными, со следами битвы, произошедшей где-то в предсуществованиях).

Другие великие души бьются на страницах романов. И весь рассказ о них - ход этой битвы. Битва иногда кончается победой (случай Раскольников), иногда еще вовсе не кончается, но есть ясное чувство (пророческое знание), что не может кончиться поражением (случай Ивана Карамазова); иногда исход битвы не ясен (так, видимо, с Версиловым в «Подростке»).

И только в случае Ставрогина битва великой души с черными демонами кончается полным поражением души.

Ставрогин выпит... без остатка. И если на первых же страницах романа Зосима предрекает Ивану Карамазову невозможность поражения то Тихон Задонский с великой тоской, с нечеловеческим мучением чувствует уже как бы свершившееся в духовном мире поражение Николая Всеволодовича («Бесы»), Выход все еще есть! Но эта возможность - как возможность чуда. Чуда не происходит. Роман «Бесы» (этот самый мрачный из романов Достоевского) - пророчество о том, что будет, если победит демон.

Глава 11

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАКТЫ

Сам Достоевский - та великая душа, которая вызвана на бой страшным демоном небытия. Этот бой и есть дело его жизни. Он увидел дьявола лицом к лицу. И он бьется с ним. В глубине души весь свет, собранный им, стянутый в некий узел, схватывается с тьмой, как святой Георгий со змием. Истинный свет, который знает душа, вспыхивает непостижимо ярко, и демон в этом освещении теряет свой блеск, свою неотразимость. Становится видно его безобразие. Он смешон. И несмотря на весь ужас: «Не боюсь твоего ножа!» (слова Хромоножки).

Это так Более того: это самое главное в Достоевском. И за это - вечная благодарность, вечная любовь Федору Михайловичу! Вечная любовь которую никто, даже он сам не сможет вытравить из моей души.

Но как он пытается вытравить эту любовь, когда выходит из своей великой глубины на мель! На нашей грешной земле, вдали от увиденной сердцем планеты, в житейском море он борется вовсе не с князем тьмы а с мелким суевливым бесом. Поле битвы из души Раскольникова Ивана Карамазова, Версилова, наконец - Ставрогина перемещается на территории, оккупированные Петром Верховенским, - из метафизической бездны на газетную полосу, в журнальную статейку не слишком разборчивого борзописца.

Петр Верховенский не только чужд бездне, он никакой глубины не имеет: потому и пытается паразитировать на глубине Ставрогина...

Ставрогин погиб. Не раскаялся, не нашел Бога, не просветлел, а повесился. Но не сыграл он роли, уготованной ему Петром Степановичем; ускользнул от своего фанатичного Колумба. Не открылась Америка! Тут бы, кажется, и конец всему делу; тут бы и лопнуть верховоду бесов, как мыльному пузырю... И ведь на самом деле все раскрыто, планы Петра Степановича разрушены; «пятерка» сама себя выдала; самоубийство Кириллова ничего не прикрыло и не спасло. Казалось бы все? Нет, не все.

Петр Степанович преспокойно уезжает за границу - и, погодите, он не умер; он еще натворит дел. Ведь семя брошено, каша заварена. Все сдвинулось со своих мест. «Россия, Россия, куда несешься ты?» (Н.В. Гоголь. «Мертвые души») Но ведь уже не остановишь, пожалуй... (И вправду не остановил никто.)

Вот тут Достоевский выходит из своей глубины, изнутри вовне. Он кричит, предупреждает, плачет, может быть, бьется в припадках. Словом - действует, как может. Да как же иначе? Неужто сидеть, сложа руки, и ждать, пока бесы окончательно погубят Россию, приберут к рукам безответный народ русский? Нет, спасти этот народ и - спастись этим народом, учиться у него, любить его, не отрываться от него, от почвы своей, от родной нашей почвы. Ведь весь ужас начался от этих отщепенцев, от тех, которые отделились от почвы. Ужас начался от всех этих лишних, лишних...

На самом деле, «герой нашего времени» был героем только русского образованного слоя («образованщины», как сказали бы сейчас). К народу он, герой этот, не имел никакого отношения (как и народ к нему). И если Бог был потерян в русской «образованщине», то в народе-то Он не был потерян. Не умер Бог в народе. Вот что было вторым открытием Достоевского после каторги.

Первым его открытием был сам Бог. Истинное созерцание. Бого- видение. Он в самом деле увидел Истину. Живой образ ее.

Второе открытие основывалось тоже на видении. Только видении чего? Целого? Великой глубины, не вмещаемой в очевидность и умопостигаемость? Нет. Как раз наоборот. Это было умопостигаемо и очевидно. Второе его открытие основывалось на некоторых фактах, которые он заметил и обобщил.

Достаточно ли были эти факты для такого обобщения, не будем обсуждать. Допустим, что достаточно. Речь идет не об этом. Речь идет о разнице между фактами, появляющимися в данное время и в данном месте и исчезающими в другое время и в другом месте, - между временными и ограниченными фактами и вечной, безграничной реальностью. Факты вполне доброкачественны и уместны в своем пространстве и времени - в мире явлений. Но в Вечном духовном пространстве факты - это фантомы.

Там они не значат ровно ничего. Смещение мира Истинной Реальности с миром фактов - все равно что смещение Божьего дара с яичницей. Не про то это, не о том!..

Федор Михайлович, прорвавшийся сквозь время к созерцанию Вечной Реальности, вдруг испугался реальной бездны, открывшейся ему, и как истинный сын своего позитивного века, задал вполне позитивистский вопрос: а где она, эта Вечная Реальность, обитает? К какому месту прикрепить, по какому ведомству отнести?

Мне известно одно сказочное правило: на вопросы «где?», «как?» и «когда?» волшебники не отвечают... Вопросы такие - уловка лукавого, который только и норовит выманить души наши из глубины на поверхность...

Я вовсе не хочу сказать, что вера Федора Михайловича в народ была неправдой. Русский народ хранил еще живыми святыни, уже умиравшие в образованном слое. И это было отнюдь немаловажно. Но это было правдой поверхностного уровня. И уровень этот нельзя было смешивать с уровнем вечным, глубинным.

Я не хочу обсуждать, был ли русский народ впрямь святым или не был. Предположим, что был. Но ведь все-таки не так был он свят, как безгрешные люди с планеты смешного человека. А ведь даже и эти люди пали, когда к ним пришло ведение греха. Ибо они были святы по неведению, святы некоей «безотчетной» святостью, святостью детей. Секрет этой святости был в том, что смотря на мир, на красоту его, на свет, они забывали себя, превращаясь как бы в одно только зрение. Как только они стали замечать себя, сравнивать, кто из них лучше, красивее, в ком больше света, кто умеет лучше видеть красоту, и т. п., — свет стал меркнуть.

Знание законов жизни стало выше жизни. Знание законов счастья выше счастья.

Появилось бытие кажущееся, бытие своего отдельного «я» _ в отличие от нераздробленного бытия Бога. Достоевский понял, что эта вторичность жизни, эта тень, выдающая себя за живое существо, - причина всех зол, всего ужаса человеческой истории. С этой «тенью», заменяющей солнце, он и вступает в бой.

И борется. Всю жизнь борется, хотя с первых же шагов начинает ошибаться. Знает это. Иногда поправляется. А иногда - закусывает удила и начинает настаивать на ошибке... Никакой народ, даже безгрешное население рая, люди-ангелы из провидческого сна не

могут быть непоколебимой почвой добра. Все физическое, тварное, всякая земная почва могут уйти из-под ног.

Для христианина нет почвы под ногами. Она только на небе. А небо - внутри. И Достоевский, живущий на глубине духа, это знает. Ведь несмотря на весь ужас, произошедший на планете смешного человека, несмотря на полный крах земной, Дух света, Дух радости остается цел! Смешной человек проснулся после своего сна воскресенным. Все было разрушено. Осталась только живая душа. И этого одного было достаточно для великой радости. Радости о найденной истине.

Все земное может быть опорой только для земного, для временного. Вечное наше, дух наш может опираться лишь на вечное.

Воплощается ли Бог в народе? Я такого воплощения не знаю. Я знаю Бога, воплощенного только в личности. Личного, а не народного Бога. И то таинственное усилие, которым Царствие Небесное берется (или поддерживается), есть усилие, направленное внутрь. Это внутреннее дело каждого. Люди могут собираться для общей молитвы, но предстояние будет всегда только лицом к лицу. И ни заслуги народа, ни грехи народа не засчитываются в час, когда личность встречается с Богом.

Вот я. - Вот Ты.

Шатов в своем огненном разговоре со Ставрогиным говорит, что он не Бога низводит до атрибута народа, а, напротив, народ возводит до Бога. Как бы там ни было, получается некий знак равенства. Равносущность. Равночестность. Так вот, утверждаю: такое может относиться только к личности. Народа, достигшего слияния с Богом, история не знает. Знают, может быть, только мифы. Но и в мифах это состояние (слияние) неустойчиво. А самовозвеличение одинаково опасно как для личности, так и для народа. Светоносный ангел пал, возгордившись; и безгрешные народы мифов падают, когда какой-нибудь пришелец с грешной земли или выходец из образованного слоя будет не заражаться их безгрешностью, а заражать их своим грехом. Достаточно усвоить, что мы единственные, самые лучшие и исключительные, - и ад торжествует.

«Что называешь ты Меня благим? Никто не благ, как только один Бог»... (Матфей, 19:17)

Даже Христос не принимал обожествления себя как сосуда Божьего (только того, что в сосуде). Исключительность может исключать из Целого, а не причащать Ему.

Исключительность, избранность еврейского народа, утверждаемая Ветхим Заветом, имеет, как и все земные слова и понятия, два возможных толкования: буквальное (оно и переносится Достоевским с еврейского народа на русский) и духовное - то, которое привело к Христу, говорившему, что Он есть истинный исполнитель Духа, а не буквы Моисеева Закона.

Это второе толкование избранничества есть избранничество на боль, на муку, на ответственность за всех (грехи мира взять на себя). Чем больше дано, тем больше спросится. А если народу дано, заповедано чувство Единого Бога, значит народу этому заповедано вечно искать и хранить единство со всеми народами, со всеми детьми Божьими. Ибо все - дети Божьи, и извергая кого-то, - Бога извергаешь, извергаешь себя из Бога...

Утверждаю, что христианин не может понимать это иначе.

Шатов говорит о народе, который верует, «что он способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной». Стало быть, ответственность за всех, истина для всех? И тут же: «Истинно великий народ не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту

веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного...» («Бесы»),

Да почему же это, если одна истина, то ее может вместить (иметь) только один народ?! Почему единая истина не может быть у двух, трех, десяти и в идеале у всех людей и народов? Разве не к этому стремились апостолы? Не на это ли вдохновил их Дух Святой? Точки, с которых мы смотрим на вершину горы, у всех разные. Но сама вершина - одна. Реальность одна. БОГ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. Иначе это не Бог, а боги, языческие боги, дерущиеся между собой и дробящие мир на тысячи осколков. Целое потому и Целое, что все включает, а не исключает.

«Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, тогда само различие между добром и злом начинает стираться и исчезать» (Шатов).

Если понять Шатова буквально, это - антихристианская идея. Христианство для того и пришло, чтобы заменить народные представления о добре и зле сверхнародными («...для иудеев соблазн, для эллинов - безумие». 1 Коринфянам, 1:23). Но Шатов имеет в виду не христианство, а просвещение с его стертыми истинами здравого смысла. Здесь он отчасти прав. Когда понятия о добре и зле становятся заученными, чисто рационально усвоенными общими местами, без корней в иррациональных глубинах души, тогда исчезает и личность народа, и отдельная человеческая личность. Но ведь это значит только, что нет вчерашней истины, что истина всегда сегодняшняя, что понятия о добре и зле надо созерцать, вынашивать и рождать заново, - то есть заново отыскивать в Вечной реальности и водворять в наш временный мир. Но в вечности-то они есть - общие всем, единые понятия о Добре и Зле. И если бы это было не так, не было бы Бога.

И как можно спасти другие народы, не помогая им найти путь к самим себе, а навязав им свои, а не их понятия (о добре и зле)? Спасти душу - значит привести ее к ней самой, в ее же вечную глубину, а не увести в свое духовное пространство, захватив и подчинив.

Все это ведь почти трюизмы. И почему приходится говорить о них?.. Потому что если действительно христианский писатель путает понятия Родины и Бога, это далеко уводит от христианства... Если Родина земная начнет мериться и сопоставляться с другими и возвеличиваться, и провозглашаться первой и исключительной, то она становится родинобогом, подобно человекобогу, против которого так боролся Федор Михайлович. Народ-богоносец... Может быть, он и нес Бога, пока ему не разъяснили, какой он хороший и особенный, этот народ. Но когда разъяснили и когда он это стал усваивать... Каким-то непостижимым образом стали соединяться две враждебные идеи - Шатова и Верховенского. И стал народ Шатова - Верховенского не строить, а разрушать.

Испугавшись разрушительных идей, рванулся Федор Михайлович к идеям охранительным. Но вот они стали незаметно переходить в разрушительные. Сначала - Россия выше всего, милитаризм мессианской страны, а потом народ взял да сменил меч внешней войны на топор войны внутренней: ненависть-то одна (к немцам ли, к буржуям). А ведь никто не боролся против этого так, как Федор Михайлович!

Да, да, разумеется... Но, может быть, слишком уж прямо боролся?.. Может быть, не идей надо было отвечать на идею? Может быть, не надо было отсекать, исключать, отрубать?.. Не надо было давать выманить себя изнутри вовне?..

Человеческой идее воистину противостоит не другая человеческая идея а живое

созерцание истины, ее живой образ.

«Я видел истину - не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки» («Сон смешного человека»).

Так, может быть, дадим слово самому этому живому образу истины? Да конечно! Только прежде еще несколько слов о том, как их различит;... идею и реальность, человеческое изобретение и нечто нерукотворное, не мыслетворное - Божье.

Войдем в каморку Шатова ночью, в час, наэлектризованный ожиданием, страстью, болью; в эту каморку, где сконцентрировались вся горечь и вся надежда, точно огромное пространство, уместившееся на кончике ножа. Как он ждал Ставрогина! Два года ждал! И вот он перед ним И надо успеть уместить все мысли, все сердце - сжать все как в один кулак в одну мольбу, в одно заклятие. И вдруг оказывается что заклинать Ставрогина ему нечем... Ибо те идеи учителя, которые так запомнил, так свято сохранил и взрастил ученик, настоящей силы не имеют. И дело не в том, что Ставрогин изменил «хорошим» идеям ради других, а в том, что они идеи. Придуманные идеи. А нужно что-то не придуманное.

Ставрогину может противостоять только человек, обладающий непридуманной истиной. Такого человека Николай Всеволодович чувствует сразу. Почувствовал в Хромоножке и женился. Кто знает, может с надеждой на спасение? Потом возненавидел, чувствуя, что спастись не может... Такое же подлинно божеское начало почувствовал в Тихоне (зажегся сразу: «Я вас очень люблю»). И опять очень скоро возненавидел: ведь это две стороны одной медали). Почувствовал и в Кириллове. Захотел сразиться, испытать силу свою - сможет ли «сбить» и такого? Смог. (Победа, ничего не давшая победителю). Смог но все-таки чувствовал нечто, что может и уважать, и любить. Он относится к Кириллову ровнее, спокойнее, чем к Тихону и Марье Тимофеевне (наверное, не чувствуя в нем вызова). Но Кириллов из той же породы - прикасавшихся к Богу. А Шатов? В ответ на его исступленный восторг Николай Всеволодович, холодно. «Мне жаль что я не могу вас любить, Шатов» И только. В чем же дело? В конце диалога Ставрогин спрашивает: ««Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?»»

- Я верую в Россию, верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России.

Я верую...- залепетал в исступлении Шатов.

А в Бога? В Бога?

Я... я буду веровать в Бога. (Выделено мной. - З. М.)

Ни один мускул не дрогнул в лице Ставрогина»

Все, во что верует чистая душа Шатова, противопоставляется тому, во что верует, что планирует Петр Верховенский. Россия, ее православие, ее миссия — миссия новой родины Христа - во все это ни на грош не верит Верховенский. Именно эту веру он призывает опровергнуть, расшатать, растоптать. И однако все это еще вовсе не есть вера в Бога. И Ставрогин, хотя и очень хотел заслониться этими идеями от всех противоположных идей, в глубине души прекрасно знает, что не то это, не то... не об этом речь... Все это от черных дыр небытия, от сверлящих глаз дьявола не спасет...

А что же спасет? Что может спасти? Видение истины. «Я видел истину, - не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки».

Вот что может спасти... А идеи? Да полно, ведь это все не про то...

«Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были до того убеждены в ней безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было

храмов, но было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, но зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной («Сон смешного человека»).

Вот что такое истинная вера в Бога - чувство Бога, виденье Бога. Восполненное зрячее сердце, способное увидеть Тайну.

И вот когда сердце Шатова было восполнено до края и непостижимо засветилось, вот тогда он и залепетал свои глубочайшие слова о Тайне, которые никогда не убеждают, которые идеями не являются. Их может понять только такое же наполненное сердце. От сердца к сердцу. Из глубины - в глубину передаются они, а на поверхности не слышны, не видны, глупы, жалки. «Эк, напорол! - скажет Арина Прохоровна. - Так и всякая муха - тайна» («Бесы»).

Петру Верховенскому до тайны этой нет никакого дела. Это ему ни к чему. С этим ничего не сделаешь. самого глубокого пласта, в котором живет Ставрогин - пробует любить, ненавидит, кощунствует, — этого духовного пласта в Петре Верховенском просто нет. Вот почему он сам для Ставрогина — пустое место, никто. Для Ставрогина если нет Бога, то есть дьявол (и он ему уподобится). Для Верховенского есть вагон первого класса с картами, вином и кофе. Петр Степанович еще может жить элементарными идеями и чувствами. Ставрогин все исчерпал и дошел до пустоты. Какая идея спасет его от пустоты? Идеи такой нет. Только живой образ истины. До этого нельзя додуматься. Это можно только созерцать.

И именно созерцание истины и спасет «смешного человека» от самоубийства. Он увидел сердцем. Что? Миссию русского народа? Его богоносную суть? Новые единственно русские представления о добре и зле?

Я не собираюсь спорить сейчас с этими идеями. Я только спрашиваю: он это увидел там, на безгрешной планете? Это? Там были русские, французы, немцы, евреи, со своими особыми представлениями о добре и зле? «Люби других, как себя. Вот что главное, и это все, больше ровно нечего не надо: тотчас найдешь, как устроиться» («Сон смешного человека»).

Это все? Неужели все? А Шатов столько наговорил! Вот когда пришла к нему жена, он вдруг вмиг это понял. И все остальное забыл, и уж так любил, что светиться стал - хоть ставь темной ночью вместо свечки. А когда не было любви, то сколько идей и каких убедительных!..

«Сознание жизни — выше жизни, знание законов счастья - выше счастья" — вот с чем бороться надо!» В этом убежден человек, созерцавший Истину. «И буду!». «Если только все захотят то сейчас все устроится. А ту маленькую девочку я отыскал...И пойду! И пойду!..» («Сон смешного человека»).

Глава 12

Я СТОЮ НА МОСТУ

Нет, не отыскали, Федор Михайлович. Она все еще стоит и плачет там, на мосту. Этот промозглый петербургский вечер все еще тянется. Пусть в другом пространстве и в другом времени. Ведь кто-кто, а уж Вы-то хорошо знаете, что от того, что внутри, в душе,

не укроешься ни на Марсе, ни на Венере, ни в загробном мире. Вот почему я, еще живая, говорю с Вами, уже ушедшим с земли нашей, — так, как будто Вы никуда не уходили. Вы и не уходили. Мы продолжаем жить в одном духовном пространстве, отвечая за каждое свое слово, каждый свой вздох, каждое душевное движение.

Чем отвечая? Как отвечая?

Слезами или улыбкой этой девочки или какого-то другого ребенка, какого-то открытого, живого, совершенно незащитного детского сердца. Ваш Митя это знал. Если «дитё плачет», значит он, Митя виноват. Где-то какое-то незнакомое «дитё плачет», а Митя в ответе. И ни с кем на земле он не связан теснее, чем с ним. «Дитё» ему, Мите, унять надо. В этом главная его жизненная задача... Ну, а Иван с его внутренними весами, на которых вся гармония мира не стоит одной слезинки замученного ребенка?..

Именно об ребенка разбивались любые ваши идеи, любые изобретения ума вашего.

Великая любовь и жалость в самом сердце вашего сердца. Эта любовь - противовес всему выдуманному. «Не хочу гармонии!» («Братья Карамазовы») Не хочу мира, в котором мучают детей. Вот и в «Сне смешного человека» герой оттолкнул девочку потому, что живая жалость к ней как-то сбивала с толку его размышления, путала его идеи... И в конце концов девочка и сбила его с его убийственной идеи и спасла ему жизнь и душу.

Благодаря ей он (Вы!) истину увидел.

И все-таки девочка еще стоит на мосту, и все еще жив ужас в ее глазах от того, как Вы замахнулись на нее, когда она мешала Вашей идее, очередной Вашей идее... Потому что не замолчало все выдуманное, человеческое перед живым, перед Божьим...

Я ведь не верю в Бога, который где-то «там», отдельно от «здесь», воздает всем по заслугам. Я не верю в чуждого, не доступного сердцу Бога. Сердцу, глубине сердца все доступно. «Царствие Божие внутри нас» (Лука, 17:21). И не «там» оно и не «здесь»...

Бог для меня Тот, Кто одновременно и истец, и ответчик. Тот, Кто отвечает единственным способом: подставив Самого Себя под удар. Он - в кротких глазах лошади, по которым бьет пьяный мужик, в непрерывных всхлипываниях зашедшегося ребенка, в испуге и тоске той девочки. Он на кресте. На том самом деревянном - или, может быть, на другом - ибо несть им числа, крестам. Его крестам. И не замолкло, все еще длится Его последнее восклицание.

Неужели не было у Него никаких спасительных идей, чтобы избежать креста? Неужели надо было принять всю муку? Такую муку?! Неужели он не придумал бы чего-нибудь? Неужели наш ум изобретательнее Его ума, изобретательнее Божественного Разума?..

Но Он ничего не придумывает. Он только постоянно есть. Он живет. И потому неотделим ни от чего живого. И если есть где-нибудь в мире страдание, то и Бог страдает.

Суть Его божественности в Его всецелости, в Его неотделимости ни от кого, ни от чего живого. Бог отделяется только от греха, который сам отделяется от жизни.

Пока есть грех, есть страдание. Пока есть страдание, Бог Сам страдает. Истец и ответчик в одном лице. Вот эта неразделимость лиц - тоже признак божественности...

Есть только одно крещение - причастие кресту. На перекрестке греха и страдания выбрать страдание. И только. Третьего не дано.

И ведь Вы это знаете, Федор Михайлович! И как знаете! Ведь Вы пронзены страданием мира и знаете, знаете ведь, что не сможете быть счастливым, пока не земле есть хоть один страдающий... Но, может быть, я хватилась через край можете Вы чувствовать каждое страдание, как свое собственное Один Бог страдает в каждом страдающем, неразделим с каждой болью. Ведь это в одном Боге совсем нет греха. А в нас... А в Вас... Ведь Вы

первый вытащили на свет из подполья того прячущегося человечка, который сидит в своем углу и говорит: «Миру провалиться, а мне чай всегда пить». Господи, в каком Вы ужасе от того, что этот грешник, этот подпольщик, есть в нас!.. И в Вас есть... Присосался, как пиявка, к Вашему сторающему, к Вашему прекрасному сердцу. И мучает Вас, и заставляет сомневаться в себе, в своей любви, даже в своей боли.

Полно Не надо. Боль у Вас настоящая. Непомерная. И она уничтожит эту пиявку. Страдание уничтожит грех. Ведь Вы же увидели грех и не скрыли его. И это немало... Это так много!..

Но ведь жизнь кончилась. Разве можно еще что-то сделать? И уничтожить грех? Ничего не кончено. Это должно случиться в нескончаемом духовном пространстве, таком же живом и открытом сегодня, как тогда, когда Вы еще жили на земле. Должно открыться подполье все насквозняк. Всё проветриться, просквозиться Духом... Как? Когда? Не знаю. Но будет, будет...

А между тем, много случилось на нашей земле с тех пор, как Вы ушли с нее, так много! Сыновья восстали на отцов и брат на брата И в этой сумятице неожиданно хозяином положения оказался Смердяков, человек дела, который не рассуждал, что позволено, что нет, а прямо взял и всё себе позволил. Смердяков остался жив, расплодился и размножился, и со своей подленькой усмешечкой всё и всех прибрал к рукам. Знали бы Вы, какую хвалу стал петь Иван Федорович прежнему лакею своему, которого он так презирал в Ваше время. И Митя, почесывая затылок, согласился, что недооценил великого гения. Если Вы всё это можете видеть в своем сне загробном, то трудно придумать кару пострашней. И, говорят, в кабинете у одного из этих Смердяковых у этого припадочного, бесноватого фюрера висел Ваш портрет... Мне было страшно сказать Вам это, Федор Михайлович, но Вы должны знать и это. Вы всё должны знать. Только я знаю твердо: не Вы убивали детей в газовых камерах. Я это знаю и говорю с такой же ответственностью, с какой Алеша говорил Ивану: «Я знаю одно, брат: не ты убил отца!».

Не Вы... Не Вы... Но почему надо бояться, что Вас в этом могут обвинить? Потому же, почему и Иван боялся. Ах, - идеи... Во всякой идее заложено «Кто виноват?» и «Что делать?», и Вы замахиваетесь своими идеями на детей. Вот они, три ваши любимые идеи, любимые детища ума вашего. Это:

1) Идея о римском католицизме, «который уже не есть христианство», ибо поддался на третье дьяволово искушение - искушение властью. «Возвестив всему свету, что Христос без царства земного устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир» («Дневник писателя») Не оспариваю и не соглашаюсь. Только отмечаю: идея высказана четко и виновный найден. В гибели западного мира виновно католичество.

2) Идея о русском народе, народе-богоносце. О народе исключительном, единственном. Можно обвинить в грехах весь мир, только чтобы оправдать этот народ от наветов. Борясь за правоту этого народа, можно огнем и мечом уничтожать другие. (И Вы, Вы провозглашаете священную войну, Федор Михайлович?.. Вы, подобно Магомету, о котором мечтал Раскольников, разворачиваете знамя джихада?!)

3) Наконец, есть такие виноватые, виноватей которых во всем мире не найдешь. Правда, Вы не говорите, что их надо физически уничтожить, но уж идейно уничтожаете так, что как только им и жить после этого... Эти виноватые, конечно, евреи. Те самые евреи, которые «жили для того, чтобы дожидаться Бога истинного, и оставили миру Бога истинного!»

(«Дневник писателя») Жили, оставили. Все в прошлом. Пора и самим стать прошлым. От них осталась только одна идея «жидовства», идея самосохранения любой ценой. Идея подчинения всего мира мудрецам Сиона. (Ах, как этот миф разросся в нашем XX веке!) Спорить с Вами, разбивать ваши доводы - нет, не хочу. Я хочу только дать Вам очную ставку с самим собой. В рассказе, который я часто цитирую, в «Сне смешного человека», вы не только пытаетесь понять причину грехопадения, кошмар истории, Вы ее, причину эту, видите сердцем. И вот тогда-то никого не вините, кроме себя. «Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех!.. Причиною грехопадения был я». (Выделено мной. - З.М.) «Они научились лгать и полюбили ложь, и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом проник к ним в сердца и понравился им... Скоро, очень скоро пролилась первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться и разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Родились понятия о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя... Началась борьба за разъединение, за обособление...»

А до... до лжи, до себялюбия, до грехопадения - что было тогда?

Что есть всегда в глубине глубин?

«...Они не стремились к познанию жизни, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них, точно они говорили с себе подобными существами. И, знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью! Они указывали на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем...» («Сон смешного человека»)

Каким-то живым путем... Всегда ли Вы искали этот живой путь, Федор Михайлович? Не заменяли ли Вы его идеями, неживыми, выдуманнными идеями? А там, на мосту, стояла и дрогла девочка и вызывала в Вас раздражение, потому что мешала Вам думать...

И кто знает, кто была эта девочка? Православная, католичка, русская, еврейка?

А ведь, Вы знаете, я не опровергаю Ваших идей. Я даже могу сказать, что в каждой из них есть своя правда. О римском католицизме, например, Вы сказали великую правду. Поэма о Великом инквизиторе - одно из величайших созданий вашего гения. Но всё, что в ней сказано о римском католицизме, относится не только к Риму, а ко всякой Церкви земной. Всякая Церковь в достаточной степени опирается на земных царей, на царство земное... Разве это не очевидно? Всё земное непрочно, всё подвержено соблазну. И осениться бы только крестным знаменем; то есть всем сердцем решить: выбираю крест. Пока есть на земле страдание, остаюсь с крестом, а не с теми, кто осуждает на крест; с Распятым, а не с распинающими. И только. И тогда отпадут все горы доказательств, все союзы со своими знаменами...

Русский народ — народ-богоносец, единственный и исключительный? Ну что ж, может быть... Русский народ действительно долго хранил живую святыню, живую красоту духовную. Гораздо дольше, чем образованный слой общества, а может, и чем другие

народы Европы; кто знает, может быть... Кто ближе к святине, ближе к Целому, тот разумеется, ближе к истине... Но вот что вы пишете в наброске к «Бесам»:
«Сила в нравственной идее. Нравственная идея в Христе. На Западе Христос искажился и истощился. Царство Антихриста. У нас православие. Значит мы носители ясного понимания Христа и новой идеи для воскресения мира... Если бы пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас же бы начал разлагаться... Теперь вопрос: кто же может верить?.. И даже вопрос: возможно ли верить? А если нельзя, то чего же кричать о силе православия русского народа? Это, стало быть, только вопрос времени. Там раньше началось разложение, атеизм; у нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма». (Выделено мной. - З. М.). И далее: «А если православие невозможно для просвещенного (а через сто лет половина России просветится), то, стало быть, что все это фокус-покус и сила России временная... Возможно ли вправду верить?»
Вот ведь в чем дело: в Вашем сомнении. Вы то веруете, то нет. И когда веруете, Вам не нужны никакие оплоты, никакие доказательства, никакие идеи... А вот когда вера начинает шататься, как Вы начинаете убеждать всех! Как горячитесь, как выходите из себя, чтобы во что бы то ни стало, хоть на волос, убедить... самого себя. Это Вам-то, видевшему планету смешного человека, говорить о невозможности веры для образованных? Это Вам-то, так хорошо знающему, что все это не про то... не про то... Разве «смешной человек» был необразован?

А вот увидел истину и уверовал...

Вы боитесь остаться один на один с внутренним царством - Царством Небесным. Вам нужна внешняя земная опора. Масса. Чувство локтя А ведь личность, та самая «сильно развитая личность», о которой Вы так прекрасно говорили, развиваясь, проходит через пустыню, ту духовную пустыню, в которой нет ничего внешнего, и вся опора сосредоточивается внутри и только внутри. Есть часы, когда Вы боитесь Пустыни Федор Михайлович, боитесь остаться наедине с тем, кого любите больше всего на свете. Боитесь Ему довериться. Тому, Кто не имеет где преклонить голову; Тому, Кто при всей благоговейной любви к храму сказал: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Иоанн, 2:19).

Для христианина «всякое отечество - чужбина и всякая чужбина - отечество», - сказал Августин. Сын Человеческий очень любил свою земную родину, свой Иерусалим. Но небесную Он любил больше. И когда земная родина изменила Ему, Он ушел, - не для того, чтобы искать новую земную родину. «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Лука, 20:17). Но поначалу он лишний, лишний...

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоем,
(Не числящиеся в ваших справочниках,
Им свалочная яма - дом).

Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы - когда б...
(М. Цветаева. Триптих «Поэт»)

Когда б то что принадлежит им по праву, не было бы так велико. Их место на земле не первостепенное, не исключительное, а все в себя включающее то самое место, с которого

«слишком многим руки для объятья/ Ты раскинешь по концам креста» (Б. Пастернак. «Магдалина»).

И опять мы пришли к кресту. И, видно, никак нельзя обоить его. Очень страшно потерять последнюю опору вовне. Остаться ни с чем.

С крестом. На кресте. Если даже Ему было страшно в Гефсиманскую ночь, то уж что говорить о нас?.. Как хорошо было что-нибудь придумать, чтобы избежать этого ужаса - одинокого противостояния всему внешнему, когда Дух, бесплотный Дух - один против всего плотного, тяжелого, сцепившегося в массу мира. Неужели нельзя что-нибудь придумать, чтобы избежать этого?! Может быть, можно укрыться в народе? Нет ли у народа нашего неких гарантий, что он не погибнет? Нельзя ли его как-нибудь оградить от гибели? Ну, пусть он даже грешен, но, может, ему ангел с неба за какие-то особые заслуги луковку протянул... И пусть за луковку эту не хватаются другие народы. Не вам ведь! Даже если в идее этой своя правда, даже если заслуги (луковка) не их, а наши, а грехи — их, чужих; даже если это было бы так, то кто мы - христиане или та злющая старуха из Грушенькиной легенды?

Кто лучше, кто хуже? Кто из народов самый избранный, кто самый отверженный?..

Хорошо бы предоставить решать это Богу, а не нам, людям. У нас есть свои и чужие. И мы склонны в своем глазу бревна не замечать, а в чужом соломинку видеть.

Спасительные идеи... Похоже, что их нет и придумать ничего нельзя. Остается то, что не придумано, то, что есть: грех и страдание. Теоретик Раскольников, грешник Раскольников из всех сил сопротивлялся Соне (как и душе своей собственной) и не хотел каяться. Как ему хотелось, чтобы осталась хоть капля его исключительности, особого права сверхчеловека! Или он сверхчеловек и тогда «право имеет», и можно еще жить, а не идти в каторгу, или... или - крест. И нет другого выбора.

А не осталось ли в Вашем изболевшемся сердце, в Вашей измученной душе, Федор Михайлович, одного маленького атома этой веры в сверхчеловека, которую Вы так яростно убиваете?.. Если не в сверхчеловека, то в сверхнарод... Не все ли равно? Какой-то атом сопротивления Христу... Сблaзн не принять креста, несмотря на все слова, ибо крест — это полнота смирения, полный отказ от опоры на что-либо внешнее, полная отдача себя Богу — который не ведом уму, но ведом сердцу..

Пока есть на земле страдание, нет другого пути, как принять страдание. Бог страдает с каждым страждущим. И только сораспявшись Ему, можно воскреснуть с Ним к жизни вечной. Но пока в нас есть грех, он, грех, не хочет, чтобы его убивали. Он изворачивается. Он говорит: его, их распните, а меня оставьте. Я жить должен, я особенный.

Бог принимает крест.

Грех его отбрасывает.

А для нас перекресток выбора: с Богом? Или с грехом? Ведь Вы не любите свой грех, Федор Михайлович! Вы ненавидите грех как мало кто на свете! Вот только совсем ли Вы его одолеваете? Готовы ли Вы сделать то последнее усилие, чтобы оттолкнуть его весь, совершенно? Ведь я спрашиваю Вас, у которого по сути нет выбора. Вопрос у Вас не может решиться в отрицательную сторону, - вся Ваша любовь - с Тем, Который на кресте. Ведь Вы без Него - не Вы. Так вот потому и нужно то последнее усилие. Единственно, что нужно... Потому что даже одна маленькая трихина... сами же Вы сказали, что она могла сделать.

ЛЕКЦИИ О ДОСТЕВСКОМ

ПРАВДА ХРИСТА И ПРАВДА ВЕЛИКОГО ИНКВИЗИТОРА

/ Лекция, прочитанная на семинаре, который ведется вместе с Г.С. Померанцем./

Есть две правды. Правда Великого инквизитора и правда Христа. Правда инквизитора очевидна и убеждает очень многих достойных людей.

Зачем Христос отказался от предложений великЪго мудрого Духа (как величает его инквизитор)?

Зачем отказался от возможности превратить камни в хлебы и накормить голодных?

«Ты гордо сказал "не единым хлебом жив человек", — повторяет ответ Христа инквизитор. - Ты слишком высоко думал о людях. Но Ты не любил их и оставил голодными. Ты не хотел, чтобы они слепо подчинялись авторитету, знающему некую скрытую от них тайну. Это участь идолопоклонников, рассуждал Ты. Ты мерил их по своей мерке. Но это не их мерка». Так рассуждал инквизитор. И правда его совершенно очевидна. Да, между людьми и Христом - пропасть. Люди, даже не способные на зверства (а сколько способных), совершенно не способны подняться на ту высоту, на которую их зовет Христос. Они духовно бессильны. Они - стадо, которому нужен Пастырь, освобождающий их от решений и ведущий за собой. Ни свободы, ни ответственности им не нужно. А что нужно? Щей горшок, Маша или Параша под боком.

Такова масса. Среди них есть личности, но их меньшинство и на них нельзя опереться. Инквизитор Достоевского мечтал о другом, но вдруг проснулся от своих грез и увидел человечество именно таким. Вот материал, с которым надо работать духовным вождям - реалистам, а не мечтателям, вроде Иисуса.

Инквизитор и принимается за работу. Он становится во главе стада и диктует ему свою волю, свои законы. Во имя блага этого стада. Послушное стадо должно делать то, что разрешит Пастырь. А он разрешит им грех, потому что слабые люди без греха не могут обойтись. Не разрешить им грех - значит не любить их. О, он все делает из любви к ним! Грехи прелюбодеяния, даже воровства и убийства - прощаемы, он не будет за это слишком строго наказывать, но свобода мысли, но ересь подлжит огню - и снова во имя блага тех, кого сжигают.

Сжигая тела, спасает души...

Итак, если стадо будет послушным, то человечество обустроится и успокоится.

Великие утописты XIX века думали несколько иначе. Они считали, что человек станет безгрешным, если общество будет справедливо устроено.

И вот мыслители XIX века планировали и мечтали, а XX век занялся устройством такого общества. Что из этого вышло, мы слишком хорошо знаем. И не важно, во имя Бога, или социалистических, или националистических идей все творилось, - на всех знаменах было написано «Добро» с заглавной буквы. Об этом лучше всех сказал Василий Гроссман. - Добро шло на Добро, и мир превращался в ад.

Правда Великого инквизитора, на первый взгляд, очевидная и бесспорная, оказывается весьма сомнительной. Послушное стадо взбунтовалось и вырвалось на волю. Бунт бессмысленный и беспощадный был ответом на деспотизм. Потом этот бунт сменится новым деспотизмом. Люди будут метаться из одной крайности в другую. Порочный круг. Правда Христа не противоположна правде Великого инквизитора. Она находится в другом измерении.

Ответ Христа инквизитору - это не бунт против него, а послушание другой, высшей воле, воле, созидающей жизнь.

Каким бы ни видел инквизитор сегодняшнее человечество, он видит только то, что встает перед глазами и постигается умом. Но Главное глазами не увидишь и умом не постигнешь.

Правда Христа незрима. Она находится в глубине, в которую не проникнут ни физические глаза, ни вся человеческая логика.

Христос знает, что человек жив не единым хлебом. Но, пожалуй, об это догадывается и инквизитор. Поэтому он берет у Духа-искусителя и два других дара: тайну и авторитет.

Человеку, такому, каким его видит инквизитор, нужен авторитет, освобождающий его от свободы, неоспоримый авторитет, владеющий некой скрытой от всех других тайной.

Итак, по инквизитору, человек должен быть накормлен и освобожден от бремени внутренней свободы.

По Христу, человек жив не единым хлебом, а еще словом, идущим из уст Божьих. А это прежде всего слово о внутренней свободе (Царствие Божье внутри нас) и о богоподобии человека.

Душа человеческая — это бездна, заполнить которую может только Бог. Это сказал английский архиепископ Рамзай. Человек может насытиться только всей бесконечностью - добавлю я. Полноту жизни ему может дать только чувство Бесконечности, которое открывается в его душе.

И я узнала, наконец,

Как создавал меня Творец.

Сперва взяла Его рука

Всего лишь только горсть песка

И к ней прибавила чуть-чуть

Простору, чтобы мочь вздохнуть.

И вскоре весь разлив небес

Вместился в грудь, и целый лес

И гул морской... И все же Он

Был недоволен и смущен...

И вот тогда в избытке сил

Всего Себя мне в грудь вложил —

Всю меру Божеской любви —

И мне сказал: теперь — живи!

Осуществление человека — это вмещение Бога внутрь себя.

Естественно, история человеческая таких целей не ставила. Ставились цели логически ясные. Если они выполнялись, то приводили к разочарованию. Новые цели, новые достижения, новые разочарования. «Я лишь желал, желанья исполнял и вновь желал», - говорил Фауст, упорно искавший смысл жизни. Он нашел этот смысл в Деле, которое поставил выше божественного Слова. Но век Фауста кончился, принесся человечеству новые разочарования.

Христос отнюдь не идеалист, каким представляет Его инквизитор. То, что увидел инквизитор, видел и Христос. Ведь никто иной, как Он, сказал: «Мир во зле лежит». Но - «Царство Мое не от мира сего».

Что такое эта «неотмирность»?

Воображение наше тут как тут и рисует нам некое зеркальное отражение земного мира. Только лежащее не во зле, а в добре - где-то «Там» - на небе. Но Христос сказал: «Царствие Божие не там и не здесь, оно внутри нас». То есть речь идет о той самой Глубине, контакта с которой нам нужно постоянно искать. «Ищите Царствие Небесное» - то есть эти Глубины, и все остальное приложится вам.

То есть только тогда, когда человек и человечество соединятся со своей Глубиной, оно осуществится. Все другие решения - ложь, уловка лукавого разума.

«На глубине бытия зла нет», - сказал Августин. Итак, мир, во зле лежащий, - это мир, живущий на поверхности. Правда Христа - призыв в Глубину, взгляд из глубины даст совершенно другую земную перспективу (все остальное приложится вам).

Небесное - глубинное - духовное есть основа жизни и истинная цель жизни.

Тело без Духа - мертвая глина. Дух незримо работает внутри тела - творит жизнь. И не Дух должен подчиняться отлитый в форму, уже сотворенной глине, а глина - творящему Духу. Глина, материя имеет форму и вес. Дух как будто эфемерен и не имеет никакой власти в этом мире, но Он является альфой и омегой - основой этого земного мира.

Человек либо будет подобен Богу - осуществит Его замысел о себе, либо не будет совсем. И только в этом откровение Апокалипсиса.

Правда Христа - очень трудная правда, для которой может понадобиться пройти через распятие. Но никакой компромисс невозможен, если на карту поставлен смысл жизни. Этот невидимый смысл больше всего видимого. Жизнь без собственного смысла, который воплощен в Боге, - не жизнь. Смертное тело без бессмертия Духа - рассыпающаяся глина. Прах.

Царство Его

Не от мира сего

Сила Его

Не от мира сего.

ЗДЕСЬ Ему воздух скупко отпущен.

Нет, не всесильный, не всемогущий.

ЗДЕСЬ — задыханий едкая гарь,

ЗДЕСЬ Он не царь.

Кто же Он? — Путь, уводящий отсюда,

Сам чудотворец — высшее Чудо.

Выход в мою и твою высоту,

Насквозь пробитый, прибитый к крюку.

Тот, кто в молчании вынести смог

Тяжесть земли - наш неведомый Бог

Назван. Описан и — снова неведом.

Только тому, кто пройдет Его следом,

Снова предстанет среди пустоты.

Видишь? Вот Я.

Вижу. Вот Ты.

«Мир красота спасет», иди Божий след и утрата его в творчестве Достоевского и Набокова

В работе «Истина и ее двойники», посвященной Достоевскому, я пыталась показать, где Достоевский идет по следу живого Бога, а где отступает от него, теряет этот след и прокладывает прямолинейные пути человеческой мысли.

Может быть, все творчество Достоевского есть упорное, продиктованное насущнейшей необходимостью отыскивание Божьего следа, который вьется, петляет, ускользает. След силы, творящей жизнь. Но когда этот след находится, тогда как бы воссоединяется невидимый провод, включается ток и загорается свет, и тогда Федор Михайлович любит ближнего до самопожертвования, хочет у всех просить прощения и никого ни в чем не винит, кроме одного себя. Когда свет гаснет, начинаются логические выводы, поиски виноватого и доходит до того, что великий христианин Достоевский начинает пропагандировать войну как нравственное обновление. Но это тогда, когда он соскальзывает с Божьего следа, теряет его; когда прекращается созерцание и начинается придумывание. А созерцание глубинной красоты мира вызвало к жизни те самые знаменитые слова Достоевского, вложенные в уста князя Мышкина: «Мир красота спасет». Этот искаженный злобой и страданием мир можно доглядеть до его светящейся прекрасной сути. Суть эту видят сердцем. А красота, которую видят наши глаза, есть знак и образ этой великой внутренней красоты - величайшей Тайны, которая все время открывается нам и ждет, чтобы мы сами открылись Ей.

Красота имела великое значение и для другого нашего классика - Набокова. Кажется, он тоже мог бы, не задумываясь, сказать: «Мир красота спасет». Все его творчество есть внимание к красоте, удивительно тонкое чувство прекрасного, ощущение красоты чем-то самым главным в жизни. Однако Набоков совершенно не любил Достоевского, отталкивался от него. Свое ощущение Достоевского он высказывал примерно так: это человек, закрывшийся шторами от дневного света и днем жгущий настольную лампу. В устах Набокова это означает полное нежелание и неумение видеть мир.

Между тем, видят мир они оба, но видят его по-разному. В рассказе «Письмо в Россию» Набоков говорит обо всем, что попадает на глаза берлинской ночью: улицы, дома люди. Где-то далеко за городом, на православном кладбище, повесилась семидесятилетняя старушка. На могиле мужа, на надгробном кресте. Автора письма трогает и умиляет эта смерть. Особенно «таинственными и прелестными» кажутся ему серповидные маленькие, почти детские следы ее каблучков, оставленные в сырой земле...

Думается, что Достоевский увидел бы это по-другому. Наверно, сердце его кровоточило бы от этой смерти. Но можно смотреть по-разному. «Быть может, друг мой, я пишу это письмо, - говорит Набоков, - для того чтобы рассказать тебе об этой легкой и нежной смерти». И продолжает: «Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое - вызов. Блуждая по улицам и площадям, по набережным вдоль канала, рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, школьники будут скучать над историей наших потрясений, - все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется - в мокром отражении фонарей, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, - во всем, чем Бог окружает так щедро наше одиночество».

Его делает счастливым наблюдение за всем окружающим - в том числе за аляповатыми витринами, за упитанной проституткой, зазывающей клиента, за домом, который ночью впускает одну за другой подобные пары, а днем притворяется обыкновенным добропорядочным жилищем. В чем же счастье автора письма? В том, что мир бесконечно

многообразен, неисчерпаем в своем многообразии; в том, что этот неисчерпаемый мир тесно связан, переплетен с ним самим. И это умиряет и расширяет его сердце. Еще чуть-чуть, и мы дойдем почти до тютчевского «все во мне и я во всем». К такому трепетному благоговейному чувству Набоков подходит вплотную в рассказе «Благодать» — удивительном рассказе, в котором автор вылечивается от мучительной страсти, от замкнутости на себе, почувствовав красоту смирения, воплощенную в незаметной «коричневой старушке», продававшей видовые открытки у Бранденбургский ворот. Эта тихая красота как бы излучала свет. И в свете этом его капризная надменная возлюбленная показалась ему уродливой. Ее власть над ним кончилась. Он освободился. Он счастлив. Это новое мироощущение превратило непогоду в уют, невезение в благодать. В романе «Дар» красота тоже очень добра, благословенна. Виденье красоты так полно, ярко, что воистину может сделать человека счастливым. И тут вспоминается другая фраза Достоевского, вложенная в уста тоже князя Мышкина: «Как это можно видеть Дерево и не быть счастливым?» Как будто бы так близко! Братья родные... Я потому и рассматриваю этих писателей вместе, что их объединяет отношение к красоте, и кажется, что разделяет их какое-то наваждение. Но это не совсем так (а может и совсем не так). Тут есть глубокий, сущностный водораздел.

Набокову достаточно видеть. Аляповатые витрины и упитанная проститутка входят в общую картину мира. Они не отталкивают его. Важно видеть мир таким, каков он есть, видеть все, «чем Бог так щедро окружает наше одиночество».

Набоков в «Даре» очень зло пишет о Чернышевском. Этот человек совсем не умел и не хотел видеть. Умудрялся проехать в пролетке через всю Россию и ни разу не взглянуть вокруг. Он всю дорогу читал и думал «что делать». Как будто можно что-то делать, не видя мира...

Достоевский, разумеется, бесконечно далек от Чернышевского. Достоевский - зрячий. Но видеть, как говорилось уже, можно по-разному. По-разному быть счастливыми и несчастными — тоже по-разному. Ни аляповатая витрина, ни упитанная проститутка не вошли бы в картину счастья Достоевского. Скорее вызвали бы боль. Дерево — это другое. Дерево — это живой след Творца. Через этот след, как через икону, можно Бога провидеть.

У Энтони де Мелло есть два разговора об умении видеть. «Что такое счастье?» - спрашивают ученики мастера. В обоих случаях мастер отвечает: умение видеть.

«- Видеть что?»

- Что золотое ожерелье, о котором ты мечтал, находится у тебя на шее, а змея, которой ты боялся, - всего лишь веревка, лежащая на дороге».

И другой ответ на вопрос - «видеть что?»:

«- В гусенице - бабочку, в яйце - орла; в грешнике - святого». Обе притчи об одном: доглядеть мир сквозь оболочку до сути.

По-настоящему видеть значит проникать в некое внутреннее, скрытое от глаза Движение. Проследить это Движение и значит идти по Божьему следу за самим Богом - преображаться.

Красота для Достоевского ангелична, иконна. Это вестник или сама весть от Бога - душе. Красота подлинная существует не рядом с тобой, а проникает внутрь тебя - преображает тебя.

Здесь, может быть, ключевое слово - преображение. Достоевский больше всего думал о

преображении человека (начиная с себя самого). Он видел темные бездны своей души и ненавидел их. В этой ненависти к своей тьме сказалась вся сила его любви к свету. Как ни мучился он сомнениями о возможности преображения мира, о всемогуществе Бога и даже о самом существовании Его, у него, как и у Ивана Карамзина, вопрос не может решиться в отрицательную сторону. Верил он или не верил умом в существование Бога, Достоевский всем сердцем любил Его в образе Христа. Отсюда его знаменитое сгедо: «Если бы так оказалось (предполагая невозможное возможным), что Христос вне истины, а истина вне Христа, я бы предпочел остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Об этом сгедо много писал и говорил Григорий Соломонович. Я не хочу повторяться. Подчеркну только, что любовь здесь выше всего, важнее всего, достовернее всего. И если любовь полна и совершенна, само собой получается, что она не совместима ни с каким злом, ни с каким грехом. И нераздельность любви, красоты и истины становится самоочевидной. Нераздельность этой триады, может быть, и есть основа мира. Но надо досмотреть мир до его основы, до возможности, данной грешнику стать святым. Нужна великая работа созерцания, созерцание как способ жизни. Так именно и живут любимые герои Достоевского - редчайшие в истории мировой литературы герои, живущие в ладу с сутью мира, исполняющие волю Творца, смиренные, а не своевольные. Созерцание красоты для них — труд души, выявляющий смысл жизни.

Созерцание — не наслаждение.

Это слушанье и служенье,

Зов архангельский, звуки рога.

Сердце слушает голос Бога,

Тот, что тише полета мухи.

Это богослуженье в духе

Гармоничней, чем шорох лиственный.

Это — богослуженье в Истине.

Именно при таком созерцании красоту не только видят глазами, но ощущают всем сердцем и провидят Творца этой красоты.

Нельзя сказать, что у Набокова не было таких прозрений, провидений. Они были. Он чувствовал божественность красоты. Мы уже говорили об этом; но умел ли он служить Ей до полной самоотдачи, до той черты, когда красота уже не могла совмещаться с каким бы то ни было грехом? Думаю, что нет. Красота вполне совмещалась у него со всем естественным «ветхим» или животным началом в человеке. «Человеку надо было перемениться физически», - говорил Достоевский в минуту прозрения, чувствуя, что у человека, вмещающего в себя Божественную суть, открываются какие-то небывалые возможности и способности. Начинается работа по преображению - путь от зверя к Богу, — отсечение себялюбия, эгоцентризма, сублимирование желаний. Ничего неестественного в этом нет. Все совершенно естественно. Только наступает другая естественность. Человек, чувствующий гармонию мира, умеющий слушать тишину, бесконечно страдает от шумов. И так же естественно страдает от тишины другой человек, которому надо чем-то заполнять свою пустоту, заполнять чем угодно, только бы не остаться наедине со своей душой.

Для человека, полюбившего Бога, совершенно естественно не мочь ненавидеть, не мочь причинять боль другому. «Полюби Бога и делай, что хочешь», — говорил Августин.

Человек, полюбивший Бога, не может хотеть ничего дурного. Это преображенный человек.

Но работа по преображению - работа трудная. И Набоков вряд ли находил ее нужной. Любовь к красоте, утонченность вкуса вполне сочеталась у него с непреобразенными человеческими потребностями. Это было для него естественным, и то, что Достоевский понимал как труд преображения, казалось ему искусственным и истерически-надрывным. Вот откуда ощущение Достоевского как человека, отгородившегося шторами от дневного света и круглые сутки жгущего настольную лампу. «Да открой шторы и посмотри вокруг», - как бы хочет сказать Набоков Федору Михайловичу.

Но перед взором Достоевского штор не было, просто он сознавал реальность не только дня, но и ночи. Были долгие часы, когда ему действительно надо было уходить от дневного света - часы вглядывания во тьму. Достоевский хорошо знал, что тьма есть. Он понимал, что Раскаяние Мити Карамазова было ощущением своей вины перед всеми страдальцами. Где-то плакало незнакомое ему «дитё», и он, Митя, брал на себя ответственность за эти слезы. «Дитё» плачет, потому что он, Митя, был так грешен. Перед судом, перед людьми он не виновен. Невинность его нельзя доказать, и его посылают на каторгу за чужую вину. Но он все равно чувствует себя виноватым. Он готов принять муку как очищение. И там, в подземелье, гимн Богу запеть. Гимн, восходящий из очищенной страданием, преображенной души.

Ничего подобного с Гумпертом не происходит и в помине. Никакого преображения. Лолита по-прежнему остается вожаделенной, «огнем его чресл». Он естественный человек. У него были несколько патологические наклонности. Ну что ж, это есть в мире. Наблюдатель Набоков пронаблюдал и такое. Ни к чему хорошему это не привело. Но как был сладок этот грех, как ярко и вкусно показал он эту сладость...

По-настоящему очищенному человеку грех не сладок, не нужен. Идеал содомский для него отмирает. Что такое грех в любви, замечательно показал Вл. Соловьев в своей статье «Смысл любви». Грех в любви - тяготение к части человека, не ко всей его душе.

Порабощенность частью есть как бы расчленение человека на части, духовное распятые. Целое тогда не нужно. Целым нельзя владеть. Целому можно только причаститься. Тогда - никакого расчленения. Тогда удвоенная жизнь. Сладострастье отличается от чистой любви, может быть, самой страстной любви, тем, что хочет во что бы то ни стало удовлетворить свое желание; взять, а не дать; съесть, а не причаститься.

Есть другой герой у Достоевского. Самый страшный из его героев - Ставрогин. Он совершает тот же грех, что и Гумперт, - соблазняет девочку, почти ребенка. Хотя все здесь разное. Матрёша и Лолита совершенно не похожи друг на друга. И мотивы греха совершенно разные. В одном случае - страсть, в другом - холодный интеллектуальный эксперимент. Ставрогин совмещает в душе своей два идеала, но без всякой борьбы света с тьмой. Идеал Мадонны и идеал содомский в нем сосуществовали на равных. В отличие от Мити светлый идеал не боролся и не победил в нем содомского начала. Он был ни холоден, ни горяч - ангел церкви Лаодикийской. Он не возненавидел свой грех, не отважился на покаяние и страдание. Но грех, разросшийся чудовищно, тоже перестал доставлять ему удовольствие. Жизнь оказалась совершенно бессмысленной, и он покончил все счета с ней.

Созерцать душу Ставрогина куда страшнее, чем созерцать Гумперта. Это значит воистину пройти через ад, нарисовать этот ад в романе, как его рисуют на задней стене Храма. Без покаяния, полного - до преображения, выхода нет. Вот до чего досмотрелся Достоевский,

вглядываясь во тьму ставрогинской души.

Нет, так всматриваться Набоков не хотел и не считал нужным. Есть у него очень странный и страшный, на мой взгляд, рассказ «Ultima Tule», где ему захотелось написать о мистическом опыте, опыте встречи с сутью жизни. Он поиграл с этой темой и - заигрался. Вот уж где нет речи о несовместимости двух идеалов (Мадонны и содома)! Кто сказал, что только чистые сердцем узрят Бога?! Все это выдумка закрывшегося шторами от дневного света! Потрясший всю человеческую природу мистический опыт переживает в рассказе Набокова человек, только что пришедший из публичного дома, человек земной до кончиков ногтей. Каков этот опыт, мы не узнаем из рассказа. Всё - загадка. Но вот что интересно: оказывается, о том, что потрясло героя до нечеловеческого крика, можно рассказать словами. Герой не делает этого, чтобы не убить слабых людей. Один раз сделал и убил своего врача. Вот, оказывается, как - тайна, которую можно передать словами, как научный секрет какой-нибудь формулы атомной бомбы. Так почему же автор не раскрывает читателю секрета героя? Потому что это не мистика, а мистификация. И тут уже я чувствую того самого Набокова, который написал рассказ «Картофельный эльф». Герой этого рассказа - фокусник столь искусный, что жена не может отличить, когда у него предсмертные судороги, а когда он имитирует их. Величайшее мастерство! Таким мастерством слова в совершенстве овладел Набоков. Гроссмейстер, гений слова, такой же, каким для шахмат был его Лужин (из романа «Защита Лужина»), И подобно Лужину, он защищается своим мастерством от жизни, от божественной задачи преображения души - от раскрытия ее божественной тайны, ее космической цельности.

Это самая трудная задача. И уклонение от нее - очень частое явление. Человеку легче заполнять свою жизнь каким бы то ни было частным делом, а не целым Богом. Довести свое дело до совершенного мастерства много легче, чем вместить в свою душу бесконечность и понять, что в Бесконечности параллельные сходятся. Добро, Красота и Истина там превращаются в одно.

Это и есть та неслыханная простота, о которой говорит Пастернак, понимая, что «она всего нужнее людям, но сложное понятней им». Сложное, т. е. множество отдельных. Отдельно красота, отдельно добро, отдельно истина. Когда они становятся одним целым, в душе пробуждается Бог. С порывом к этому мы рождаемся. Но от порыва до воплощения — дорога величиной в жизнь, может быть, в вечную жизнь.

Мне довелось увидеть на телеэкране портрет молодого Набокова, и я была поражена этим лицом. Трепетным, светящимся, еще не обладающим никакой истиной, но всем собой тянущимся к ней. И я потянулась к нему с такой любовью... Так захотелось поверить, что это и есть настоящий Набоков. Автор «Дара», «Благости», «Озеро, облако, башня» и должен быть таким.

Нет, бытие — не зыбкая загадка.

Подлунный дол и ясен и росист.

Мы — гусеницы ангелов и сладко

Въедаться с краю в нежный лист.

«Мы — гусеницы ангелов». Это написал Набоков. Значит чувствовал, что мы еще не совершили, что нас ждет преображение. Но что для этого надо? Только въедаться с краю в нежный лист, чувствуя его сладость? И все произойдет само собой? Царствие Божие вовсе не усилием берется? И не надо ни кровавого пота, ни того незабвенного,

пронзившего сердце крика на кресте?..
Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни.
И чем жадней твой ход зеленый был,
Тем бархатистой и великолепней
Хвосты освобождённых крыл.

Итак, естественная эволюция или та единственная духовная революция, о которой говорят все без исключения мистики, - рождение Бога в душе, которое, как всякое рождение, не обходится без родовых мук? И если все так естественно прекрасно, почему же трепетное и жаждущее света лицо юного Набокова превратилось в самоуспокоенное, несколько безразличное лицо человека, владеющего последней истиной и судящего всех и вся?

Гений и злодейство

Глава 1 СИМВОЛ ВЕРЫ

«Он же гений как ты да я, а гений и злодейство — две вещи несовместные.

- Ты думаешь?..» (А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»)

Не обязательно быть Сальери, чтобы усомниться в этом. Достаточно не быть Моцартом, для которого это очевидно.

Как это может быть очевидным? Очевидно совсем другое: на чью только голову ни садится талант! Талант, гений нравственно безразличны, примерно, как цвет глаз и волос. Наверно каждым очам видно свое. И нет одной для всех очевидности... Через несколько десятилетий на страницах романа Достоевского встретятся еще две пары глаз. Это Христос и Великий инквизитор.

Одному будет очевидно, что человек создан по образу и подобию Божию, что человек может и должен быть безгрешным. Другому будет совершенно очевидно, что это вредный вздор, что человек — слабодушное грешное существо и иным быть не может.

Инквизитору так очевидна вредность Христа, что он считает себя обязанным сжечь его на костре. Только вот почему-то, по странной нелогичности, взял да и отпустил. А Христос молча поцеловал его. За его муку, за насилие над собой. Потому что в самой глубине души инквизитора - тот же молчащий Христос. И инквизитор не может решиться на самоубийственный акт. Душа еще жива в нем... А Сальери решается. Но как бы там ни было, а этот диалог двух разновидящих, диалог с братом-врагом, диалог с безмолвием, в конечном итоге — диалог рассудка с душою, с собственной глубиной своей, с Богом — начался в русской литературе с маленькой (и грандиозной) трагедии Пушкина. И, может быть, длится он и по сей день. Ответа на вопрос Сальери во внешнем, обозримом пространстве нет. Он внутри. Моцарт отвечает на него своим бытием, своим взлетом в небо, которые с низостью несовместимы.

Пушкинский Моцарт, как и сам Пушкин, знает, что гений - носитель божественного огня. Высокое вдохновение божественно, получено прямо от Бога. Гениальность, вдохновение есть как бы сопричастность божеству. И потому утверждать совместимость гения и злодейства — все равно, что утверждать совместимость Бога и греха! «Гений и злодейство — две вещи несовместные» — есть символ веры. Пушкин исповедует эту веру. Он пророк этой веры. Ему было откровение. У него была встреча с шестикрылым серафимом. Было

созерцание великой божественной высоты. И это в Пушкине главное. Веянье Духа, сверкание горных вершин, рокот морских валов, призывавших душу к безмерности и гармоническому строю, — вот что любил Пушкин более всего. И любовь эта была ревнива (Бог ревнив). Она не допускала совмещений идеала Мадонны с идеалом содомским. Шестикрылый серафим требовал себе всего человека, всю душу. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли» («Пророк»),

Но восстал ли? Или восставал и падал? Исполнился высшей волей? Или то исполнялся, то снова своевольничал? Или исполнялся лишь на Парнасе, а на нашей земле грешил, как все прочие, и даже среди детей ничтожных мира был всех ничтожней?

Именно так это и было, по собственному его признанию.

Среди пушкинистов есть такие, которые придают этому признанию весьма малое значение. Мучительных противоречий в душе Пушкина они не видят. Пушкин для них един, гармоничен и прекрасен.

Другие, напротив, считают разрыв между человеком и Поэтом, человеком и Гением нормой и образцом. Только так и может, и должно быть. Гению, мол, всё простительно. Ему нужна как бы разрядка после напряжения.

Но для тех и других символ веры Пушкина отодвигается куда-то на периферию, становится чем-то мало значимым. У первых Пушкин уже достиг всего и поэтому больше ему двигаться некуда. У других - в Пушкине две совершенно отдельные природы: и огромная высота, и совершенная низменность. Но опять никакого движения.

Я не думаю, что Пушкин всего достиг. Я думаю, что в нем совмещалось и высокое, и не слишком высокое. Но он любил высоту и его низшее начало не было в нем неизменным. Я думаю, что главным в Пушкине было движение, внутреннее восхождение души к вершинам, сверкнувшим ему в откровениях. В замечательной книге В. Непомнящего «Поэт и судьба» есть такое место: «После плоской, "метафизической горизонтали" вольтерьянства Кавказ... дал ему объем: своей природой, "дикими" нравами, бурлящей жизнью, идущей по иным нормам. Кавказ дал ему вертикаль - главным образом физическую (особенно в молодости). И он на деле убедился в том, что существует Высота. После этого он снова оказался в горизонтальном мире - но это была лишь в физическом смысле горизонталь России, ширь, воля. И он, пришедший туда уже новым, другим, вдруг открыл здесь - увидел - тоже высоту, но уже не физическую.

После этого появился шестикрылый серафим».

Видение высоты, сверкание Зевсовых молний в небе - было у многих поэтов. Однако подлинность встречи с божеством узнается по плодам - по тем следам, которые остались в душе (и на бумаге). В душе Пушкина была проведена черта, подобная Кавказскому хребту. В грудь его был вложен «божественный уголь». И потому-то он знал, различал ясно, словно горные линии на безоблачном небе, что «гений и злодейство - две вещи несовместные». Высота пересекла Пушкина и стала действовать в нем - пересоздавать его. В Пушкине, а от него и во всей русской литературе началось движение ввысь и вглубь - к преображению. В этом-то и была святость русской литературы. И она не совпадает просто с совестью, так же как поэзия не совпадает с нравственностью (ни в коем случае, однако, не разрывая с ней). Некоторые литературоведы выпрямляют тайные ходы поэзии и измеряют ее внешним ей моральным мерилom, видят святость, витающей над поэзией, а не ее внутренним законом, до времени не проявленным.

Тот же В.Непомнящий, анализируя стихотворение «Поэт», подчеркивает, что где-то внутри горделивой самооценки поэта есть некий «червячок» глубокого недовольства

собой. Тому свидетельство - «малодушно погружен», «хладный сон», «и среди детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он»... Червячок нечистой совести. И вот - предполагает Непомнящий - именно от этого «червячка» и «бежит он, дикий и суровый» «на берега пустынных волн»...

А если бы совесть была чиста, не побежал, не полетел бы, не взлетел бы на крыльях туда, на великую, абсолютную высоту? Думаю, что этот взлет в иной план бытия - и есть беспричинное, сверхразумное Таинство творчества, равное Таинству самой жизни.

Пушкин хорошо сознавал это, когда говорил свое «поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совершенно другое дело...» («Заметки на полях статьи П.А. Вяземского "О жизни и сочинениях В. Озерова"», 1836 г.)

Истинная поэзия, вдохновленная Богом, заставляющая трепетать всю душу, - благодатна. И как благодать выше закона, так истинная поэзия выше нравственности, ибо в ней проявляется свободное действие Духа - Божественное дыхание. К поэзии не применимы внешние нравственные мерки, но она внутренне религиозна. Пушкин чувствует это, и отсюда аксиоматическая формула его изречения о несовместимости гения и злодейства. Истинной поэзии так же изнутри присуща религиозность, как истинной религии — поэтичность.

Религия неотделима от искусства, искусство - от религии. Религия без искусства суха и мертва, обращена не к душе, а к рассудку. Искусство без религии теряет измерение высоты и глубины, мелеет и в конце концов вырождается.

Пушкин, в высшей степени причастный божеству и вдохновенью, стихийно, органически религиозен, хотя религиозность его не неизменна. Она колеблется, испытывает кризисы, проходит разные стадии. Она развивается.

Прежде всего Пушкин чувствует божественность гения и видит, что измена гения божественному, безгреховному началу есть измена своему истоку, своему глубинному «я». Гений, ставший злодеем, перестает быть самим собой.

Глава 2 СТИХИЯ И ДУХ

Пушкин видит некую скрытую от глаз черту, некий духовный закон. Но именно видит, провидит внутри, в глубине вещей, а не навязывает извне. Меньше всего Пушкин навязывает что-либо живой жизни, меньше всего судит. Отделить черное от белого, разделить единую Жизнь на Добро и Зло - дело самое трудное, посильное, может быть, одному Богу. Пушкин ничего не определяет. Он дает расти и самоопределяться всему живому.

Он певец стихии. Кто любил и воспел стихию больше, чем он?

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
(«К морю»)

Что это за краса? Добрая? Злая? Она живая. И он доверяет ей.
Стихия в очевидном обозримом пространстве нравственно безразлична. Это

«равнодушная природа», которая не дрогнет от наших стонов и слез, которая не имеет ни ушей, ни глаз, ни сердца. Она может быть ужасной разрушительной силой. Так почему же ей надо доверять?

Потому что она же и созидательная сила. Потому что она не только перед нами, но и внутри нас. Не только очевидность, но и не видимый очам Дух. Перед нами бушует буря. А внутри нас звучит некий голос из бури — весть о высшем смысле жизни.

Так как же понять, хороша или плоха буря, добра или зла стихия? Понять, рассудить мы никак не можем. Стихия больше нашего рассудка. И в ней нераздельно сплелись добро и зло. Доброе или злое море, несущее корабли и топящее корабли, губящее людей и поящее духом жизни? Мы захлебываемся от счастья перед грандиозным зрелищем грозы, но можем ведь и насмерть захлебнуться в потоках дождя, сгореть от молнии.

И вот перед нами человек —

...Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,

Он весь, как Божия гроза.

(«Полтава»)

Это - Петр Первый. Когда мы хотим во что бы то ни стало определить Божью грозу, отнести ее по тому или иному человеческому ведомству, мы рискуем уподобиться Сальери, вычислившему за Бога, где правда, где ложь, и за Бога совершившему свой «правый» суд.

Петр в «Полтаве», Петр в «Медном Всаднике» и ужасен, и прекрасен одновременно, как ужасна и прекрасна песня Вальсингама («Пир во время чумы»), В ней рокошет бездна. Но ведь в этой бездне, в этой пустыне мрачной, по которой влачил Пушкин, томимый духовной жаждой, сверкнули ему крыла серафима. И разве встреча с серафимом не ужасна по-своему? Сколько бы людей бросилось бежать от пылающего вестника, который вырывает язык и кровавой десницей вкладывает в уста другой, рассекает грудь мечом и оставляет человека трупом лежать в пустыне.

Встреча с божеством страшна. Сказал Господь: «...человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исход, 33:20). В нем умрет то, что смертно. И пробудится к новой жизни его бессмертная суть «Восстань, пророк, и виждь, и внемли!»

Шестое чувство - чувство крыльев духовных, чувство бессмертия живущее внутри смертного человека. Оно таинственно и неопределенно. Надо решиться на эту неведомость, надо шагнуть в бездну, поверив шестому чувству больше, чем всем остальным, испытанным пяти

Человек смертен, - говорят пять надежных и вполне определенных чувств.

Человек бессмертен, - поет шестое, совершенно неопределенное совершенно ненадежное, ничем извне не подтвержденное. Тот, кто поверит этому шестому, этому внутреннейшему, бросается в бездну, идет навстречу смерти - и, может быть, навстречу бессмертию.

Ощущение бессмертия может прийти только после смерти всего смертного Бессмертен феникс, восстающий из пепла. Но сперва - огонь смерть И это всерьез. Можно и не восстать из пепла, не выплыть, можно не преобразиться, а захлебнуться, потонуть в стихии - сгинуть

Отчего это зависит? От собственного Духа. Стихия бесконечно больше нашего рассудка.

Но не нашего Духа, который один и тот же и в стихии, и в нас. Тот самый голос из бури, который слышен только внутренним слухом, звучит только внутри.

Стихия есть момент жизни и становления духа, момент его бесформенного, незавершенного существования. В ритме стихий прослеживается путь Духа. Прекрасно пройти вместе с Духом сквозь стихию. Ужасно застрять в стихии, покориться ее инерции и стать камнем на пути Духа.

Собственно стихия есть материал, глина. Ваятель - Дух Схватка Духа со стихией - это схватка Творца с непокорным Ему материалом.

Это и есть творчество. Избегать такой схватки значит избегать творчества. Истинный Творец знает, что творческая схватка священна Но он именно схватывается со стихией, скрещивается, соединяется - и возникает нечто новое, третье - воплотившийся Дух.

Одухотворенная плоть. Творчество и есть воплощение Духа и одухотворение стихии.

Творчество часто начинается с перекроя, разрушения отживших форм. Но не дай Бог допустить до разрушения Духа, до разрушения живых форм, в которых Дух дышит. Не дай Бог быть захваченным инерцией разрушения.

«Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Матфей, 8:22), - то есть за вечно живым, отряхнув прах; но «не убий». Не разрушь живое!

Можно идти или стоять, в зависимости от того, движется или утверждается сейчас, в этот миг Дух живой. Дух может жить и в буре, и в тишине. Дух - в буре, когда она разрушает отжившее; Дух - против бури, когда она разрушает живое. Словом, покой или движение сами по себе ничего не значат. Важно быть в покое или в движении вместе с Духом, а не в инерции покоя или в инерции движения без Духа, против Духа.

Встреча с серафимом - высший миг творчества. Меч серафима - духовный меч, отсекающий все брэнное, все инерционное. Меч, отделяющий внутреннее - вечное - от внешнего, брэнного. Покорность этому мечу есть покорность глины Духу. Наш собственный Дух должен пойти навстречу Духу Божьему, против непокорной, слежавшейся, инерционной глины. Творящий Дух по сути ближе нам, чем мы сами себе, - чем наша собственная стихия, наши страсти. Дух этот больше «Я», чем я сам. Истинный ваятель сотрудничает с творящим Духом и дает Ему месить и лепить себя - глину. Но глина может не даваться в руки. Схватка может кончиться победой материала над ваятелем. Тогда гибель. В лучшем случае - физическая. В худшем - духовная.

Гибель духовная наступает тогда, когда Дух захлебывается в инерции разрушения; или тогда, когда он упорствует в инерции сотворенной формы против творящего Духа. Когда он не дает Творцу разрушить свое затвердевшее тварное «я». Вечность отдельности, ограниченности - это абсурд, стремление к нему - противостояние началу, сотворившему тебя. Вечен только Творец. Тварь, желающая быть вечной без преображения, без причастия Творцу, становится демонической.

Сильная тварь как бы выхватывает меч у серафима и присваивает его - вместо того, чтобы подставить ему грудь, дать ему отсечь все брэнное в себе самой. Меч выхватывается и направляется не в себя, а на других, не внутрь, а вовне - на весь мир. Тварь победила. Она стала обладателем меча вместо того, чтобы дать Духу обладать собой, пересоздать себя. Такой победитель обретает огромную силу. Он становится властелином - князем мира сего. Но он уже не причастен Творцу, не причастен Любви. Он противостоит Ей. Демон. Сила души Байрона была огромна. Ее пламя было никак не меньше, чем пламя пушкинской души. Но... то ли он не встретился, со своим шестикрылым серафимом, то ли не захотел подставить ему; собственную грудь, предпочитая тягаться, бороться с ним -

сила на силу. В такой борьбе силы истощаются, вычитаются одна из другой. В пушкинском случае - складываются.

И все же именно эта сила, эта безмерность так захватила Пушкина в Байроне, да и в Наполеоне тоже. Сегодня мы вынесли наши, приговоры, оценили того и другого, определили, измерили с высоты I веков (точно бы это наша собственная высота). Но тогда видна была только стихийная сила, взывавшая к Духу, вызывавшая Его. Пушкин I чувствовал величие этой силы и упивался ею.

Шуми, взволнуйся непогодой.
Он был, о море, твой певец!
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим!
Как ты, могуч, глубок и мрачен.
Как ты, ничем не укротим.
(«К морю»)

Не надо хвататься за эпитет «мрачен» и сразу разграничивать мрак и свет, черное и белое. Он был могуч и глубок - а это выше всех делений, это - поэзия, которая «выше нравственности или, по крайней мере, совершенно другое дело...».

Куда будет направлена эта мощь - об этом речь впереди. И это уже совершенно другое дело. (Однако, дело великой важности...)

Пушкин любит тех, кто доверился творческой Силе, кто не испугался смерти и предпочитает, как орел в калмыцкой сказке, тридцать лет питаться живой кровью, чем триста - падалью. Падаль - это (вданном контексте) пища, пережеванная другими, полученная из чужих ртов. Такая каша не питает дух. Истинную пищу, от которой расправляются орлиные крылья, добывают не так.

Ее добывают с риском для жизни и даже, может быть, с риском для души. В битве со стихией. В духовной битве, исход которой неведом. Бросок в Неведомое - вот что лежит в истоке всякого творчества. Как семя бросается в землю, поглощающую его. Исчезновение. Смерть. «Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоанн, 12:24).

Если умрет, начнет прорастать нечто новое, иное. Начинается рост. Нравственная неопределенность души означает только, что она еще не выросла. Дерево души растет, и поэт прислушивается к его росту, не позволяет вмешиваться в божественный процесс своему человеческому рассудку. Нравственность застывшая, всем ведомая, измеренная нравственность, не помогающая расти душе, - мертвая вода. «Подите прочь - какое дело поэту мирному до вас!», «на вес кумир ты ценишь Бельведерский; Ты пользы, пользы в нем не зришь» («Поэт и толпа»). Нравственность - польза, которую может взвесить и измерить рассудок. Это камень, преграждающий источники жизни. А Поэзия и есть такой источник. Из которого даже демон готов напиться:

Прости, - он рек, - тебя я видел,
И ты недаром мне сиял.
Не все я в небе ненавидел,
Не все я в мире презирал.
(«Ангел»)

Вот он, луч в бездне, надежда на спасение в живом явлении красоты. «Красота мир спасет», - скажет потом Достоевский, - как бы доглядев до конца мысль обожаемого им Пушкина.

Демон, полюбивший ангела, уже не совсем демон. Он не стал ангелом, но что-то в нем произошло, и, может быть, это шаг к преображению. Так, с великим мучением, рождается к новой жизни человек. Рождается через поэзию. Он становится поэтичным, т. е. не глухим к божественному, не слепым к прекрасному.

Поэзия есть отклик, ответ Богу. И там, где одна нравственность бессильна, поэзия может быть оплодотворяющей силой. Поэтому поэзия священна даже тогда, когда она нравственно не определена, даже если в ней свились вместе добро и зло, как в живом дереве, обвитом змеем, как в демоне, полюбившем ангела. Искра любви, запавшая в него, - священна. Прорастая в злой почве, она может разрушить зло изнутри него самого. Зернышко света во тьме может разрастись и рассеять тьму...

Мрачные, стихийные герои Пушкина чаще всего именно такой клубок добра и зла, света и тьмы. Поле боя Бога и дьявола, а точнее, Духа и стихии; дьявольской становится только стихия, победившая дух. А здесь этого нет; здесь стихия еще в борьбе с духом: не победила, но и не побеждена. И поэтому не осуждайте, не вырывайте с корнем душу: она еще живая. В ней действует сила Божья.

Пушкин хорошо знает о страшных чертах характера Петра. И о Наполеоне знает. И уж, конечно, о Пугачеве. Но он поэтизирует и Пугачева, и Петра, поэтизирует Наполеона, даже зная, что говорит, может быть, неправду. «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман... Оставь герою сердце! Что же он будет без него? Тиран!..» («Герой») Тиран. Это сила, потерявшая благословение поэзии. Сила без сердца. Сила, глухая к божеству. Это смерть.

Сила сама по себе греха не имеет. Это энергия. Ее надо уметь направить, как энергию всякой стихии - воды, пара, огня. А для этого надо прежде всего уметь вынести ее напор. То есть взять ее внутрь.

В руках Любви эта сила становится божественной, в руках себялюбия — демонической. Но прежде всего надо иметь силу. Миг обретения силы - великий, захватывающий миг в жизни души. Может быть, священный миг. Ибо сила - Божья. Только если вырвешь ее у Бога, присвоишь, она станет демонической. Да охранит от этого душу красота и любовь! (См. статью А.С. Пушкина «Мнение о духе словесности как иностранной, так и отечественной».)

Тот, кто присвоит силу, обрывает связь с ее источником и, в конечном итоге, иссыкает. Но пока человек сильный не замкнут на себе, пока он открыт красоте и добру, хоть на какой-то миг, хоть отчасти, он не безнадежен. Душа его крупна. И если он повернется к добру, это будет великое добро. Если у героя есть сердце, он будет так же ошеломительно, чарующе великодушен, как и могуч.

Сила, бесстрашие, величие - чаруют. Чтобы разрушить чары, надо развенчать героя, лишить его величия. Умалить. Он должен стать мелким в наших глазах.

Развенчивая Мазепу, Пушкин делает его мельче его злодеяний. Бессердечный себялюбец захлебнулся в собственном зле.

Петр, напротив, вырастает на глазах, как зарево на небе. Он не просто крупен. Он велик. Умалить его не так-то легко. Прежде надо дорасти до него, перерасти эту гигантскую фигуру.

В последующих произведениях Пушкин еще подойдет и к этой задаче. Но чем более велик Петр, тем труднее задача, и Пушкин никогда не облегчает себе ее, приуменьшая Петра, произвольно лишая его всякого величия, как Толстой Наполеона.

Пушкин видит величие и в Пугачеве. Пусть одного Петрушу Гринева полюбил этот мрачный человек. Но как великодушен, благодарен и бескорыстен он в этой любви! Способность разглядеть чистую душу и так щедро отблагодарить ее — великая способность.

Пугачев — мятеж, буря, взвихренный в ответ мировому злу и крушащий на своем пути все злое, а заодно и доброе. Пушкин ужасается и любит силу его души. И, кажется, всегда будет жалеть об этой загубленной, загубившей себя душе, в которой было столько жизни, столько бесценного огня...

Пугачев — один из тех падших, к которому Пушкин милость призывал. Если бы этот грешник раскаялся, сколько бы радости было на небесах!.. И мы жалеем Пугачева, убитого капитана и капитаншу Мироновых, да только ли их? Мы жалеем этого разбойника, может быть, — как того, на кресте, который пожалел Христа, хотя кто знает, сколько душ загубил он перед этим... А вот Швабрина мы не жалеем. В этой душе — ни одного живого места, никакой поэзии: ни силы, ни бескорыстной любви. Швабрин пуст. И сердце наше так же глухо к нему, как и сердце Маши. Тут и рассуждать нечего.

Правда, рассуждать и о Пугачеве нечего. Что тут скажет рассудок? Вот песня — это другое дело! О Швабрине петь нельзя. А о Пугачеве можно. Стихийная сила вдохновляет на песню. И Пушкин поет. Поет о Пугачеве. Хотя и говорит устами Гринева: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Поет творенье Петра, хотя сердце его сжимается за Евгения. Поет о том, что чарует.

Крупный человек, величественная стихия — чаруют. Он их любит, даже если бьется с ними. И в любви, и в битве нужна песня. И Пушкин поет. Как Вальсингам во время чумы. Во время смертельной опасности, глаз на глаз с разбушевавшейся стихией запеть — дело великое. Кто знает, может быть, самое достойное человека. В стихотворении Гумилева «Звездный ужас» смертельный страх, от которого погибали один за другим взрослые, победила девочка: глядя прямо в глаза бездне, она запела. Страх ушел. И бездна больше не убивала.

Поэзия дает душе крылья и силу. И поэтому в «Пире во время чумы» на поле битвы с Чумой выходит Поэт.

Один святой на вопрос, кто научил его постоянной молитве, ответил: дьявол. Дьявол не оставлял его. Был рядом. И заставил святого быть постоянно начеку, постоянно молиться. Вызов научил душу собранности, вниманию, непрерывной устремленности ввысь и внутрь — к Богу.

Чума, гроза — стихии — делают то же самое.

Но... Дьявол научил святого молиться Богу (а не себе, дьяволу)! Дьявол научил святого бесстрашию — и только. Нельзя прийти к Богу, боясь дьявола. Тот, кто пугается дьявола, не вступает с ним в битву, — не лучший слуга Богу. Но тот, кто вступает в битву, делает лишь первый шаг в глубину. Сам по себе этот шаг еще ничего не решает. Человек может и победить дьявола, и быть побежденным им.

Здесь проходит великая по своему значению и тончайшая черта. Знание, внутреннее ощущение этой черты — гениальная духовная чуткость Пушкина, тайная гиря, возвращающая душе потерянное равновесие. Может быть, здесь основа пушкинской гармонии.

От песни Вальсингама, в которой содержится ответ души на вызов смерти, от песни, в которой жжется предошущение бессмертия, от песни этой до полного хаоса, до служения стихии, до победы смерти - один шаг. И, вместе с тем, песня эта есть выход, призыв к внутренней силе, не позволяющей этот шаг сделать.

В песне - полет души, разворачивание духовных крыльев, обретенное бесстрашие. Но... перед кем бесстрашие - перед дьяволом или перед Богом? Бесстрашие перед дьяволом дает душе взлететь в вечную жизнь; бесстрашие перед Богом - упасть в вечную смерть. Бесстрашие перед дьяволом есть противостояние стихии, которое невозможно без роста души. Бесстрашие перед Богом есть опьянение стихией, полное подчинение ей. В обоих случаях - чувство полета, но в первом - это взлет, парение, во втором — инерционное кружение на одном месте, адский круг. В первом случае - возжигание духа, во втором - угашение его. «Низшим - оторопь я и одурь, высшим - заповеди язык», - говорит Вахх у Марины Цветаевой в трагедии «Ариадна».

Задача Поэта - послать вызов дьяволу, удержаться на взлете и не попасть в адский круговорот, не утратить святую внутреннюю, не закружиться в дьявольском вихре. Нет Поэта в человеке, испугавшемся дьявола, но нет Поэта и в человеке, до конца завлеченном дьяволом. И тот и другой утрачивают чары, утрачивают зачаровывающую красоту.

Красота может быть божественной и демонической. Одна вечна и неисчерпаема, другая временна, иссякает, исчерпывается и обнажает безобразие. И тогда человек перестает быть поэтичным, тускнеет; линяет, как Дон Гуан, испугавшийся Командора.

Испугавшийся Дон Гуан - уже не Поэт. Он давно потерял страх Божий - тот священный трепет, который является признаком истинной жизни души, как дыхание - признак жизни тела. Но до поры до времени в нем было свое демоническое бесстрашие, и оно было поэтичным. Когда утративший трепет перед Богом затрепетал перед дьяволом - поэт совсем кончился.

Вальсингам - поэт. «Пир во время чумы» - выход из смерти в поэзию. А Поэзия не может не пройти через духовное борение. Пушкин призывает нас на поле духовной битвы. Тот, кто в этот миг стыдит Поэта, - уподобляется одному из друзей Иова. И Бог будет не с ним, а с Иовом. Голос из бури расслышит Иов.

Поэт и есть такой Иов, к которому обращен голос из бури. Его призвание - расслышать этот голос, а не избегать бури!

Песня истинного Поэта — не просто вакхическая песня, не просто разгул стихий, не вызов Богу. Такую песню Вальсингам петь отказывается.

...Послушай,

Ты, Вальсингам: для пресечения споров
И следствий женских обмороков, спой
Нам песню - вольную, живую песню, —
Не грустию шотландской вдохновенну,
А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею кипящей

Председатель:

Такой не знаю — но спою вам гимн
Я в честь чумы...

Беспечная вакхическая песня, песнь забвения, здесь слишком мелка. Поэт берет глубже и выше. Гимн Чуме есть заклятие Чумы, есть вызов Духа, способного сразиться с Чумой, есть высекание огня из Души, бросок в огненную стихию и испытание на огнеупорность. Воля человека здесь подобна мифической Фетиде, окунающей Ахиллеса в Стикс.

Итак, - хвала тебе, Чума!

Нам не страшна могилы тьма...

Это величественные слова, они выводят из оцепенения, из страха... но они не охраняют от возможности «очуметь», утратить заодно и страх Божий, утратить святыню - и потерять душу. Вальсингам, заклинающий Чуму, уподобился языческому божеству, повелевавшему ветрами. Он не дал одолеть себя. Но... где-то выше ветров есть тишь, непобедимая и вечная. «И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» (3 Царств, 19:11-12). То, что ни с кем и ни с чем не меряется силами, что просто есть как свет, как основа нашего бытия. Святыня.

Только святыня, святая сила любви может охранить его. Человек, оскорбивший святыню свою, — лист, оторванный от живого дерева. Богобоязненная Мери, хрупкая и нежная, оказывается куда крепче перед лицом смерти, чем Луиза, на словах не боящаяся ни Бога, ни черта. В гимне Чуме противоборство стихии может перейти в захваченность стихией, в инерцию гибели, но стоит священнику сказать: «Матильды чистый дух тебя зовет!» - как Вальсингам опрокинут:

О, если б от очей ее бессмертных

Скрыть это зрелище!.. ...

...Святое чадо света! вижу

Тебя я там, куда мой падший дух

Не достигнет уже...»

Но видит, видит, но любит и потому остается после ухода священника в глубокой задумчивости.

И здесь, в паузе — некая пересекающаяся с хаосом линия, полагающая ему предел.

Глава 3

«В ГЛУБОКОЙ ЗАДУМЧИВОСТИ»

Задумчивость Вальсингама сродни великой концовке «Бориса Годунова» - «Народ безмолвствует». Безгласие, безмолвие народа было гласом Божиим. Это безмолвие было явлением Бога в человеческом мире. Оно пересекало дурную бесконечность причин и следствий, - если не в истории, то в душе человеческой.

Казалось, свершилось то, чего народ хотел. Свершилось правосудие над убийцей. Но... была перейдена черта, за которой правосудие становилось новым убийством.

Человеческому рассудку разобраться во всем этом не так-то просто. Но если невидимая гиря, если глубинная чуткость существует, - душа жива и ее реакция будет совершенно

неожиданной и как бы перечеркивающей всю логику событий.

«Народ безмолвствует...». Это гениальный ответ пушкинской души на разгулявшуюся, перешедшую через предел стихию. И кто знает, что стало бы с многострадальной землей нашей, если бы история так же блюла заветную черту, как Пушкин...

А Пушкин видел и показывал нам эту черту. И потому великий певец стихии не стал ее рабом. У него был свой господин. И чем дальше, тем больше Пушкин узнавал и любил своего внутреннего господина. Демоническим Пушкин не становится никогда. Стихийное начало - это то, из чего Пушкин вырос, а не то, к чему шел. Демон мучил его, но в душе его было некое предрешенье, как у Ивана Карамазова. Вопрос не мог решиться в отрицательную сторону. У Байрона, может быть, мог. А у Пушкина - нет. И именно потому, что Пушкин внезапно останавливался в глубокой задумчивости..! Перед чем-то совершенно новым, перед вопросом неразрешимым для рассудка и незаглушаемым даже песней.

Безмолвие. Глубокая задумчивость.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

Так начинается «Медный Всадник»: с задумчивости Петра. А кончается он открытым вопросом, глубокой задумчивостью самого Пушкина. И мы сами, закрывая книгу, остаемся в полном недоумении. На чьей стороне нам быть? Великолепного Петра или бедного Евгения?

Люблю тебя, Петра творенье!
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение...

Но стоит ли эта великолепная и многими памятниками украшенная столица слезинки ребенка? Стоит ли она загубленной жизни Евгения - бедного, незаметного, но ни в чем не повинного человека?

Мне чудится, что начало этого великого вопроса Достоевского — здесь, в пушкинской поэме.

У Достоевского есть уже ответ: нет, не стоит.

У Пушкина ответа нет. Петр не развенчан, не умален. Он по-прежнему величествен и прекрасен. Пушкин всегда звал человека к величию, хотел видеть его окрыленным. Но сейчас, здесь, он» затосковал о более душевном, более человеческом величии...

Он предчувствует новый образ Величия. Величие этого мира – не очень человечно; а то, что человечно, - редко дорастает до величия.!

Поэма о Тазите осталась незаконченной. Поэма «Медный Всадник» - законченный шедевр Пушкина. Но и та, и другая поэмы - тоска о новом идеале и ощущение незавершенности, недостаточности идеала прежнего.

Черкесы, среди которых живет Тазит, - не христиане. Россия - христианское государство. Как и все страны Европы. И однако, вся европейская цивилизация (и Россия как часть ее) от воплощения истинно христианского идеала бесконечно далека...

Христианский идеал... Божественное величие, предельное могущество, которое скорее даст распять себя, чем причинить боль хотя бы одному из малых сих; чем применить

насилие даже над мыслью других людей; величие, которое никого и никогда не подавляет, но всех зовет причаститься Себе...

Нет, ни Запад, ни Россия такого идеала не воплотили. Христианизированные народы гораздо ближе к доблестному черкесу, не щадящему ни своей, ни чужой жизни, чем к Тому, Велящему любить врагов своих и подставлять левую щеку, если ударят по правой... А сам Пушкин? И сам Пушкин тоже. Но он затосковал по Христу.. И эта святая тоска чревата великими плодами...

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему...
(«Жил на свете рыцарь бедный...»)

Рыцарь так и умер в тоске по идеалу, далекому, только ему одному представшему в видении...

С той поры - все остальное ему мало, все не то... Идеала здесь, на Земле, нет. Но есть уже знание, что-то, что здесь есть, - не идеал.

Петр _ прекраснейший из царей земных. Но этот «кумир на бронзовом коне» - не высшее, не идеал. И бесконечно страдающий маленький беззащитный человек подымает на него кулак:

Добро, строитель чудотворный!

.....

Ужо тебе...

На этом, правда, бунт окончился. Бедный человек растоптан Медным истуканом. Он побежден своим страхом перед ним.

...У порога

Нашли безумца моего.

И тут же хладный труп его

Похоронили ради Бога...

И все? Нет, не все. Вскоре родятся от него в русской литературе все эти «бедные люди», «униженные и оскорбленные», юродивые, хромоножки, идиоты... И они затмят, заслонят собой бронзового великана. Он станет маленьким рядом с ними. А великими - они, те, кто не испугались медного топота, кто не слышит этого тяжело-звонкого скаканья, потому что души их заморожены другими звуками и глаза ослеплены не медным сияньем — красотой Иного Царя... Мудрость мира сего окажется безумием перед Господом... Жалкая юродивая уничтожит презрением своим всеобщего кумира, — не обольстится им и не испугается его. «Я князя моего жена, не боюсь твоего ножа», - скажет Хромоножка Ставрогину. Может быть, ум ее помешался, почти как у бедного Евгения. Однако это только тот,

второй, внешний ум (не «главный ум», как скажет Аглая). Главный ум — внутренний человек - в ней цел и невредим и воскресает, когда внешний растоптан и почти убит. Внутренний человек в любимых героях Достоевского высвобождается из-под давления внешнего и светится сквозь истонченную плоть.

Внутреннее сияние, еле видимый нимб святости появляется вокруг убогих. Крепнет не внешняя, а внутренняя сила, беззащитные, слабые обретают внутреннюю твердь. И в романе «Идиот» самый беззащитный (и не желающий защищаться) одаривает всех жизнью и счастьем. Только в нем есть душевная полнота и свет. Этот щедушный, бесконечно уязвимый по плоти человек духовно неуязвим. И хотя он также сходит с ума, как Евгений в финале поэмы, духовно он остается светом. Новый образ внутреннего величия дан. Физически растоптанный, распятый — бессмертен в Духе... Сама слабость, сама беззащитность становится у Достоевского священной и оскорбление ее - кощунством. Мир доходит до последней степени надругательства, над беззащитной святыней. Но вдруг обнажается внутреннее пространство и становится видным тайный предел внешнего могущества! Кулак Евгения, поднятый на бронзового кумира, не забылся. В мире; Достоевского поднялся другой — маленький, детский кулачок... И одним своим движением лишил силы жизни гиганта воли и ума. Это кулачок Матрешки перед лицом Ставрогина. От этого кулачка Ставрогин рассыпается на глазах, как живой труп.

Становится ясным, что все эти бронзовые и небронзовые кумиры, все «человекобоги» останутся, как зарвавшаяся старуха, у разбитого корыта. Как бы ни был велик тот, кто отделился от целого, он рано или поздно становится прахом, фантомом, ничем. Тогда как ребенок, причастный целому, даже самый слабый, становится всем. Впрочем, это еще далеко впереди. А пока что - глубокая задумчивость. Остановка перед открытыми, нерешенными, но уже не оставляющими в покое вопросами.

Князь Мышкин застывает, пораженный портретом Настасьи Филипповны. Он чувствует огромную силу ее красоты — и глубину ее страдания. Его душа перевернута. Он весь бросается ей на помощь. Но... «вот только... добра ли она?». Доброта решает, победит ли в ее душе свет или тьма...

Пушкин был добр, несмотря на все свои африканские страсти. Пушкин действительно «чувства добрые... лирой пробуждал... и милость к падшим призывал». Был добр - и глубоко любил ангелическую красоту. Любовь эта была чем-то самым коренным в его душе и ограничивала, пересекала порочный круг страстей. На этих пересечениях формировалась личность и судьба Пушкина.

Глава 4

СВЯТЫНЯ КРАСОТЫ

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты...

(«К*"»)

Благоговейный Пушкин. Пушкин, льющий слезы. Пушкин, страсти которого затихают и просветляются, сам заносит к нам несколько райских песен - песен о высокой

бескорыстной любви и о высоком блаженстве созерцания. Да, есть не только громокипящий Пушкин, а еще и Пушкин коленапреклоненный. А где-то между ними - Пушкин замолчавший (как народ в финале «Бориса Годунова») и глубоко задумавшийся, как Вальсингам. ,

Способность к любви глубокой, истинной и бескорыстной поворачивает Пушкина от деятельности к созерцанию, от героических порывов - к тишине, к отрешенности.

«Вначале была буря, а потом тишина. И в тишине - Бог».

Эту тишину Пушкин видел в себе, как издали видят горные вершины. Такая тишина вовсе не была его тишиной, но она была тем, что он любил больше всего на свете, тем, что останавливало и пересекало вихри его страстей, тем, что его наполняло и преображало, пусть на миг. Он умел благоговеть богомольно перед святыней красоты. Он знал, что красота священна, - иными словами, что дана она не для услаждения нашего, а для преображения. И он доходит до таких затиханий, до такого смирения, до такой просветленности в любви своей!..

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим!
(«Я вас любил...»)

Кто это говорит? Не сам ли ангел? Нет, не ангел; но тот, кто может так любить, уже не способен погибнуть. Преображение в нем уже началось... Может быть, в мире нет более редкого чуда, чем преобразование. А в пушкинском мире даже косматая душа Гирея затихла и затрепетала перед святыней красоты. И пусть она еще осталась косматой, но движение от зверя к человеку началось, и началось оно с благоговения перед красотой. «Мир красота спасет...».

Самая любимая героиня Пушкина - Татьяна. Кто-то из друзей сказал о Пушкине, что по-настоящему он любил только одну женщину - свою Музу. Но Татьяна и была, может быть, его Музой.

Пушкин всегда рад отметить разность между Онегиным и собой.: Пушкин не Онегин. Пушкин поэт, и Музе своей верен всегда. Это Онегин ее не замечал, ею пренебрег, не Пушкин. Онегин сперва проглядел Татьяну и только в конце проснулся. Впрочем, ведь проснулся, ведь полюбил - и как! Его письма к Татьяне неотделимы от авторских чувств. Пушкин теперь уже не подчеркивает разность, он уже, кажется, забыл о ней, все смешалось в любви к Татьяне.

Так что же, дело только в капризе судьбы, в случайном временном расхождении путей, в том, что поздно, что судьба Татьяны уже решена? (А могла бы не решиться, решиться иначе).

Нет, дело совсем в ином: как ни бесконечно сильна онегинская страсть, это все-таки страсть. Не бескорыстная, не преображенная страсть. Отповедь Татьяны может казаться даже несправедливой:

Зачем же ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор.
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

Да полно, неужели она это всерьез? Неужели не видит, что перед нею умирающий от любви человек, что она - его единственная надежда на спасение, на возрождение; что только в любви к ней душа его избавляется от мертвящего холода, от пустоты, от невозможности жить? Неужели не видит? Видит. И все-таки скажет: «Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом?»

Мелкого?! Да.

Гершензон, сравнивая пушкинского демона из стихотворения «Ангел» и Демона Лермонтова, который из этого стихотворения вырос, замечает разницу, на мой взгляд, великую: пушкинский демон ничего не хочет от ангела. В самом бытии ангела уже заключено все. Здесь ни прибавить, ни убавить. Ангел — совершенство. Ничего больше не должно совершаться - все уже совершилось.

Душа ангела, его спасительная красота, его свет вовсе не принадлежат только ангелу. Этот свет светит через ангела - всем, кто его видит. И если демон увидел этот свет и полюбил его, небесный свет может стать и его светом. Тогда не будет больше демона. Будет второй ангел. Наступит преображение. Наступит ли оно у пушкинского демона, - кто знает... Но искра Божия запала в него. И он ни о чем не просит ангела, тем более ничего не требует. Он знает, что спасение зависит от него самого. Сможет он или нет воспринять ангельский свет так, чтобы тот вытеснил, изгнал его черноту, - неизвестно. Но он смиренно знает, что грешен, а ангел - совершенство, и не зовет ангела разделить с ним ад, не просит принадлежать ему.

Если бы Сальери отнесся к Моцарту так, как этот демон к ангелу!.. Дар Моцарта так же не принадлежит только Моцарту, как ангельский свет - только ангелу. Моцарт явился в мир для того, чтобы тысячи людей могли спастись. Надо только забыть о том, кто сочинил музыку, а слушать саму музыку - ничью. Высветляющую, спасающую душу музыку. Но Сальери хочет во что бы то ни стало, чтобы музыка принадлежала ему. И вот - нет ни музыки, ни Моцарта, ни Сальери (ибо что такое Сальери-убийца).

Лермонтовскому Демону тоже надо, чтобы Тамара принадлежала ему. Значит, надежды на спасение нет. Ибо присвоив себе ангела, не получишь его света. Преображение не состоится.

Преображение приходит через смирение и отрешенность. Нет меня. - Есть Ты. Тогда это «Ты» становится «Я». И тогда возможна любая форма союза. Этот союз будет безгрешным.

Онегин, который страстно любит Татьяну и никоим образом не собирается губить ее, все же близок лермонтовскому Демону Опустошенную, лишенную жизни душу посетила любовь. Он снова жив. Он страдает. Он горит. Он даже поэтом стал.

Но... может быть, ему следовало бы сказать, вместо всех писем,; только одно: «Ты не напрасно мне сиял» (А.С. Пушкин. «Ангел»),

И только. Не напрасно сиял (сияла). Значит, частица твоего света стала моей. И кто знает, может быть, когда-нибудь я стану подобным тебе.

Татьяна - это постоянно живое сердце, душевная полнота, умение любить. Деревенская девочка или княгиня - она никогда не была опустошенной. В ней как бы бьет постоянный внутренний ключ. Почему Онегин не заметил этого раньше? Что переменилось? Внеш-, не - очень много. Он увидел в Татьяне силу. Беззащитная девочка превратилась в царственную женщину... То, что надо было угадывать сердцем, стало явным.

У Татьяны есть все основания полагать, что самого глубокого в ней I он не любит и сейчас так же, как не любил тогда. Так это или не так, мы не знаем, но ведь сказал же он той девочке: «Я сколько ни любил бы Вас, привыкнув, разлюблю тотчас». Ну, а теперь, так ли уж он уверен, что не разлюбит? Страсть налетела, страсть улетит. Точно ли он переменился весь? Стало ли это сердце таким же глубоким и не опустошаемым, как сердце Татьяны?

Ну, а если... Если все-таки это чувство действительно небывалое в его жизни, - что тогда?

Тогда надо быть достойным его, надо и поступить каким-то небывалым до сих пор образом... Каким же? Не домогаться Татьяны, а любить ее, как «рыцарь бедный» свою Даму... Действительно небывалой любовью. Любовью, которая не ищет удовлетворения, ничего не хочет, - только служить. Любовью, для которой само существование Дамы (недосягаемо высокой, божественной) - вся награда.

Такой любовью... Но ведь для этого надо быть не Онегиным. Онегин и такая любовь?! Онегин привык удовлетворять свои желания, пока они не иссякли. (Вплоть до желания жить.) И вдруг - небывалое желание, великая страсть. И вот опять во что бы то ни стало он хочет удовлетворить это великое желание. Опять удовлетворить? И только? Но тогда он остался прежним: с сердцем, которое то вспыхивает, то гаснет, то живо, то мертво - игральное страстей. И опять после удовлетворения желаний придет пустота, которая страшна, как ад... Нет, не удовлетворение страстей ему нужно, а преображение души. А его не может быть без отрешенности.

Отрешенность - не отказ от жизни. Просто умение поставить себя, всю свою жизнь на второе место. Понять, что ты со всеми своими страстями - не самое главное. Есть нечто Высшее. Это органическое внутреннее чувство Высшего, никем не навязанное, приходящее от совершенной полноты и чистоты сердца, - и есть основа религиозного чувства.

Человек становится религиозным не тогда, когда усваивает те или иные убеждения, а когда в груди его жжется святыня. Когда он чувствует, что может и жить, и умереть с равным блаженством, не для себя, а для нее, во имя нее — святыни своей. Иметь святыню, благоговеть перед ней богомольно и ничего не хотеть от этой святыни - кроме одного, чтобы она была. Вот что такое религиозная душа.

Мы ничего не знаем (то, что знаем, - общие места, то есть ничто) об убеждениях Татьяны. Но по сути своей Татьяна глубоко религиозна.

А Онегин? Онегин — атеист. Но уточним значение этого термина. Речь опять идет не об убежденности разума, что Бога нет. Речь идет о сердце, лишенном Бога, лишенном жизни,

лишенном любви. Временную богооставленность знают и религиозные сердца. У Пушкина периоды богомольного поклонения святыне не раз сменялись полосами богооставленности.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои – Б
ез божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви...

За этими строками, однако, следовали другие: «душе настало про- бужденье...». Онегин же «вдохновенье презирал»:

Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Эти слова Пушкин относит к своему Демону. Но они вполне подходят к Онегину. Вот что такое атеизм - без-божие, без-жизненность - «без вдохновенья... без любви...». Онегин — атеист, но атеист затосковавший; атеист, находящийся в глубоком кризисе, почувствовавший, что атеизмом жить нельзя.

И, наконец, атеизм свой исчерпавший и поклонившийся тому, что раньше отрицал. Атеист, более всего на свете ценивший свою свободу, стал рабом любви... Что ему с этой любовью делать? Спасение это или гибель? Сердце его уже не пусто. Оно наполнено. Переполнено. И это невыносимо больно. Так что же — просить, чтобы его избавили от страданий или... суметь это страдание вынести?

Пушкин оставляет героя своего «в минуту злую для него», как бы прервав на полужанре роман - все тем же открытым вопросом, его любимым приемом. Вопрос закроется только после великой духовной работы в душе читателя, той самой работы, которая должна была бы произойти в душе Онегина...

Глава 5

ТРОЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ

А в самом Пушкине произошла эта работа? А он, умевший так благоговейно любить свою Музу, он дорос до преображения? Или он все еще играл в страсти? И душа его то полна, то пуста и вкушает хладный сон; то исполнена восторга и любви, то живет без божества, без вдохновенья? Прилив, отлив. Одна волна сменяет другую. Да полно, неужели в жизни нет никакого духовного закона, который душа должна постичь, неужели нет внутреннего господина в человеке? «Кто место в небе ей и укажет / Примолвля: там остановись! / Кто сердцу юной девы скажет: / Люби одно, не изменись!» («Цыганы») Действительно, кто? Извне — никто не имеет права это сказать... Ну, а внутри, внутри? Тоже нет никакого стержня? Того, что глубже и значительнее набегающих и отступающих волн? Вот Того, Чей глас воззвал к пророку, лежавшему, как труп, в пустыне? Вот Того, Кому поют волны свой хвалебный гимн, — тайного автора всей этой спасающей душу

красоты?

Если нет внутреннего закона и внутреннего господина, остаются одни стихии, которые разрывают душу на части. И есть Пушкин-язычник, служитель стихий. И только. «И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет».

Я думаю, что с этого начинался Пушкин, но от этого он уходил все дальше и дальше. Да, начинался Пушкин действительно с язычника, всегда влюбленного, искрометно-шутливого, обаятельно-грешного, а подчас и кошунственного. Молодой Пушкин был вполне в рост окружению, восторженно принимавшему его. Конфликт с публикой начался, когда Пушкин стал вырастать, когда действительно понял, что «любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман» («К Чаадаеву»), что идеалы времени - лишь короткий миг, ступень роста души - мгновение. И что мгновение это проходит. И - либо надо пройти, исчезнуть вместе с ним, стать прахом, либо двигаться дальше к иному, к Вечности, искать непреходящую твердь, не рассыпающуюся в прах. Пушкин, в отличие от Онегина, - поэт. Но и «не поэт» - Онегин - жил в Пушкине. И «какой-то мрачный гений» «на мир насмешливо глядел» и давал чувствовать поэту, что его волшебный мир ограничен, что за ним, за краем его, может открыться пустота.

Дар напрасный, дар случайный

Жизнь, зачем ты мне дана?..

(А. С. Пушкин. «Дар напрасный, дар случайный...»)

Поэтический мир Ленского не выдерживает холодного онегинского взгляда. Он сжимается под этим взглядом, умалется, выцветает... А может быть, начинает видиться в свою истинную величину, какой он есть без романтической дымки, без юношеского задора, без очарования возраста... Он мелок, этот поэтический мир, и Онегин заставляет увидеть это. Ленскому рядом с Онегиным не ужитья. Он убьет его, если не пулей, то своей иронией. Если же они - поэт и Онегин - встречаются в одной душе, завязывается борьба не на жизнь, а на смерть. И либо поэт погибнет, либо вырастет, станет недостижимым для убийственных стрел иронии и, наконец, заставит самого Онегина стать поэтом. К чему и приводит Пушкин своего героя в конце романа. Приводит - и оставляет «в минуту злую для него...». Эта минута была минутой выбора, но уже не между поэтом и не поэтом (тот выбор уже сделан), а между поэтами - языческим и христианским.

(Я пользуюсь терминами, которые всегда условны. Но они емки. И я хочу пояснить, что в них вкладываю. Речь идет о способе чувствовать мир, о мере наполнения сердца).

Поэт всегда влюблен в мир, но может любить его по-разному. Под языческим поэтом я понимаю человека, влюбленного в осязаемый земной мир и добивающегося от него взаимности. Земную возлюбленную надо сделать своей. Обладание - венец любви. А христианский поэт не удовлетворяется ничем земным; он ищет неба. Главное для него происходит на небе, то есть внутри. Это вовсе не значит, что он и мечты его бесплотны, что ему не нужно соединения с предметом любви своей. Дело все в акцентах, в перемещении центров тяжести. Соединение для такого поэта происходит прежде всего в духе. Поэтому любовь важнее самой любимой, ибо она больше нее. Духом, любовью нельзя обладать, как плотью любимой. Дух нельзя уловить и объять. Он внутри. Он - нечто высшее, что не может целиком уместиться; в любящего, до чего надо дорастать, вырастать из себя, тянуться ввысь.: (Даже если влюбленные вполне равны друг другу, встреча, соединение,, все равно происходит в Высшем - в Любви, до которой обоим надо!

каждый раз, каждый миг снова дорастать.)

Другими словами, если языческий поэт живет в мире предметов,» вещей, находящихся с ним на одном уровне, то поэт христианский! находится в мире Духа, который неосязаем, которого нельзя взять в руки и к которому надо постоянно идти, восходить или углубляться, продвигаясь с поверхности в глубину и высоту, в иное измерение — на другой уровень.

Языческий поэт любит человека, который весь перед глазами. А христианский поэт любит в человеке его невидимого Творца, сокрытого, неисчерпаемого, невыявленного; любимый — не идол, а икона.

Языческий поэт всегда смотрит на предмет своей любви, обожествляя этот предмет.

Христианский смотрит с поверхности внутрь, с земли на небо. Внутрь и высь, но всегда на другой уровень. Любовь есть путь на другой уровень бытия. И проделать этот путь бесконечно важнее, чем добиться ответной любви, важнее, чем любая победа, оставляющая человека на его прежнем уровне, так сказать - на земле.

Для языческого поэта нет ничего прекраснее земли. Для христианского поэта земля остается такой же прекрасной, но у него есть ещё и небо, то есть некая Высота, некий новый простор - другое измерение - измерение Вечности. У языческого поэта есть лишь бесконечно-разнообразная горизонталь. У христианского есть ещё и вертикаль, встреча с которой дает ощущение - другой, не количественной, а качественной бесконечности.

Вот перед каким выбором оставил Пушкин Онегина «в минуту злую для него» - и, может быть, не совсем ожидаемую для самого Пушкина.

Да, до поры до времени в Пушкине жили и тот, и другой: на вершине - рыцарь бедный, который, «сгорев душою», то есть отдав всю свою душу Высшему Образу, «на женщин не смотрел и до гроба ни с одною молвить слова не хотел».

А рядом - Дон Гуан, который смотрит, кажется, на всех женщин мира и не сгорает душою, а сжигает их души, чтобы поддержать в себе жар жизни, поминутно готовый погаснуть.

Рыцарю не нужно ничем внешним поддерживать душевный мир. Божественный свет приходит к нему изнутри, постоянно поддерживая пламя. Ни от каких капризов судьбы оно не зависит. Жизненное оскудение, охлаждение, окаменение ему не грозит. Гуану же это грозит постоянно. Поэтому он и стал хищником, глотающим других, чтобы выжить самому. Хищником? Но ведь Гуан так поэтичен! Да, жертвы сами бросаются к нему в объятия. Пусть миг - но какая полнота жизни! Разве Клеопатра вынуждала своих воздыхателей всходить на ее смертоносное ложе? Сами рвались! И все-таки за плечами царицы, за царственной красотой ее стоит безобразный скелет. А за плечами Дон Гуана - каменная статуя. До поры до времени она не видна ему. И можно делать все, что угодно. Но придет момент, и он должен будет столкнуться с Командором лицом к лицу. Когда? Когда почувствует, что ему самому грозит окаменение, что Каменный гость изнутри преграждает его дыхание. Каменная преграда. Все та же заветная черта, пересекающая накатанную, казавшуюся бесконечной дорогу. Дороги больше нет. Есть перекресток. Либо вечная жизнь, либо вечный камень.

Да ведь он всю жизнь только и делал, что убегал от окаменения, от душевного хлада, «хладного сна». Он только и делал, что ускользал от Командора, наставлял ему рога, высывал язык. Казалось, в этом обаятельном дерзком поединке и пройдет вся жизнь. И вдруг - черта. Он больше не может двинуться. Он больше не может быть Гуаном. Он сам - статуя.

Окаменение наступает тогда, когда исчерпываются возможности Гуана, казавшиеся

неисчерпаемыми. В сердце постучалось что-то иное, что-то неведомое, что-то бесконечно более глубокое, чем все, что было прежде: Дона Анна. Женщина в ряду прочих женщин? Нет... Откуда это известно, что нет? - Такой полноты жизни Гуан ещё не чувствовал никогда. И именно теперь-то он и не может жить. Ему точно не хватает дыхания. Весь прежний, весь обаятельный, легкий, искромётный Гуан теперь неуместен, невозможен, ненужен... Быть прежним сейчас - кощунство. (Наконец-то пришло чувство кощунства!..) Нужно быть иным... Каким же? - Рыцарем бедным... Только рыцарю бедному здесь место... Но Гуан уже не может быть Гуаном и еще не может быть рыцарем бедным. Нужно какое-то великое душевное усилие, особое усилие, то, которым берется Царство Небесное. Но способен ли он на него? Как это так вдруг - преобразиться?..

И вот тут-то и приходит Командор. Вот тут-то и раздается великое «или -или» - весть о несовместимости. Если ты не выберешь сейчас, если не сможешь стать «рыцарем бедным», ты окаменеешь Дон Гуан, казавшийся вечным бессмертным поэтом, - всего лишь мотылек. Всего лишь миг. Промежуточное, временное состояние И оно проходит... Сам Пушкин - и Дон Гуан, и «рыцарь бедный», и некто третий - тот каменный, тот «хладный». Онегин? Командор?

Может быть, и Командор когда-то был таким же Дон Гуаном? Кто знает...

Если это так, что же ты теперь так гневаешься на Дон Гуана Командор? И что же ты, Дон Гуан, так поражен встречей с владычным камнем? Ты ведь носил его в себе, носил всегда, только не хотел замечать этого. И вот заметил. И вот - зажат каменной десницей. Еще Старый цыган говорил Алеко: «Ты для себя лишь хочешь воли...».

Угроза превращения вольнолюбца в тирана всегда созерцалась Пушкиным. Всегда его сердце было зорким и справедливым. Всегда он чувствовал, что то, с чем так рьяно борются люди в других есть прежде всего в них самих, и надо бы остановиться и направить взгляд внутрь - и меч внутрь...

Эта готовность к самоосуждению вместо осуждения всего и всех вокруг, это глубинное чувство, что главный враг приютился внутри - а совсем не вовне, - делают духовное зрение Пушкина удивительно ясным. С беспощадной ясностью этой он созерцает ещё не сложившуюся в гармоническое единство природу свою.

Все трое были в Пушкине: и Дон Гуан, и Командор, и «рыцарь бедный»... Два поэта (разных уровней) и тот каменный: окаменение сердца, малодушное погружение во внешнее, хладный сон. Другими словами - не поэт, а тот, которым он бывает, когда его не требует Аполлон.

Командора привычно воспринимают как карающую Божью руку. Но у Пушкина рука эта действует не во внешнем, а во внутреннем пространстве. Командор является как бы другой стороной самого

Дон Гуана. Он грозит Гуану изнутри него самого. Если Гуан не преобразится, он превратится в камень...

Дон Гуан не может мимоходом насладиться Доной Анной, как всеми предыдущими. Ему захотелось навсегда остаться с одной Доной Анной. Ему захотелось, чтобы время остановилось. Остановить время может либо смерть — окаменение, либо духовная вертикаль, пересекающая горизонталь часов и дней, - выход вглубь и ввысь, выход, открывающий измерение Вечности.

Поэзия всегда доносит запах Вечности, как ветер — запах моря. Истинный поэт — тот, кто находит море Вечности по едва уловимым дуновениям. Ветер из Вечности... Дух Вечности. Он только налетал в сердце Дон Гуана — и оставлял его. Может быть, он звал

его сюда, к этому перекрестку... К своему пределу... Командор есть предел Дон Гуана. И здесь, у предела, - выбор...

Своими «вещными зеницами» Пушкин видел, что спасение мира только в преобразении человека. И никакая внешняя задача не заменит и не отменит задачи внутренней. К этому он подводит почти всех своих главных героев.

Сколько бы дел ни искал себе Онегин, как бы ни завидовал паралитику или ревматику, — всем, кто чем-то занят, чем-то отвлечен, освобожден от своей внутренней задачи, - ему от этой задачи не освободиться. Ничто не оживит его, пока он не научится любить. На страницы романа он вступает с одним достоинством: зорким, ясным зрением. И эта ясность ничем не затуманенного взгляда была залогом, обещанием чего-то большего, признаком крупности, избранности души его.

«Когда бы все так чувствовали силу гармонии...» Когда бы все так чувствовали Моцарта, как Сальери!.. Когда бы все могли так видеть, что такое Татьяна, как Онегин!..

Вообрази, я здесь одна.

Никто меня не понимает.

Рассудок мой изнемогает,

И молча гибнуть я должна!

Да ведь это серьезно, очень серьезно.

Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой...

И погибала. И вдруг — «Чуть ты вошел, я вмиг узнала!».

Это не романтические бредни. Она узнала того, кто может ее понять, почувствовать, в чьей душе есть способность вместить всю ее душу. Ни в ком такой способности не было. А в Онегине была. Потому-то и избрала его Татьяна. И всей своей любовью призвала его к его истинной задаче. Призвала. Она была его призванием. И ему нельзя было бежать от своего призвания. Он же пытался бежать, как пророк Иона. И как пророк Иона - в черное чрево кита, попал в объятия непроглядной тоски.

И вдруг - переворот, ошеломительный, головокружительный поворот в другую сторону: наконец-то он не только видит, он влюблен! Не этого ли ждала Татьяна? Нет, не этого...

Этого ещё мало. Мало влюбленности. Надо научиться любить. А это - совсем другое.

Любить — значит принять на себя огромную ответственность вынести страдание, платить по всем счетам, и оплатить все грехи сердца. (Самая большая любовь оплатила все грехи мира... Там, на кресте...)

Онегин - одна из ипостасей Пушкина. И не так просто с ним разделаться. Не так просто извергнуть его вовне... «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной...» Да, да, слава Богу, в Пушкине был не только Онегин. В этом - духовное спасение Пушкина. И возможность духовного спасения Онегина - его выход в Пушкина. Пушкин - Онегин, который не бежал от своего призвания. Онегин, который стал не только поэтом, но поэтом высшим - пророком.

Однако Пушкин увидел Онегина не только внутри себя, но и вовне. Внутри себя Пушкин преображал Онегина. А вовне, а рядом царил герой времени, властитель дум - разочарованный атеист, объевшийся прелестями жизни и тоскующий от неумения любить.

Пушкин увидел его и дал ему альтернативу: стать героем Вечности.

Этим героем Вечности был поэт, Муза которого - Татьяна. Пушкин увидел неизбежность выбора: либо герой Времени должен найти Бога в душе и стать пророком великого Бога-Творца, либо...

Может быть, пушкинская жизнь оборвалась на этом «либо», на этом открытом вопросе и многоточии... А после многоточия стал продолжать Достоевский.

Да. Либо поэт, пророк великого Бога-Творца, благословляющий жизнь и обливающий землю слезами, либо атеист, не знающий над собой ничего Высшего, ни перед чем не преклоняющийся, не влюбленный, не любящий, а только наслаждающийся миром, как своим владением.

Так от Евгения Онегина мы пришли к Николаю Ставрогину. Достоевский привел нас к нему и показал: здесь тупик. Здесь петля. Вот что случается с человеком, который не верен своему призванию, который изменил идеалу Мадонны. Кто отказался от великого религиозного подвига, от подвига любви. Любви к красоте, которая мир спасет.

У Ставрогина была сила. И если бы он не присвоил ее себе, а отдал Богу, он стал бы тем самым светлым князем, которым видела его юродивая прозорливица Хромоножка. Но... «сокол филином стал». Он - вор. Он все Божье присвоил, украл. Он самозванец. И вот по-неслось ему вслед: «Гришка Отрепьев ан-а-фе-ма!» («Бесы»).

Не так ли бедная помешанная Мария Кочубей видит, наконец, душу Мазепы:

«Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь».

Красота может спасти душу, если человек дает ей место внутри себя, причащается Ей (и через нее - Святому Духу). Красота может погубить душу, если человек упорствует в желании обладать ею. Человек, пожелавший обладать небом, построил Вавилонскую башню. И мир раздробился на мириады осколков. Человек, пожелавший причаститься небесной Красоте, видит во всех осколках один и тот же свет и собирает их в единое целое.

Ставрогин видел высшую духовную красоту так же, как Онегин видел Татьяну. Он чувствовал, понимал ее. Если бы он ей ответил, если бы не бежал от своего призвания! Но... он наслаждался то добром, то злом. Он испробовал себя и в том, и в другом - и погас. Опыт зла иссушил источники духовного гения, возможности которого в нем жили. Злодей не смог стать светлым князем. Он иссяк.

Этот герой времени, этот Онегин, вставший с колен, не видящий над собой ничего Высшего, потерявший всякую святость, был совершенно пуст от жизни. Он дошел до черты, за которой совмещение добра и зла оказывается невозможным.

Эту черту показал Достоевский.

Но провидел ее первым Пушкин. Он угадал, что Сальери не сумеет жить без лучшей части своей души - без Моцарта, без Бога. Как бы ни пытался он жить без жизни, это ему не

удастся...

«- А гений и злодейство - две вещи несовместные.

— Ты думаешь?»

Ставрогин - это Сальери после убийства, Сальери, проверяющий бездоказательное утверждение Моцарта. Это - следующий акт «Моцарта и Сальери».

Глава 6

«ЕСТЬ ВЫСШИЙ СУДИЯ»

Потрясенный смертью Пушкина Лермонтов взывал к Божьему правосудию. Но сам Пушкин не просил об отмщении. «Нет, нет, мир, мир!» - сказал он.

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, - в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум. Нет;
Но какой-то мыслью глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

(В.А. Жуковский. «Из альбома подаренного
гр. Ростопчиной. IX. "А.С. Пушкин"»)

И правда, кажется, что Пушкин в смерти своей досматривал что-то, что не совсем досмотрел в жизни. Их было трое в одном лице, потом двое. - И вот остался один. Тот высочайший и глубочайший И бесконечно тихий. Наконец, пришла Тишина, которой так не хватало душе. Полная тишина.

Может быть, смерть пришла потому, что он так и не успел пройти в жизни до этой полноты, до этого тихого единого лика.

По поводу пушкинской судьбы, пушкинской дуэли сказано бесконечно много. Я не хочу сейчас разбираться во всех точках зрения, для меня нет вопроса о выборе между Пушкиным и светской чернью. Пушкин настолько же правее и выше всех тех, кто его травил и, наконец, убил, насколько Бог правее и выше самого Пушкина.

Пушкин перед лицом света - в терновом венце. Но Пушкин перед лицом Бога...

А именно этот вопрос меня занимает прежде всего... Однако, имею ли я право задаваться вопросом? Отношения Пушкина с Богом - это дело Пушкина и Бога, и ничье больше. Да, конечно. Если бы отношения Пушкина с Богом не были бы моими собственными отношениями с Богом - с моей собственной глубиной и высотой.

Как-то так выходит, что если Пушкин себе все позволит и все простит то и я, читатель, себе могу все позволить и все простить. Если же Пушкин не позволит и не простит, то и мне, читателю, никуда не деться от предельного спроса с себя.

Я не навязываю Пушкину мою, внешнюю, чуждую ему высоту. «Рыиарь бедный» - им увиден, это его высота. Идеал Мадонны - это его собственный, а не чуждый ему идеал. Тот самый, о котором было сказано - «Цель поэзии - не нравоучение, а идеал» (А.С.

Пушкин. «Заметки на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях Озерова»», 1836).

И самое великое, что Пушкин нам оставил, - это свой идеал и обязательность верности ему. Он даже предупредил нас, что измена идеалу в конечном итоге губительна. Об этом было ему откровение.

Но разве он изменял идеалу? В поэзии зрелых лет - никогда. Чем больше жил, тем яснее видел идеал этот, тем полнее любил, тем ревностнее служил. И Поэзия его осталась нетленной. И будет жить, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

А в жизни... Нет, в жизни идеал этот недоволотился. И язык его бывал празднословным и лукавым, и сердце не всегда бывало углем, пылающим огнем... Так он сам пишет. Он часто бывал глубоко недоволен собой.

Никто не вправе указывать Пушкину - кроме него самого. Кроме его собственного идеала. Не мы дали идеал тот Пушкину. Он дал его нам. И вот идеал этот судит его.

Трепетное сердце Пушкина, то человеческое сердце, трепетавшее от обид, от боли, от ревности, - не превратилось до конца в огненный уголь.

Мы должны видеть это сердце таким, каким оно было Видеть И только. А не выдумывать. Глаза должны быть ясными

Совершенством Пушкин не был. Но завещал нам совершенство Завещал свой Идеал, свой гений чистой красоты. И если мы возьмем за образец всю пеструю жизнь Пушкина, мы изменим его идеалу которому никогда он не был верен так полно, как в предсмертные часы

Смерть подстерегла его не только извне, но изнутри. Ибо «рыцарем бедным» он еще не стал, а Дон Гуаном быть уже не мог. (Интересная закономерность. Дон Гуаны всегда побеждают на поединках Точно черт помогает своему лихому, не дорожающему жизнью ученику. Вот стоит Дон Гуану дрогнуть, поколебаться в своей беспечной верности дьяволу, - тут ему и конец...)

И, может быть, готовность принять поражение является первым шагом к победе на другом уровне.

Можно тысячу раз разбирать все факты, предшествующие дуэли Пушкина, и все, что было потом. Но от того, что в Пушкине жили два человека, никуда не уйдешь. Первый Пушкин, попав в Дантеса кричит «Браво!», хочет продолжать дуэль до кровавого конца; второй Пушкин, в ответ на предложение Данзаса вызвать Дантеса, отвечает: «Нет! Нет! Мир! Мир!..».

Истинное величие Пушкина было не в том, что он праведно жил в последние годы, и не в том, что он все делал «как люди» и «как надо», а в том, что понял и принял сверхразумную правду о несовместимости «рыцаря бедного» и Дон Гуана в одной душе. Умирая по-христиански, он не просил ни нашего мщения, ни нашей защиты Он хотел, чтобы и мы поняли то, что открылось ему в предельной глубине, чтобы мы поняли и приняли его откровение: истинная высота бескомпромиссна. Есть два полюса в нашем духовном мире две вещи несовместные... И та непостижимая черта, которая является вдруг в пушкинских шедеврах, перечеркивая весь ход земных событий, есть молния из горнего мира.

Глава 7

СОБСТВЕННИК И МОТ

Нигде эта черта не проведена так четко, нигде она не достигает такой простоты и ясности, как в «Моцарте и Сальери». Там и родилась эта заповедь. «Гений и злодейство - две вещи несовместные».

Два героя трагедии в чем-то бесконечно близки друг другу. И в чем-то полярно противоположны. Это такие же два брата по духу, как Авель и Каин - по крови. «Когда бы все так чувствовали силу гармонии...»

К Сальери первому идет Моцарт с самыми глубокими своими созданиями. Через Моцарта всем людям, и в первую очередь Сальери, предлагается хлеб духовный. Только возьми - и будешь причастен высшей жизни...

Но причастие невозможно для Сальери. Он хочет не причаститься, а отделиться - и владеть. Обладать. Он - собственник. Он скупец. Он брат не только Моцарту, но и Скупому рыцарю. И так же как и тот, прежде всего хочет оборонить свою собственность, огородить ото всех других. Скупой рыцарь думает о своем ненавистном наследнике (родном сыне) примерно так же, как и Сальери о Моцарте:

Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!
Я царствую... но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульный собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украл ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные, дырявые карманы.
Он разобьет священные сосуды,
Он грязь елеем царским напоит –
Он расточит....А по какому праву?
Мне разве даром это все досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костями да груды загребают?
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Все это стоило?

А вот монолог Сальери:

Все говорят: нет правды на земле
Но правды нет - и выше. Для меня
Так это ясна», как простая гамма.

.....

Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты,
Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон, и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд...

Как не посочувствовать ему? Как не признать, что у него есть заслуги перед Музыкой, перед Богом, наконец? Разумеется они у него есть. С точки зрения человеческого рассудка, он ведь прав. Пожалуй.

О, небо!
Где ж правота, когда священный дар
Когда бессмертный гений - не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан -
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?...

Так вот в чем дело... «Мой наследник, безумец, расточитель молодой развратников разгульный собеседник...»

Надо сказать, что Пушкин очень добросовестно дал слово и тому, и другому «правдолюбцу». Они действительно очень много потрудились Один, чтобы приобрести свои деньги, другой - свою славу.

Но кто дал право им считать и то, и другое «своим»? Кто дал право присваивать?

«Гуляка праздный» и «расточитель молодой» не трудятся, но они ничего и не присваивают. Вот если бы правдолюбцы потрудились не для себя (для власти один, для славы другой), а для Бога, - если бы они служили не себе, а Богу, - тогда их труд был бы Богу угоден, как угоден труд самого Пушкина. Он, кстати, немало трудился над своими творениями. Говорят, что стиль работы его был ближе к Сальери, чем к Моцарту. Не знаю. Думаю, что могло быть и так, и этак. Но чего в Пушкине не было никогда, так это

присваивать себе Божьего дара. Вот где Пушкин чист, как Моцарт! И это главное! Пушкин гордо отталкивает людей, отвлекающих от Бога, чернь, но никогда не гордится перед Богом:

Ты царь: живи один.
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе.

(«Поэту»)

«Ищите Царствия Божия и это все приложится вам». Иными словами: не оставляйте Бога. Остальное приложится. «Правдолюбцы» же искали именно остального - и оставляли Бога. Поэтому и Он не мог не оставить их...

Для Сальери дар - это то, что поднимает над обыкновенными людьми (его, его самого). Дело не только в том, что невежды мешают сосредоточиться на главном, на внутреннем, лишают творческой тишины. Нет, Сальери именно нужно само чувство дистанции, нужен пьедестал. Без него было бы неуютно.

Дар Моцарта безграничен, и для хорошего самоощущения в мире ему совершенно не нужно отделять себя от кого бы то ни было. Он бесконечно щедр, его хватит на весь мир. Все, на что падает его взгляд, осящается – как бы обрестает частицу его души. Духовное мотовство Моцарта возмущает Сальери. Скупец негодует: почему для блудного сына Отец закалывает упитанного тельца, а для своего неотлучного праведника пожалел и козленка. Да потому, что духовное мотовство только проносит через себя дары Отца и отдает первому встречному Они - не его, эти дары. «Какие заслуги? Ничего моего нет, все от БогаС Он ни с кем не мерится, ни с кем не сравнивается. Ему все равно «чья» музыка. Ему важна Сама Музыка. Эта музыка принадлежит Сальери так же, как и ему Он, Моцарт, ведь только воспринимает всей душой то, что ему дает Бог. Но ведь и Сальери тоже может воспринимать да еще как! «Когда бы все так чувствовали силу гармонии ...»

Вот где настоящий дар Сальери - умение чувствовать. Ведь Моцарт и в себе ценит только это умение чувствовать Божью гармонию В этой гармонии они с Сальери могут быть едины! Только не надо мериться не надо сравниваться! Ведь он, Моцарт, - песчинка в сравнении с Богом, но в любви к гармонии - они одно. «Так выпьем за союз связующий Моцарта и Сальери, - двух сыновей гармонии одной»

Как щедро распахнуто это сердце! Как оно незащищено! Как оно не хочет защищаться, отгораживаться!..

Он совершенно открыт, потому что чувствует закрытость как духовную смерть. Он предпочитает смерть физическую. И недаром он писал свой Реквием. Там, в глубине души, он все знает Ну и что ж, что это скрыто от его сознания? Разве сознание творит, а не эта таинственная глубина?

Самая трудная для понимания заповедь блаженства - это «блаженны нищие духом». А ведь вот он, ее смысл: Дух нельзя присвоить Ему можно только причаститься. Самый величайший гений, который решит, что гениальность – его собственная заслуга, гениальность эту потеряет. Тот же, кто самым малым даром своим служит Богу получит еще и еще. Сам Бог доверится ему. Это как в притче о талантах....

Моцарт и Пушкин в своей святой святых, в творчестве своём - такие нищие духом. Вот почему им Отец все прощает - даже если они, как блудные дети, и оставляют Его. Они возвращаются к Отцу. И они возвращают Ему всё Его. Сальери же совсем оставил Отца Он живет для себя.

Сальери не согласен «проматывать», делить с кем бы то ни было свои скудный дар. Такой роскоши, как беззащитность, он позволить себе не может. Сальери защищается от Моцарта, от Бога. Защищается, защищает себя, свое. Весь мир для него не неделимое Чудо, как для Моцарта. Он делится на свое и чужое. Убийственная, самоубийственная попытка «сверхчеловека» разделить на части небо. Это в сущности так обыкновенно! Все обыкновенные люди - собственники. И Бога Единого им не надо. Поддай им «своего», их собственного Бога. Им надо то, что они могут объять, охватить, что им по мерке. А если ты под мерку не подходишь, «так улетай же, чем скорей, тем лучше».

И, Бог, ты тоже уходи! Ты не укладываешься в мои человеческие мерки! Зачем мне мериться Твоими? Изволь соответствовать моим!

Так рассуждает очень обыкновенный человек. Не так явно, не так откровенно. Но по сути дела - так. А ведь Сальери - гений. Моцарт не бросается такими словами зря. Он чувствовал музыку Сальери. Он чувствовал в нем гения. Не будем сравнивать с Моцартом. Пусть более скромный, но Дар у него был. Трагедия началась со сравнения и с присвоения, то есть с психологии ординарного человека, не поднявшегося со своего Дара. Иными словами - с попытки человека подчинить себе, присвоить божественное, а не служить ему.

Дар Божий у Сальери был. И это - нечто единое с Моцартом (как едины вода в озере и в океане). То есть (можно сказать итак) Моцарт в нем был. И Сальери убил Моцарта дважды: вовне и внутри самого себя.

- Ты уснешь надолго, Моцарт.

«Но ты уже больше не гений, Сальери» - беззвучно скажет ему Моцарт в нем самом. Напрасно ты цепляешься за «очевидность». Ты задаешь вопрос: «...И не был убийцею создатель Ватикана?».

Ответа в обозримом пространстве фактов, истории - нет. Ответ - внутри. Ты гений или нет, Сальери, убивший Моцарта? Ты, убивший Бога, от которого весь твой дар? Кто теперь одарит тебя, Сальери? Кто наполнит звуками твою душу?

Глава 8

ЗАПАХ ВЕЧНОСТИ

«Широк, слишком широк человек, я бы сузил», - сказал Митя Карамазов. Первым границы этой широты увидел Пушкин. Он почувствовал ее, широту эту, как бесконечную горизонталь души, еще не пересеченную своей вертикалью - своей высотой и глубиной. Пушкин открыл для духовного взгляда великую высоту. Он не обжил эту высоту. Но он увидел ее всей любовью своего сердца. И показал нам. Русская литература началась с открытия горных вершин, с откровения о том, что святость есть, что красота священна. Она началась с меча серафима, отсекающего от души все нечистое, невечное, чтобы вернуть человеку первоначальную божественную природу.

Стихотворение «Пророк» кончается удивительно точно:

Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал...

Оцепенение, неподвижность. Отказ от прежних форм жизни. Невозможность быть прежним. Но новое - Вечное - существует только как далекий голос, как глас из глубины, с божественной высоты. Пророк слышит этот голос Он прислушивается только к нему. Там, в глубине, начертаны незыблемые законы, которые здесь, на поверхности, не определены. Меч серафима отсекает то, что душа отдает сама добровольно. Это добровольная жертва всем низшим во имя Высшего. Если бы Высшее не привлекало сердце, не зачаровывало бы его до самозабвения, меч серафима стал бы оружием палача. Но зачарованное сердце само отдается на волю меча, который есть не что иное, как разящее, жгучее и возрождающее душу слово —

Глаголом жги сердца людей...

Поэтическое Слово... Поэзия... Она вносит лад в душевный хаос и творит космос... Поэзия есть мирообразующее гармоническое начало, начало, строящее нашу душу, дающее ей высший строй, стройность. Поэзия ведет душу к вершине совершенной гармонии - к совершению гармонической личности, в которой все противоборствующие силы складываются в незыблемое единство.

Пушкин провидел эту личность издали, еще неясно, сквозь «магический кристалл». Он увидел ее, как «мимолетное виденье». И виденье это никак не равно Анне Петровне Керн. Это то великое и в ней, и в нем самом, что приоткрылось в миг внутреннего озарения. Всего одно «чудное мгновенье». Но его одного оказалось довольно, чтобы узнать, что Высшая Реальность - есть.

До реальности этой был еще «квадрильон» верст. Прославленная пушкинская гармония - вовсе не достигнутое равновесие духа, не парение «выше мира и страстей». Скорее, точное чувство духовной иерархии, уверенность в том, что Высшая Реальность, которую он только провидел, стоит «квадрильона», стоит пути, служения, жертвы. И «куда бы ты ни поспешал...» остановись, «благоговей богомольно, перед святыней красоты» («Красавица»),

Тайна пушкинской гармонии в том, что у него есть святыня и он умеет служить ей. Этот грешный человек бесконечно любит безгрешную красоту.

И это в нем - главное. Поэт в Пушкине рос. Когда-то он был пылким и мечтательным юношей, еще, может быть, не умеющим отличить божка от божества. Ленский, любовно-иронически описанный Пушкиным, тоже один из прошлых ликов автора, как и Онегин; и так же далек он от автора, как и Онегин. Пушкин гораздо больше их обоих, ибо он все время движется и перерастает то одного, то другого.

Ленский - бессильная мечта о высоком, ослепленность пылкого, но слабого сердца.

Онегин - сила и зрелость при полной неспособности воспламениться. «Лед и пламень». Онегин презирает выбор Ленского. Он «выбрал бы другую». Но он никого не выбрал. Он не поэт, и потому его зрячьность бесплодна. Душа в нем бездействует, ибо не любит. Вот когда полюбит... Но тогда кончится этот роман и надо будет начинать другой...

А пока что влюбленный слепец все-таки ближе к Пушкину, чем зрячий, но не способный к любви, живущий в мире «низких истин». И пусть Ленский пишет «темно и вяло». И пусть

дремлет над модным словом идеал. Он дорог Пушкину. Была такая точка в его душе - Ленский. Он соседства с Онегиным не выдержал. А Пушкин выдержал. И далеко перерос Онегина. Да, поэт рос в нем от Ленского до Пророка, до Царя, который живет один и дорогою свободной идет, куда влечет его свободный ум...

Поэт в Пушкине - вовсе не раз и навсегда данная фигура. Он - живой. Он растет. А значит бесконечно углубляется и крепнет - движется от обаятельного эрота с трепетными крылышками до шестикрылого серафима.

Поэзия была для Пушкина благодатью. Безблагодатное существование, «без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви» - кончается с приходом поэзии. «Душе настало пробужденье...»

И пробуждается поэзия во мне...

Можно ли ставить такой общий знак равенства между Поэзией и благодатью? Ведь поэзия бывает всякой. Марина Цветаева говорила, что в поэзии так же есть свои пауки, как в природе. В ответ на утешения, что она делает божеское дело, Цветаева отвечала: «Если мои вещи отрешают, просвещают, очищают - да, если обольщают - нет, и лучше бы мне камень повесили на шею. А как часто в одной и той же вещи, на одной и той же странице, в одной и той же строке и отрешают и обольщают» («Искусство при свете совести»).

А сам Пушкин разве не знал безблагодатной поэзии? Не служил демонам в «Гавриилиаде»? Не знал прямой богооставленности? «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?»

Стихотворение А. С. Пушкина «Дар напрасный» вызвало полемический ответ митрополита Московского Филарета:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена...

И Пушкин смиренно откликнулся:

В часы забав иль праздной скуки
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства лени и страстей...

Все это так. Но безблагодатной поэзии противостоит не нравственность, не совесть, не религия, а Поэзия же, и только она. Самая высокая Поэзия благодатна. И поэт, зашедший в тупик, поэт, поющий свою безвдохновенность, замрет перед другим, безмерно большим Поэтом, выводящим из всех тупиков на великий простор.

И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
(«В часы забав иль праздной скуки...»)

Не морализаторство священнослужителя, а арфа серафима, услышанная пророческим

ухом Пушкина сквозь не очень ловкие вирши, приводит его в священный ужас. Арфа... то высшее, перед чем поэт останавливается, замирает, куда бы ни спешил. Струна серафимовой арфы, высший небесный звук, пересекающий запутавшуюся, никуда не ведущую песню.

Пушкин умел слушать эту арфу... И он чувствовал, что она приведет его туда, где Дух неисчерпаем и вечен. В тот безграничный океан жизни, который полагает предел всему смертному, предел самой смерти, а сам пределов не имеет.

Поэзия... дающая нам все и просящая у нас только одного - доверия, безоглядного доверия. Согласия на то, чтобы вопросы наши оставались без ответа, чтобы они оставались открытыми, повисали в воздухе и выводили бы вас на открытый воздух - в бесконечное духовное пространство, которое само по себе и есть ответ на все конечное. Чему Пушкин никогда не изменял в своей жизни - это Поэзии (недаром говорили, что он любил только свою Музу). Совпадала она с тем, что хотели от него люди или нет, - с рассудочной нравственностью, с гражданственностью или еще с чем-то, он был с ней прежде всего. С ней - навсегда. Он верил, что она, Поэзия, выше и глубже всего остального.

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо — к бумаге,
Минута - и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз - и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?.. («Осень»)

ОГОНЬ И ПЕПЕЛ (духовный путь М.И. Цветаевой)

Введение

Я встретила с Мариной Цветаевой давным-давно, в студенческие годы, встретила с одним ее стихотворением, которое захлеб читала одна студентка другой: «Вчера еще в глаза глядел...»

Стихотворение мне очень не понравилось. Знаменитый рефрен показался бьющим на жалость. Я не любила тогда таких жалоб.

«Мой милый, что тебе я сделала?!» Это вослед тому, кому ты уже не нужна? Ну, нет!., я не знала тогда, что рядом с первым стихотворением, в паре с ним - другое,

противоположное по смыслу:
Ужели в раболепном гнев
За милым поползу ползком –
Я, выношенная во чреве
Не материнском, а морском!
(«И что тому костер остылый...»)

Не знала я тогда, что у этой слабой женщины силы и мужества - на несколько мужских характеров. Я многое не знала тогда.

Моя настоящая встреча с Мариной Цветаевой состоялась гораздо позже. Эта встреча была - на всю жизнь. Сначала стихи в списках, затем маленькая первая книжечка, и, наконец, великое событие, синий однотомник из Большой серии «Библиотеки поэта». То, что меня поразило там, было настолько близким и нужным мне, что все иное я отодвинула, как несуществующее, почти как пустую случайность. «Это - не Марина, а вот это - Марина!» Что же такое было «это»? О нем речь впереди. Но в двух словах - как раз то, чего не хватало мне при первом знакомстве: та устремленность внутрь, то собиранье Духа, восхождение на духовную гору, расправленность крыльев, которые взлетают над всей обидой и уж, конечно, сами могут открывать духовные пространства, а не закрывать их; давать, а не отбирать, дарить, а не красть...

Эта Цветаева стала сестрой, спутницей, моей непреходящей любовью. И так - на всю жизнь. И... все же - не так просто. Было нечто, на что я натыкалась в Марине Цветаевой, как на стену, и замирала, столбенела. Было нечто в Цветаевой, в моей Цветаевой, с Цветаевой несовместимое. Прежде всего - меня поразила ее нелюбовь к морю. Да ведь она - морская. Да ведь если она не любит моря, то кто же любит? И вот черным по белому - в письме к Пастернаку: «Борис, но одно: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ»...

И мотивировка! Если бы это писал какой-нибудь поэт 20-х годов, для которого «Дух» - почти что «буржуазный предрассудок»... Эта прямолинейная активность, точно без рук и ног ничего нельзя ощутить! Точно Бог, которого нельзя пощупать и с которым нельзя сбегать наперегонки, - пустая выдумка хлипких интеллигентов. Точно нет «под веками свершающихся замыслов». Точно никогда не бывало Сивиллы, у которой «под веками — вразбег, врасплах сухими реками взметнулся Бог». Точно... да точно нет всего цветаевского Того света, реальнейшего и ощутимейшего неким шестым чувством, так у нее развитым!..

Что такое ее «Тот свет», об этом немного позже. А пока продолжу список противоречий. Марина не любила моря. А сколько вещей, бесконечно мне чуждых, она любила! Вещей, на мой взгляд, ей чуждых... (Да только ли на мой? Потом окажется, что это и на ее взгляд. Скажет об этом в «Искусстве при свете совести» да и в других местах). Любила чуждое себе и порой ненавидела - любимое...

Мы знали избранную Цветаеву. И - неплохо избранную. Хотя туда не вошло много и прекрасных вещей, но не вошло и многое другое. И я очень рада, что познакомилась с «этим другим» тогда, когда разлюбить Цветаеву уже не могу и когда понять ее до конца, ничего не отбрасывая, стало одной из главных задач моей жизни.

И вот предстала передо мной ранняя Марина Цветаева - из цикла «Дон Жуан», «Князь тьмы», Марина - Кармен, Марина всей ее разбойничьей красы, всей разудал ости... И стало мне в ней, в этой Цветаевой, душно и тесно!.. И захотелось сказать: «Ну полно, ну что это? Мне от всего этого на Гору хочется... На твою, Марина, Гору...». И не только мне:

«будь Дон Жуан глубок, мог ли бы он любить всех? Не есть ли это "всех" неизменное следствие поверхности?»²

Это писала Марина Цветаева Черновой-Колбасиной в 25-м году.

«Ведь Дон-Жуан смешон, - писала она, - Казанова? Задумываюсь. Но тут три четверти чувственности, не любопытно, не в счет...»³ И мне показалось то же самое: не любопытно, не в счет. Так почему же столько об этом писала? Почему со всеми ими себя отождествляла? Однако все это - Марина Цветаева. И Дон Жуан, и Кармен, и Стенька Разин, и Пугачев - разудалая бабушка, у которой не все мальчишки перелюблены, и мать, наказывающая дочери помнить только одно, - что будет старой, и девушка, любящая упыря; и та, которая навек верна до первого встречного, - алых губ своих отказом не трудила и... список можно было бы продолжить далеко, — своеобразный донжуанский список ее пристрастий. Но его можно оборвать в любую минуту совершенно неожиданным образом: этот Дон Жуан одновременно чувствует за каждую из своих жертв; этот Стенька Разин готов жизнь отдать за свою княжну; этот герой Белого движения плачет над каждым убитым или раненым врагом, как мать над последним сыном; это, казалось бы, беспощадное сердце - все во власти стихий, - детской любовью которого был черт, - готово разорваться от жалости к первому встречному, незнакомому, чужому.

- Он тебе не муж? - Нет.

- Веришь в воскрешенье душ?- Нет.

- Гниль и плесень?

- Гниль и плесень.

- Так наплюй!

Но

- «Видишь — пот

На виске еще не высох.

Может, кто еще поклоны в письмах

Шлет, рубашку шьет...»

И — внезапно:

«Дай-кось я с ним рядом ляжу...

Зако-ла-чи-вай!»

(«Он тебе муж? — Нет»)

Вот оно, цветаевское раздорожье. Широкая, широченная русская душа... неистовая душа, исступленная, безмерная:

Душа, не знающая меры,

Душа хлыста и изувера,

Тоскующая по бичу.

Душа - навстречу палачу,

Как бабочка из хризалиды!

Душа, не съевшая обиды,

Что больше колдунов не жгут.

Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей...
Скрежещущая еретица, -
Савонароловой сестра –
Душа, достойная костра!
(«Душа, не знающая меры»)

Это она сама о себе. Себя не щадила. От своей неистовости и широты сама страдала. Но все должна была пройти, все изжить сама, свободно. Единственное точное и неизменное «нет» - насилию, принуждению. Единственный, кого всегда отвергнет, - это палач. В груди ее совмещалось несоизмеримое и несовместимое. Все несла. Но ноша была слишком тяжела. Даже для нее. Было подчас невыносимо. И не только потому, что она «каменела от взлему» и от одиночества - ибо никто по-настоящему не мог идти с ней рядом, - но и потому, что внутри самой себя не находила она мира, единства, цельности. В каждом своем порыве Марина Цветаева была бесконечно полной душой, но цельной она не была. Хотя ее главной волей, быть может, была воля к цельности, главной любовью - любовь к цельности, к той самой высокой, все вмещающей, все обнимающей, как взгляд с горы, или с самого неба. Здесь, на земле, она не видела возможности для такого целостного взгляда, цельной любви. Но знала, что «там», где-то в чистой духовности, в замысле Божьем это есть. Это и был ее тот свет, противопоставляемый этому, где все не осуществилось, где все - вполнину. Здесь «вечностью моею правит разминовение минут», а там, там - ничто не правит. Там - Вечность. «Дай мне руку на весь тот свет! - обращалась она к Пастернаку. Здесь - мои обе заняты». «Русской ржи от меня поклон». Однако это «там» противопоставляется не только «низостям дней», не только базару мира, не только другим; оно противоположно и ей самой, поскольку она еще не вся и не до конца живет на той высоте, которую любит, которую чувствует «вечной».

«Тот свет» Цветаевой - зерно грядущей цельности, которое она растит в себе, которое есть ее глубочайшая тайна, ее главная заветная любовь.

А на этом свете она широка... Слишком широка, как сказал бы Достоевский. Безмерность — вот качество, с которым она, кажется, родилась на свет. И крупность, размах души - ее первое пристрастие. Все ее Наполеоны, и Пугачевы, и Царь-девицы - не просто дань романтике. Здесь что-то глубже, органичнее. Крупность личности была залогом возможного преображения, залогом выхода на другой уровень, где зло само отпадет, - туда, в «тот свет», в цельную тихость души. Крупная личность может нести зло, но она не сводится ко злу.

Личность больше своих проявлений. В ней есть что-то, что больше ее самой. Тайна большой души — ее несовпадение с какой бы то ни было однозначностью. Крупная личность чарует. Теряя свою крупность, личность теряет чары...

Для того, чтобы достичь истинной цельности, чтобы достичь своей предельной, до рождения заданной высоты, нужна недюжинная сила, нужна душа, имеющая смелость дерзать. Такой живой и дерзновенной душой была сама Марина Цветаева. Бесконечно противоречивая, вечно не уживавшаяся сама с собой, она рвалась туда, где сходятся все параллели - в Бесконечность, на другой уровень бытия.

Здесь, в мире конечных вещей, сильный давил слабого и становился из прекрасного безобразным. И Цветаева, только что рвавшаяся к победе вместе с героем, становилась на сторону побежденного, как только торжествующий победитель терял великодушие и

чувство сопричастности каждой боли.

Вот эта сопричастность каждой боли, может быть, и была главным в Марине Цветаевой. Это и вело ее сквозь мир, сквозь всякую удовлетворенность, сквозь себя, сквозь все границы - туда, в Безграничность, где сойдутся параллели и «волк будет жить рядом с ягненком».

И вся Марина Цветаева — это апокалиптическое чувство необходимости и неизбежности Бесконечности, прорыва Бесконечности в мир вещей.

Глава 1

ТУЗ ПИК

«Черт сидел на Балериной кровати, - голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога или остзейского барона, глазами в позе неизбывного терпения или равнодушия. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость или даже бритость, из стали выли- тость. Теперь вижу, что тело у моего черта было идеально-спортивное: львицыно, а по масти - догово.

...Главное были - глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнала бы - без всего Действия не было. Он сидел, я стояла. И я его - любила» («Черт»)

Понимайте как хотите. Огромное тире, как удар. Пропать, через которую одним прыжком сердца, разрывая с этим берегом, - на тот Что за берег? Неведомо. Ведомо только, что через пропасть, что чернота, что великая опасность, что вызов всему существу, всему сердцу. И сердце сжато, как пружина, собрало все свои силы и готово к ответу готово ответить всем собой. >

Главный дар феи, положенный в колыбель маленькой Марины была великая духовная отвага, в которой таилась привязанность к духовному подвигу, еще совершенно неведомо какому; но благополучие, но защищенность, но тепло и уют дома - не для нее. Для нее — пиковый туз.

«Пиковый туз у Маши (горничная, гадавшая на картах. - З.М.) был удар. И удар - был. Удар занесенным черным, вверх глядящим сердцем конца алебарды - в сердце».

«...Больше всех королей и валетов я любила - пиковый туз! - пишет Марина Ивановна. - Пиковый туз был — Черт!»

Что это? Любовь к аду? Но где оно, зло? В чем оно? Не было ни в детстве, ни в зрелости, - нигде не было в Марине Цветаевой любви к злу. Была любовь к свободе, к независимости - со всеми вытекающими отсюда следствиями. Другая сторона свободы - незащищенность Другая сторона независимости - ответственность. Чувство, что никто не ответит за мою душу. Душа сама за себя ответит. Причастная Духу жизни, полная Духа жизни, она не позволяла никому и ничему разлучить ее со всей таинственной бездной Духа. Никаких посредников' Непосредственность. Открытость бездне. Открытость силе, которая изнутри, внутренним напором раздвигает и смыкает все границы.

Изнутри бьющая сила, уходящая корнями в неведомые истоки жизни. Душа, с детства привыкшая «глотать раскаленные уголья тайны», никогда не согласится на обмеление - на потерю глубины и внутренней свободы. Она скорее согласится на потерю внутренних ориентиров, на одиночество, на отверженность и отсутствие опоры. Свободный - это тот, кто не имеет никакого внешнего господина. Сам себе господин, и потому свободная душа призвана к битве со всем внешним, посягающим на ее свободу.

В эту битву вступали так или иначе все отважные души. Великими святыми или великими грешниками они становились в зависимости от того, как кончалась битва. Но вначале была битва, духовное брение, бросок в неведомое - без компаса, без знаков, без гарантий. Вначале было великое (трагическое) напряжение борющейся души.

Марина Цветаева рождена бойцом. Её жизнь и творчество - прежде всего битва, духовное брение.

Битва за внутреннюю свободу - угодная Богу битва, даже если это битва с самим Богом. Это парадокс. Но Бог - наше внутренней- шее, тайное «Я». И если Бог приходит извне с намерением победить и принудить внутреннее, он как бы Сам вызывает на борьбу с Собой. Так именно пришел тот библейский ангел к Иакову. И победа ангела над Иаковым была вовсе не победой одного бойца над другим. Иначе в чем была бы честь и слава Иакова?

Нет. Бог рукой ангела как бы потрогал духовные мускулы своего творения - и убедился, что это напряженные мускулы свободного, который отдаст свою внутреннюю свободу только вместе с жизнью. И Богу понравилось сопротивление Иакова. И Он вошел внутрь Иакова, углубив и расширив его душу.

Как, когда почувствовал Иаков, что он не умещается в себе самом? Что тот, с кем он борется - не чуждый, не внешний ему, что это тоже он - и Что внешняя победа над другим ему не нужна? Как и когда он понял, что есть что-то большее, чем его отдельная жизнь?

Это тайна. Но именно так, сквозь эту тайну прошел библейский патриарх. Он не уступил другому и не покорил его себе. Он просто перестал его видеть другим - ввел извне вовнутрь. Вот когда произошла его настоящая встреча с Богом. Любовь к Богу, готовность принять поражение от Бога была условием духовной победы Иакова.

Что такое любовь к Богу и любовь к дьяволу?

Ведь это не так просто определить. Во всяком случае, декларативная любовь к черту девочки Цветаевой не определяет еще ничего.

Черт отождествляется в ней со словом «черта» - переход за черту, чернота, тайна, с каким-то зарядом неведомой жизни. Нечто, заряженное жизнью, как почка. Как сама Природа. Бог же не отождествлялся ни с чем. Это было пустое слово, затверженное всеми; за ним стояло что-то скучное и неживое. Ничего не стояло. Пустота.

Бога не видел никогда и никто. Представить Его себе нельзя. Непредставим. Запределен. Как же Его любить жаркому человеческому сердцу, которому нет дела до каких-то абстракций? Любовь к Добру? Но ведь это опять абстракция.

Фея вложила в колыбель Марины Цветаевой не просто отвагу, она вложила жаркое, до нестерпимости раскаленное сердце. И сказать этому сердцу: люби добро, - значит накормить его вместо хлеба насущного рассуждениями о хлебе. Тут нужно не что, а кто, не представление, а воплощение - жизнь, живой образ. А кругом сплошные представления, наставления, прописи - и ни одного живого образа, способного заполнить сердце. Где взять «бокал по жажде, сей из- жаждавшейся меж чаш?» («Ариадна») Кругом - наперстки. И вот вдруг - этот, как бы понимающий тайну ее неровно бьющегося, выскакивающего сердца. Может быть, единственный вполне живой, 'единственный бесстрашный, что-то такое в себе несущий, чего ни у кого нет, без оглядки ни вверх, ни вниз, ни от кого не зависящий; этот совершенно, божественно независимый, некто из стали отлитый, с глазами, уводящими в бездну, - сам себе князь... Вот он - тот, кто может

заполнить сердце. Ощущение от него было, как удар, туз пик. «Он, сгустившийся до черноты и сократившийся до клинка. Он, собравшийся в удар, как тигр - в прыжок. Позже и этого стало много, позже удар с сердца, на котором лежал, перешел - в сердце. Изнутри меня - шел, толкая - на все дела» («Черт»).

Черт - однако «чертовщины» в нем не более, чем у собаки: может укусить, и жестоко, а может и другом стать, если полюбишь ее, сроднишься с ней.

Бог. Собачий бог. Не человеческий - звериный. А кто заставит детское сознание поверить, что зверь ниже человека? Зверь живет, опаснее и - роднее. Он приближается к родной стихии - досознательной, до добра и зла, к темным истокам жизни.

Говорят, что это враждебно Богу? Но Марина Цветаева не верит:

«Бог не может о тебе низко думать - ведь ты же когда-то был Его любимым ангелом! - обращается она к своему Мышатому. - И те, видящие тебя в виде мухи, Мушиным князем, Мириадам мух, - сами мухи, дальше носу не видящие».

Тварь, наполненная, переполненная жизнью, обретшая всю полноту, - это и есть цветаевский черт, Дог, зверь, Пугачев, Наполеон...

Но неужели в нем (в них) совсем нет зла? И что же такое зло, и откуда оно в мир пришло?

Оно пришло все-таки через них. Хотя они сами не есть зло. Первоначально они прекрасные творения, созданные еще до добра и зла. Они полны жизнью, и все. Они - свободны. И они защищают свою свободу, вступая в битву со всем внешним.

Но настоящая духовная битва - это не битва внешнего с внешним, твари с тварью. Это битва внутреннего с внешним. И победа или поражение вовне, в одной плоскости бытия, очень мало здесь значат. Может быть, ничего не значат. Значимо другое: произошел ли переход из внешнего пространства во внутреннее, произошло ли расширение внутреннего пространства или сужение его? Подчинился ли дух внешнему господину или остался внутренне свободным?

Как часто внешний победитель теряет внутреннюю свободу, и напротив, - побежденный внешне остается совершенно свободным внутренне!

Дьявольщина - это победа внешнего над внутренним.

Первый Божий ангел по замыслу своему - тварь, способная бесконечно расширять свою внутреннюю свободу, до вмещения всего сущего внутрь. Ему дана сила для такого бесконечного расширения души и вмещения духа. Но он присвоил себе эти силы для внешнего господства над другими тварями. Он внешний победитель, - но он оторван от своей же глубины, от общего всем единого источника жизни. Он уже не несет жизни внутри себя. Он живет за счет других, отбирая жизнь у других. Вот когда в мире появляется дьявольщина и злоба. И начинают плясать по миру бесы - самые разные. Есть среди них и мелкие. Князь мира сего в иных случаях (и очень распространенных) сам унижается до мухи, становится пошляком, как черт Ивана Карамазова, всем ужасом пошлости, даже не умещаемым ни в какую отдельную личность, как в царстве Гоголя. Это так. Но это другой разговор. А Марина Цветаева видит князя еще во всем его княжеском достоинстве, может быть, еще в самом начале его богоборчества, когда он, как библейский Иаков, еще был угоден Богу своей отвагой, дерзновением своего сердца.

Любовь к Богу Марине-девочке (и не только девочке) навязывали. Навязывали не умевшие любить. Во всяком случае, - с цветаевской точки зрения - не умевшие. Для нее любить - значило дать любимому распорядиться «на все стороны жизни моей».

Кто же из любящих Бога дал Ему жить в себе? Кто воплотил Его?

Она таких не видела. Говорили о любви к Богу все, кому не лень, а не воплощал никто. И

что такое воплощенный Бог, она не знала, не представляла себе и представить не могла. Иное дело - любимый Божий ангел, он соизмерим с сердцем, соприроден ему. Его она ощущала. И - любила, как бы восстанавливая тот домирный порядок, когда самый прекрасный и был прекрасным, и никаких страшных последствий из этого еще не вытекало.

Он был живым - и только. Был самой природой. Противостоял он только мертвечине. И это противостояние было мужественно, чисто и прекрасно. Он делал что угодно, только не застывал, не остывал, не останавливался. Вечное движение, вечный бег.

Самого Бога Марина Цветаева увидит впоследствии как такой вечный бег, вечное движение жизни - Дух, сквозящий в мире, сквозь все, что стоит — насквозь!

Этот вечный бег - где-то, по ту сторону всех названий и определений. Он не определяется добром или злом. Он сам определяет их. То, что содержит в себе максимум жизни, тот напор, который разворачивает почку бытия, злом быть не может - такова интуиция цветаевского сердца.

Человеческая мысль, человеческие представления не в силах поспеть за этим вечным бегом. Для того, чтобы определить нечто, мы останавливаем его. Останавливаем Бога и превращаем Его в кумир. Останавливаем черта и превращаем его в символ абсолютного зла.

Но то, что мы остановили, уже не То, а след того. Оно уже умерло в нашей руке. А живое... Живое - вне нас. Опять - далеко. Опять надо догнать его. Духовная реальность - жива и в руки (и в мысленные определения) не дается.

И духовно чуткий католический священник, советовавший «маленькой славянке» «быть ваятелем собственной души», действовал на Цветаеву так же, как загадочный Мышатый, - расправлял ее душу. Этот священник не хотел, чтобы она старалась любить Бога (и тем самым мешала живому ростку любви пробиваться в ней). Он отсылал ее в простор духовного одиночества.

Ее душа, ее любовь была там, где простор. И если в мире было мало простора, она была вместе с бунтарями, раздвигающими пространства.

Черт Маринино детского злом не был. Он был благородным и одиноким. Он был великим одиночеством, одиночеством живого сердца, тем, кому она была «обязана зачарованным, всюду со мной передвигающимся, из-под ноги рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыхание растяжимым, все вмещающим и всех исключаящим кругом своего одиночества». Этот грозный дог - собачий бог ее детства - Мышатый - всегда вырывался из толп, из стад, как огонь из рук. Его нельзя было найти на мессах, ни на белых, ни на черных.

«Ни в церквах, ни в судах, ни в школах, ни в казармах, - там, где право - тебя нет, там, где много - тебя нет».

«Если искать тебя, то только по одиночным камерам бунта и чердакам Лирической Поэзии» («Черт»).

Нет, Бог не может низко думать о своем любимом ангеле. Не может!

Бог дал ему слишком много сил, слишком много возможностей и ждет, чтобы они осуществились. Личность, формируясь, растя, защищает свою внутреннюю жизнь от всего внешнего, мешающего росту. На этой стадии закрытость и противостояние оправданы. Они служат внутреннему. Рывок, бунт могут быть прекрасными, когда это бунт против всякой застывшей формы, когда это защита жизни.

Вот только бы бунт этот не перешел в инерцию бунта, в убежание от своей сути. Тогда это

не защита жизни, а инерция защиты, в которой жизнь разрушается.

Так или иначе, но собачий бог, - зверь - природа - естественны и другими быть не могут.

Они могут быть прекрасны. Ими можно зачароваться. Но вот добры ли они?

Собачий бог на небе не живет. Он живет на земле. По земным законам. Он не добрый. Он - живой. И только.

И он перегрызает глотку всякому, кто станет на его пути, этот собачий бог... Этот собравшийся для прыжка тигр, - он ведь прыгнет, и разгуляется стихия по просторам российской земли, и хлынет с чердаков лирической поэзии... И не пожалеет никого, как не пожалела когда-то Евгения с его Парашей, как не пожалела капитана и капитаншу Мироновых, как... да несть числа тем, кого не пожалела разгулявшаяся стихия... Молодец, сказочный Молодец, краше которого нет, - УПЫРЬ, нечисть. И все-таки Молодец, краше которого нет. И девушка, увидевшая в своем суженом упыря, не разлюбила, не разочаровалась. Чары не рассеиваются при виде страшной, ледящей сердце правды.

Здесь уже нельзя сказать: в нем нет зла. Есть - и еще какое! И влюбленная в Молодца Маруся зло видит и в зле соучаствует. Она вовсе не тянется к злу и не любит зла, как многие герои Достоевского, созерцающие в себе две бездны. Нет, Маруся от зла в ужасе. И тем не менее разлюбить злодея не может. Зло, увиденное во всей наготе (грызущий горло упырь), все-таки держит ее душу в плену. Молодец остается ее любовью. «Одно сердце на двоих». Так она чувствует. И упырь сам оказывается невольником зла. Они - пара. Оба краше всех, оба жарче всех. Оба - заколдованы. И с обоих это вовсе не снимает вины, ибо в зле участвуют. Зла не любят, но в зле участвуют.

Есть еще один «Молодец», любимый Мариной Цветаевой, - Пугачев. Гринев чувствует в Пугачеве большую и даже благородную душу; чувствует, что не погибла душа окончательно, что в ней борются добро и зло. В Пугачеве - «Истории пугачевского бунта» - добра нет. Одно зло. Его любить нельзя. А в «Капитанской дочке» - можно. И Гринев любит. Но - в зле никогда не участвует. Он любит, но не заморожен и не поглощен Пугачевым. Он, любя, противостоит ему. И его противостояние - может быть, единственный шанс на спасение души Пугачева.

Во всяком случае, Пугачев именно эту непоколебимую верность Гринева самому себе больше всего любит.

И вот как-то так получается, что Гринев умудряется соблюсти двойную верность. И Пугачеву - любви, и императрице - долгу.

У Маруси этого не получается. Она ни в чем не противостоит Молодцу. Что он хочет, то и делает. Они соучастники зла. Оба творят зло, которого не любят. Но все-таки творят. Оно на их совести. Но ведь совесть усыплена. И Маруся, и Молодец усыплены, зачарованы. Не вольны в себе. Ими распоряжается стихия. Они суть стихия.

Если бы они были только стихией! Тогда с них не было бы спросу. Стихия невиновна. «Знай, что невинен, знай, что не волен», - говорит Молодец. Но ведь и он и она - не только стихия, они еще и люди. И как люди - ответственны. Хотя ответственность того, кто злом упивается, и того, кто ослеплен и обезоружен злом, - разная.

Если бы герои сознательно и свободно творили зло, поэма была бы сатанинской, Молодец и Маруся - детьми дьявола.

При обсуждении этой поэмы Борис Пастернак разошелся во взглядах с Анастасией Ивановной Цветаевой. Сестра Марины считала, что в поэме есть сатанизм, а Борис Пастернак это отрицал. Марина Цветаева тогда, в двадцать шестом году, чувствовала как

Пастернак - и обвинение в сатанизме решительно отметала.

Сатанизма действительно нет, любовь ко злу в поэме начисто отсутствует. Но служит ли ее создатель высшим добрым силам?

Это неизвестно. Силы добра и зла перемешаны, перебиты, как жгуты, обойтись друг без друга не могут. И это сплетение и есть жизнь. Стихийная жизнь.

В первой части поэмы-сказки Маруся, мятущаяся между жизнью и добром, изнемогает, отказывается от добра и открывает все двери стихии, одновременно прекрасной и ужасной. Но если в первой части Маруся чувствует себя побежденной и поработанной стихией, то во второй происходит нечто другое. Она освобождается.

Не от власти стихии над душой. Нет! — От своего сопротивления этой власти. Она, наконец, сливается в одно с этой неведомой, темной, неодолимой силой. И чувствует ее право - быть такой, какая она есть: быть жизненной силой - и только.

Героиня дорого заплатила за свободу души, свободу любви. Немыслимо дорого. Но когда в конце поэмы она улетает с Молодцем в огонь-синь, совершается что-то неизбежное, то, что не могло не совершиться. И ничего кроме освобождения, кроме красоты полета, душа не ощущает. Стихия сметает все плотины и освобождает душу от оков и гирь. Куда она ведет - неведомо. Ведомо, откуда уводит. - Из полужизни. Из вечного сна. Так, как флейтист вывел и крыс, и детей из Гаммельна (поэма «Крысолов»), Гаммельн - энтропия, инерция жизни, а не живая жизнь. А куда ведет флейтист? Куда бы ни вел, но уводит, выводит оттуда, где дышать нечем.

Он меняет стопудовые гири на крылья. Куда они залетят? Неизвестно.

«Борис, мне все равно, куда лететь, - пишет Марина Цветаева Пастернаку. - И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность)». Так она себя оценивает, растерявшись перед чем-то, опрокинувшим все знакомые мерки. Но как это ни оценивать, — это неизбежно. Душе надо вылететь из омертвелой формы, как бабочке из куколки... Она не выбирала зла. Но стихия, в которой смешивалось и добро и зло, выбрала ее. И душе нельзя было не взлететь, не вылететь на простор.

То, что произошло, не могло не произойти. И нравственность здесь обязана замолчать - не потому, что она не имеет права говорить, не потому, что она выше или ниже поэзии. Ей просто нечего сказать. Она бессильна. Она не несет в себе жизни. А то, что не несет в себе жизни, не несет нравственности...

Трагический перекресток...

Во втором рождении Маруся из всех сил хотела быть нравственной. Выбрала нравственность. Она - добропорядочная жена и мать. Но все стихийные силы в ней дремлют. Она ведет дремотное существование многих и многих, строящих свои дома на вулкане. Но... вулкан выбрасывает пламя, и - земля и небо меняются местами. Мира больше нет, тверди больше нет. А что есть? Огонь. И душа, вылетающая в родной простор, в стихию - домой!

Не было здесь на земле простора огню, не было полноты жизни.

И до той поры, пока полнота жизни не будет воплощена, - земля будет чревата взрывами, великими и смертоносными...

Никто их не узаконивает, не оправдывает. Марина Цветаева только провидит их. Видит их неизбежность.

Катастрофы XX века наступили оттого, что все равновесие довоенной жизни было непрочным, ненадежным, поверхностным, и карточный домик цивилизации развалился от первого же толчка.

Так же, как и равновесие добра и зла в отдельной душе человеческой...

Какой же выход? И есть ли он у человека? У человечества?

Первый ангел, самое совершенное творение, дерзнувшее овладеть огнем, оказался носителем зла. Что же - отказаться от огня, от стихии? Но это равносильно отказу от жизни. Жить без огня, жить без энергии, без жизни - нельзя. Так - не жить? Или жить и искать что-то третье? Возможности истинного прочного равновесия духа и плоти, добра и стихии?

Огонь жизни не может быть грешен - вот что знала глубинным - пророческим - поэтическим знанием Марина Цветаева. Сновиден-ным знанием, «отродясь» знала. Верой. Верила в жизнь. И верила в Дух. И потому чувствовала, что жизнь и чистая духовность должны были слиться в одно.

Нет, не гасить огонь, а сжечь все темное и выйти в белизну света. Дорости до белого накала.

В письме Пастернаку в 1926 году она писала о трех видах огня, которые соответствовали для нее трем степеням любви. Огонь и есть любовь. Но есть огонь, который хочет только плоти и вполне насыщается плотью. Это «огнь-ал (та, с розами, постельная)», чувственная, самая поверхностная любовь.

Это для Марины Цветаевой вообще «не в счет, не любопытно».

Проблема начинается с другого огня - любви к душам, души - к душе. Огромная, стихийная, неукротимая ничем сила, пламя, сжигающее все, что встанет на пути его, - огонь-синь. Так она его называет. Синий, как небесная лазурь, так любимая ею, а может быть - и как адское пламя... Этот огонь одновременно и одаряет жизнью, и отбирает жизнь. Кого-то одаряет, у кого-то отбирает. А может быть - одну и ту же душу он и наполняет всем жаром жизни, и убивает. Одновременно. Это уровень страстей, уровень многобожия и трагического выбора между богами. Это уровень Маруси и Молодца. Огонь этот нуждается в пище, как упырь в свежей крови. Кого-то он сжигает, и остаются в пространстве «огромные лоскутья пепла» (то же письмо). Да, это не только пламя жизни, но и пепел смерти. И душа содрогается. Ей надо выбирать между жизнью и добром. Отказаться либо от жизни, либо от жалости и добра. Не жить - или жить по законам дикой природы - леса, зверя - силы, а не добра.

Марина Цветаева в ужасе от законов дикой природы. И в то же время чувствует их у себя в крови.

Это непримиримое несоответствие всей ее жизни. Всю жизнь она отшатывалась от одного берега к другому и потом делала обратный рывок.

Возможно ли не рваться на части? Возможно ли быть вполне живым и совершенно неподвластным злу, жить не по природным, а по иным законам?

Сейчас, в двадцать шестом году, обсуждая с Пастернаком своего «Молодца», она верит, что это возможно. Кроме алого и синего огня она видит внутренним оком еще третий - белый - любовь к Богу. Чистое пламя без дыма. Огонь без пепла. Огонь, который не оставлял после себя черных пожарищ. Горение Духа, свечение Сути, ни в чем внешнем не нуждающееся. Этот огонь сам собой горит, сам из себя горит... - Неопалимая купина. Светоносный столб жизни, не сжигающий никого. Этот белый огонь «силой бел, чистотой сгорания». Он потому и бел, что в нем нет ничего, не слившегося с ним самим, отделяющегося от него, выпадающего в осадок. Он - всё. Всецелость души. Дух.

Вот он — выход.

Сердце ее как бы знает, что великая задача жизни имеет ответ, но он не найден. Задача не

решена, и однако, решение - возможно. Ответ, выход брезжит сквозь мир - в заочности, за оком есть тайная слиянность всего явно разрозненного. Этот неведомый глазам и всем ее пяти чувствам выход живет в ней как жажда, как насущнейшая необходимость — Бог. Он - далекий, не найденный, но вечно искомый и вечно зовущий. Образ Божий возникает из великой алчбы. Душа видит его, как видят путники оазис в пустыне. Мираж? Да, может быть. Здесь, вблизи, сегодня этого нет. Но там, вдали, в Вечности - есть. Кроме дня, внутри дня есть Вечность. Внутри нас есть нечто непреходящее, непреходящее. Это душа знает. Бездоказательно и неопровержимо.

Есть. Но на той глубине, на которой мы обычно не живем. Это наше внутреннейшее, но мы разделены с нашим внутреннейшим. Мы живем на поверхности самих себя. Чтобы приблизиться к Вечности, надо жить глубже, войти в свою глубину!

Огнь-синь... Пламя жизни. Надо довериться огню. Надо гореть и знать, что огонь сам себя высветлит. Сгори дотла и очистишься пламенем!.. Но на самом ли деле огонь очистит душу? А не погубит ли? Он ведь может и жизнь отнять, и душу погубить... Можно ли доверять огню? - Можно и нужно. Нельзя не доверять, - так чувствует поэт. А человек цепенеет, человек не знает. И готов отшатнуться.

Пожар может быть захватывающе прекрасен. Он зачаровывает. Но ведь это - пожар, бедствие! Буря на море, гроза в лесу - все это красота, способная довести душу до экстаза. Но ведь это гибель!

Можно ли доверять гибельной стихии? Можно ли идти ей навстречу? Марина Цветаева мучилась этим вопросом всю жизнь. Но пока человек побежден поэтом, он верит в неведомые пути поэзии и идет за поэтом. Как бы страшна ни была стихия, она выведет душу на простор, в Вечность! И своего Молодца Цветаева сравнивает с Орфеем — богом песни, духом поэзии.

«...Не смейся опять! - пишет она Пастернаку, - сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло — верно».

В 1926 году времени не было додумать, но продумывала это потом всю жизнь. А сейчас - просто поверила. И - видя на далеком горизонте белый огонь, ринулась в огнь-синь.

Глава 2

ВЕРНОСТЬ ОГНЮ

Не Муза, не Муза
Над бедною люлькой
Мне пела, за ручку водила.
Не Муза холодные руки мне грела,
Горячие веки студила.
Вихор ото лба отводила - не Муза,
В большие поля уводила - не Муза.
Не Муза, не черные косы, не бусы,
Не басни, - всего два крыла светло-русых
- Коротких - над бровью крылатой.
Стан в латах.
Султан.

(«На красном коне». Поэма)

Суровый вожатый Марины Цветаевой, ее бессмертный возлюбленный - сам огонь. Жизнетворный огонь, прекрасный и ужасный одновременно, чарующий до полного самозабвения и ужасающий до столбняка. Он не нянчился с нею.

К устам не клонился,
На сон не крестил.
О сломанной кукле
Со мной не грустил.
Всех птиц моих - на свободу
Пускал – и потом - не жалея шпор,
На красном коне - промеж синих гор
Гремящего ледохода!

Вот он, тот, ради которого она оставила все и всех, к которому она со смертного одра ринется. Вот он:

Пожарные! - Широкий крик!
Как зарево широкий - крик!
Пожарные! - Душа горит!

Горела душа и одновременно горел дом: «не наш ли дом горит?» И кто вынес девочку из этого пожара, она не знает — нет, знает, кто зажег пожар, тот и вынес:

Кто вынес? — Кто сквозь гром и чад
Орлом восхитил? — Не очнись!
Рубашка — длинная — до пят
На мне - и нитка бус.

Она цела. Цела в огне. Кругом огонь, и это - высшая полнота жизни:

Пляша от страшной красоты,
На красных факелах жгуты
Рукоплещу, — кричу — свищу —
Рычу - искры мечу.

Она ничего не помнит, ничего не знает. Нет ни мыслей, ни прошлого, ни будущего. Есть Огонь! Он стал видимым, тот, кто под стать огню ее души. Ее внутренний огонь выпущен на свободу. Вот она - та птица, которую выпустил Он, мчащийся на красном коне - огонь!
И - вдруг:

Бешеный всплеск маленьких рук
В небо и крик: — Кукла!

Девочка оглянулась, опомнилась. У девочки, оказывается, все-таки есть еще какие-то

привязанности: кроме неистовой любви к Нему есть еще что-то. И вот оно, первое раздорожье, первая раздвоенность. Но

Кто это — вслед — скоком гоня
Взор мне метнул — властный?
Кто это - вслед — скоком с коня
Красного — в дом — красный?!

Он же. Он:

Вздымая куклу, как доспех,
Встает, как сам Пожар.

Для чего он спас куклу? Чтобы порадовать девочку? - О, нет! Для того, чтобы она сама, добровольно принесла ему эту привязанность в жертву:

Как Царь меж огненных зыбей
Встает, сдвигает бровь, -
Я спас её тебе, - разбей!
Освободи Любовь!

.....
Что это вдруг рухнуло? — Нет.
Это не мир рухнул!
То две руки - конному - вслед
Девочка - без - куклы.

Так начинаются ее вечные «без», ее привязанность к потерям.

... Нет имени моим
Потерянностям
.....
...— выросшая из потерь!
(«В глубокий час души и ночи»)

Потери эти - добровольны. Потери эти - дар ему, ее гению, мчащемуся на красном коне, как святой Георгий. Но Георгий - святой, змееборец, безусловное добро. А что такое ее гений?

Чтобы разглядеть, надо остановить его. Кто он? Какой он? Чему он принадлежит - добру или злу? Хоть какая-нибудь определенность. Хоть что-то, вмещающееся в понятия. Но...

То вскачь по хребтам наклонным,
То — снова круть.
За красным, за красным конным,
Всё тот же путь.

То - вот он! рукой достанешь!

Как дразнит: Тронь!
Безумные руки тянешь.
И снегом — конь.

Султан ли — в глазах — косматый,
Аль так — ветла?
Эй, рук не складайте, сваты!
Мети, ветра!

Мети, громозди пороги –
Превыше скал,
Чтоб конь его крутоногий
Как вкопан — стал.
И вот, наконец, на пути у коня стоглавый Храм. Кажется:

Конец и венец погоне!
Уж в лоб, треща,
Мне пламень подков, в ладони —
Уж край плаща!

Сейчас остановится, и будет ясно - от добра он или ото зла... Но не тут-то было! Этот плащ в руки не возьмешь. Этого коня не остановишь, даже когда:

На помощь, с мечом и громом
Всех Воинств Царь!

Конь влетает прямо в алтарь. Проносится с грохотом по хорам. И - где он?!

Как рокот Сорокоуста,
Метель взмелась:
Престол опрокинут! — Пусто!
Как в землю сгас!

Рушится храм и рушится, падает навзничь тело лирической героини. Оно распластано, оно крестом раскидывает руки. Оно распято. И душа просит Христа, распятого за нас, принять весь се огонь. Всю свою ревность она отдает Ему, Тишайшему. Она принимает потерю и боль, как дар. И в этот-то молитвенный час - вдруг:

Но что — с высоты — за всадник,
И что за конь?
Доспехи на нем - как солнце...
— Полет крутой —
И прямо на грудь мне — конской
Встает пятой.

Что это значит?

Ее желание добра, ее противоборство стихии - это пока что ее желание, и неизвестно еще, есть ли Божественная воля там, где ее видит человеческий разум и сердце. Может быть, иногда и воля к добру бывает своеволием и что-то огромное, большее, чем все понятия, чем вся своя воля, снова опрокидывает нас?..

Как бы там ни было, но когда, собрав все свои силы, героиня идет в битву с неведомым Всадником, когда, собрав все свое белое воинство, на белом коне выступает против того, огненного, когда армия духовная готова на смерть («Солдаты! До неба - один шаг: Законом зерна - в землю») — вдруг — новый поворот:

Солдаты! Какого врага — бьем?
В груди холодок - жгуч.
И входит, и входит стальным копьем
Под левую грудь - луч.

Сквозь добро и зло, сквозь обретения и потери, пожарища и церкви, сквозь жизнь и смерть, красное и белое, сквозь все цвета — Свет!

И шепот: Такой я тебя желал!
И рокот: Такой я тебя избрал,
Дитя моей страсти — сестра — брат —
Невеста во льду — лат!

«Во льду — лат» - чтобы соответствовать ему, надо бороться с ним, померяться с ним силами. Ему не нужна ее слабость. Ему нужна ее Сила. Все своей силой она присягнет ему в верности. Как только почувствует в нем Высшее Начало, как только душа ее прозреет сквозь боль, сквозь рану, что перед ней — Свет. Тогда:

Моя и ничья - до конца лет.
Я, руки воздев: Свет!
- Пребудешь? Не будешь ничья, - нет?
Я, рану зажав: Нет.

Свет. Он пришел совсем не оттуда, откуда его ждали. Без знамений. Вопреки предсказаниям. Он пришел, как приходит реальность, перечеркивая все мечты, представления, ожидания. Не теплый, безопасный, греющий, ласковый свет. Нет, это Свет, который сочится из раны, свет, который пронзает насквозь. Вот какому свету верна Марина Цветаева. Изменить ему - значит изменить своей сути. И однако, - какая бесконечно трудная верность. Каждый миг ее отмечен жертвой, каждый шаг - борьбой:

Не Муза, не Муза - не бранные узы
Родства, - не твои пути,
О Дружба! - Не женской рукой, - лютой
Затянут на мне - Узел.
Сей страшен союз. - В черноте рва
Лежу,- а Восход светел.

О кто невесомых моих два
Крыла за плечом —
Взвесил?

И впрямь — кто взвесил?

Верность свету оборачивалась миллионом неверностей. Путь отыскивался на ощупь в темноте по брезжущему лучу, пересекая все заповеди. И сколько камней вслед!..

Ничей суд правомочным она не признавала. Но сама себя - судила. И этот суд был правомочен.

Однако об этом речь впереди.

А сейчас - о том, кому верна, о бессмертном Возлюбленном, мчащемся на огненном коне, об этом неуловимом, неостановимом. Это он или не он - тот, в церкви, в оконнице, возле изнемогающей от борьбы Маруси? Тот или не тот?

Грянули стёклы:

Рдяные копны!

Полымем — пёклом,

Полным потоком

Огнь — и в разлете

Крыл - копия

Яростней: Ты?!

-Я!

(«Молодец». Поэма-сказка)

Но ведь это - нечисть. Упырь! Разве он похож на Всадника, вооруженного лучом? Ясно только одно: сила захвата одинаковая! Неодолим.

Та — ввысь,

Тот — вблизи:

Свилисьь,

Взвилисьь:

Зной - в зной,

Хлынь — в хлынь!

До-мой!

В огонь-синь.

Что они будут делать там, в синем огне? - задает вопрос Марина Цветаева в том же письме Борису Пастернаку, и сама же отвечает: «Лететь в него вечно».

Что это, хорошо или плохо?

— Это неизбежно.

И пока неизбежно - не судимо. Нет тех судей, кто взвесил два невесомых крыла. Судить будет власть имеющий.

Или это будет Смерть, - если адский вихрь закрутит в безостановочном полете до полного изнеможения, до иссякания всех сил; если вихрь действительно никуда не приведет, если он окажется самоцелью.

Или вихрь окажется лишь средством, путем, тем крылом, которое вынесет в великий

простор чистого Духа. И тогда власть имеющим окажется Свет - Белый Огонь. «Белый (Бог), может быть, силою бел, - пишет Марина Цветаева далее, - чистотой сгорания?» А что такое чистота сгорания? «Чистота, которую я неизменно вижу черной линией (просто линией). То, что сгорает без пепла – Бог».

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошел.
.....
Державным деревом в лесу нагом –
Сначала деревом шумел огонь.
Потом, под веками - вразбег, врасплох
Сухими реками взметнулся Бог.

Бог - костяк, суть, - то, что не меняется, не переходит То на что нарастает плоть, мякоть, лист.-Вечно меняющееся, находящееся в постоянном круговращении.
Цвет присущ изменчивому миру явлений. Суть не цветная Она черная или белая. Черная линия и белый свет. Свет, а не цвет:

Не краской, не кистью!
Свет - царство его, ибо сед.
Ложь - красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.
Цвет, попраный светом.
Свет - цветую пятою на грудь.

Пятою на грудь... Прямо как тот Конь на распростершееся тело. Как копьё Всадника, ерзе луча, пронзающего грудь насквозь. Или как Вакх, перечеркнувший своим явлением всю жизнь Тезея. «Пятою на грудь», всегда пятою на грудь. И пята Высшего - пята любимого - тяжела! Ее надо уметь выдержать. Это Высшее приходит к Тезею в момент полного счастья, в момент, когда он думает, что большего чем этот миг нет и быть не может, в момент кажущегося земного всемогущества. Он клянется в верности спящей Ариадне. Он уверен, что защитит ее от всех сил земных и небесных, что никто и никогда не разорвет их союза:

Будь то хоть сам Зевес
С Мойрами вкупе —
Сих не сниму желез!

И в этот-то момент появляется Свет и из Света - Голос:

Вакху - уступишь.

Кто это говорит? Тезей растерян.

Зачаровывающий сердце
Звук - кифарой в ушах звенит!

Кто ты?

Голос:

Девы и Миродержца
Сын - невесты твоей жених
Предначертанный.
(«Ариадна»)

Так начинается узнавание высшего и борьба с ним сердца, изнемогающего под его пятою. Сердце хочет сбросить эту пяту, хочет битвы, но оно сражено еще до битвы, оно - зачаровано. Как только человек прозревает, что перед ним «вдохновения грозный бог», его охватывает священный трепет. Он немеет, на все лады повторяя одно единственное имя:

Вакх!
Двусердый и двуедонный!
Вакх!
В утробе мужской догрет.
Вакх!
Не женщиною рожденный,
Вакх!
Но дважды узревший свет.
Тот, чьей двойственностью двоится
Взгляд у каждого, кто прозрел.
Вакх!
Раздвинутая граница!
Вакх!
Пределам твоим предел.

Молодец и всадник на красном коне имели зримый образ:

Два крыла светло-русых, —
Коротких - над бровью крылатой.
Стан в латах, Султан.
(«На красном коне»)

Образ Молодца двоится: то прекрасный сказочный богатырь, то ужасный упырь, но и тут зримый, осязаемый...

Вакх незрим и неосязаем, и однако ощутим так ясно, как не ощутимо ничто, имеющее плоть. Он разрезает тьму. Он раздвигает границы.

В миг встречи человека и божества высекается огонь из сердца. Это миг творчества, миг рождения новой плоти. Соппротивление человека божеству - это сопротивление материала. Он не хочет изменяться. Он хочет остаться таким, как был. Но божество показывает ему шаг за шагом, как ничтожно и обманчиво, как минутно и ненадежно то, что он считал великим, вечным и истинным. И человек видит и - сдается. Постепенно, с великим

трудом. И однако добровольно сдается.

Перед глазами ничего, только свет. Но это внутренний свет, как бы взошедший в сердце, свет, который освещает новый, всепобеждающий, не вмещающийся в прежние мерки, образ:

Верховод громового хора, —
Все возжаждавшие, сюда! —
Одаряющий без разбора
И стирающий без следа.

Лицемеров, стоящих одадь, —
Бич! То воркот ушам, то рык.
Низшим — оторопь «я» и одурь.
Высшим — заповеди язык.

И не до у меня, ни дальше!
Ни сетей на меня, ни уз!
Ненасытен - и глада алчу:
Только жаждою утолюсь.
(«Ариадна»)

Силы человека и бога несоизмеримы. Но Вакх не меряется силами с человеком, не принуждает, не приказывает. Он только озаряет и убеждает. И только потому его явление воистину божественно. Сердце свободно. И если оно покоряется божеству, то только по доброй воле.

Между страстью калечащей
И бессмертной мечтой,
Между частью и вечностью
Выбирай - выбор твой!

Говорит Вакх и прибавляет, зывая к высочайшему в Тезее:

Уступи, объявший много,
Деву - богу.

Тезей чувствует Вакхово божественное право, но еще стонет в нем поверженный человек. Стонет и не понимает: его невеста, его любимая оказывается до рожденья предназначена Вакху, и от него, Тезея, зависит — исполнится ли высшее предназначение, будет ли она богиней или останется смертной женщиной. Стать достойным бога, достойным его доверия, трудно. Может быть, совсем непосильно. Нужна полная отрешенность от всего человеческого, но ведь и Ариадна человек и —

От алчбы моей жадной
Ей вовек не очнуться!

- говорит Тезей, а Вакх отвечает:

У моей Ариадны
Будут новые чувства.
Мужа знавшая рядом
Божества не восхощет!

всплескивает человеческий голос.

У моей Ариадны
Будет новая ощупь.

- парирует бог.

Я - сквозь жертвенный ладан!
Я - в дурмане ночей! –
У моей Ариадны
Сих не будет очей...

И что бы ни говорил человек, перевешивает, перекрывает бог:

Новый образ и новый
Взгляд и новая суть...

Это звучит как в храме «Се творю все новое»

Не в пределе мужском
Выше сил человеческих –
Подвиг!

- шепчет человек.

Стань божеством.

- отвечает бог.

И сердце человеческое расширяется до божественности и постепенно затихает:

Нет моей Ариадны,
Кроме Вакховой!

И на это последнее отречение - Вакхово слово - вослед уходящему Тезею:

Бог!

Предел мужской и человеческий перейден. Верность Огню и Свету ведет сердце сквозь все образы, сквозь все внешнее, через жертву, через отказ от своеволия - в неведомую глубину - в вечность.

Глава 3

ЗАГАР ВЕЧНОСТИ

Отказ от низшего, частичного, временного и порыв к высшему, полному, вечному показан Цветаевой с такой силой, что не оставляет места для сомнений. Мы вложили персты в рану. Мы удостоверились. Поэтическая и духовная достоверность встречи, преображающей душу, полная. Тезей (сама Марина Цветаева) прикоснулся к Вечности, удостоился мистической встречи, от которой у него (у нее) на всю жизнь, во всю душу - ожог. «Загар вечности» дочери Иаира⁸, побывавшей в потустороннем мире. Душа поражена вечностью, ее теперь будет отовсюду тянуть туда:

В просторах покроя —
Потерянность тела,
Посмертная сквозь.
Девушка, не скроешь,
Что кость захотела
От косточки врозь.
.....
Сказал — и воскресла,
И смутно, по памяти,
В мир хлеба и лжи.

Но поступь надтреснута,
Губы подтянуты,
Руки свежи.

И всё как спросонья
Немеют конечности.
И в самый базар

С дороги не тронется Отвесной. —
То вечности Бессмертный загар
(«Дочь Иаира»)

В том же письме к Пастернаку, где Цветаева сравнивала своего Молодца с Орфеем, она писала, что в отличие от Орфея, который зовет Эвридику жить, ее герой зовет Марусю НЕ жить. «Оттого она (я) так рванулась». И добавляет, если бы она была на месте Эвридики, то ей было бы стыдно жить. Жизнь ощущается здесь, как нечто поверхностное, грубое по сравнению с той духовностью, которой веет от загадочного жителя иного мира. И, конечно, «не жить» не есть простое отрицание жизни. Это рывок от жизни чувственной, пестрой, сочной, грубой в какие-то разреженные пласты бытия - в тот самый свет, который просвечивает сквозь цвет; дух, который как бы виден сквозь плоть. Душа познала, что главная ценность жизни находится

за ее видимыми пределами. Смысл жизни глубже жизни.
Чувство этого, словно прожегшего душу насквозь, смысла жизни и есть «загар вечности». Его уже не смоешь. Он проступит всюду, всегда. Душа, побывавшая в высшей реальности, отмечена ею, как те, кто побывали в царстве смерти и каким-то чудесным образом возвращались к жизни.
Христос воскресил дочь Иаира, и она стала как будто такой же, как все девушки. Но это лишь «как будто». На самом деле она только «привыкает», только «свыкается» с жизнью и тоскует по Вечности.

Привыкнет - и свыкнутся,
И в белом, как надобно,
Меж плавных сестер...

То юную скрытницу
Лавиною свадебной
Приветствует хор.

Рукой его согнута,
Смеется — всё заново!
Всё - роза и гроздь!

Но между любовником
И ею — как занавес
Посмертная сквозь.

Между любовником и ею - Вакх. Свет и Голос из Вечности - сквозящие, скрытые от смертных глаз дали.
И теперь каждый любовник как бы соотносится с Вакхом. И каждый - меньше. Каждый - «не тот». Душу, познавшую Вечность, тянет вон из жизни. Разве в жизни может воплотиться То, Там - увиденное Здесь лишь бледные тени. Вся полнота - Там. И вот дочь Иаира упрекает Христа, зачем Он ее воскресил:

Зачем, равнодушный,
Противу закону
Спешащей реки —

Слез женских послушал
И отчего стону —
Душе вопреки!

Как и Эвридика упрекает Орфея в превышении полномочий:

Для тех, отженивших последние ключья
Покрова (ни уст, ни ланит!..),
О, не превышение ли полномочий —
Орфей, нисходящий в Аид?

Для тех, отрешивших последние звенья
Земного... На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим - свидание нож.

Уплочено же — всеми розами крови
За этот просторный покров
Бессмертья...
До самых летеиских верховий
Любившей - мне нужен покой

Беспамятности... Ибо в призрачном доме
СЕМ - призрак ТЫ, сущий, а явь –
Я, мертвая... Что же скажу тебе, кроме
«Ты это забудь и оставь!»
Ведь не растревожить же! Не повлекуся!
Ни рук ведь, ни уст, чтоб припасть
Устами! - С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.

Уплочено же - вспомяни мои крики! –
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.
(«Эвридика — Орфею»)

В этих стихах, в самом ритме их - новая поступь, новая мера - какая-то великая
достоверность Вечности, так же, как в явлении Вакха Тезею.

Душа сделала величайшее открытие: Вечность есть! Но пока живешь на земле,
приходится терпеть соседство чего-то низшего, невечного. В человеке есть божественная
природа, но есть и другая, косная, ограниченная, подвластная всем стихиям - смертная.
Как эти природы совместить?

Высший миг был и отошел, оставив внизу, на земле свое жало - «змеиный укус
бессмертия», вечную тоску по вечности. Отныне ужаленная Вечностью душа живет на
земле и рвется с земли, в необъятный простор, рвется и падает в дни, в тяжесть. >
Тезей после встречи с Вакхом - существо раздвоенное, еще не небесное, но уже не земное,
задышающееся на земле и не могущее оторваться от нее. Боги - стихии - рвут это существо
на части яростнее, чем когда-нибудь. Ведь существо это дерзнуло хоть на миг сравниться
с ними; Тезей хоть на миг, но был богом, а «боги мстят своим подобиям»... Этот высший
миг был поединком смертного с богом. Смертный выдержал руку бога. Поединок
кончился добровольным поражением смертного и победой божественного начала в нем
самом. Но ведь это был лишь миг. Вечность была мигом. Разорвала на мгновение, как
молния, тучи смертной природы и скрылась. Душа знает, что это есть. Но где это?
Не здесь, не здесь и не здесь!

А человек становится мишенью для богов. Они осыпают его бедами. Он здесь изнемогает.
И он хочет одного: прочь из жизни! Не надо воскрешать побывавшего в вечности... Дайте

спать! «Хочет только мира дочь Иaira». И Цветаевская Эвридика не хочет идти за Орфеем в жизнь.

Так и у Рильке. Но совсем по другой причине. Эвридика там погружена в глубину, в свой мир истоков и начал, так полна внутренней творческой работой, происходящей в ней, что просто не замечает внешнего. В ней абсолютно нет своеволия. Она совершенно покорна силам приведшим ее в Глубину, и прорастает в смерти, подобно зерну. Ее не надо вытаскивать из глубины назад. Она чувствует всей собой, что естество - видимая часть жизни, а не вся жизнь. Есть нечто сверх естества Именно в это она сейчас вживается. Но сверхъестественное - не противоестественное. Она не хочет противиться смерти, как никогда не противилась жизни. Она хочет войти через смерть в жизнь вечную. И собственно к этому, только к этому безмолвно зовет Орфея. И когда Орфей это услышит, поймет, это будет поющий бог сонетов - воистину Преображенный человек.

Эвридика Цветаевой, как и дочь Иaira, противится жизни. Вечность для нее только по ту сторону жизни. Эта потусторонность - реальная Душа была в той глубине, по ту сторону всего видимого и осязаемого, в мире бесплотных, истоков и начал. Но теперь, здесь, их надо воплотить. Вот этого душа Марины Цветаевой не может, не умеет Этому противиться... Она хочет уйти в смерть, чтобы задержать высший миг навсегда, чтобы остановить его. Но Высшее не останавливают Оно раскрывается в безостановочности жизни.

У Орфея мифического и рильковского первое прикосновение к Вечности тоже оставило великую тоску, ожог, «посмертную сквозь». Певец не выдержал Вечности. Он оглянулся. И - Вечность, прожегшая его достовернейшая Вечность, - исчезла. Он видел ее. Он был в ней. Он не может сомневаться в ее реальности. Она есть. Но он - вне ее. Оглянулся - остановился. Вышел изнутри наружу. Во тьму внешнюю.

А вечность осталась внутри...

Теперь нужна великая духовная работа погружения внутрь, освоения внутреннего пространства. Усвоения благодати, как сказали бы христианские богословы. Нужно привести все существо туда, куда на мгновение, в едином порыве, в озарении, заглянула душа. Это и есть самая трудная и самая обязательная для души работа. И никакая тоска по Вечности, никакой порыв от жизни этой работы не заменят. И смерть тут ничего не решит. Она только оттянет и бесконечно усложнит задачу.

Тут решает не порыв, не сверхсильный взлет; нужен повседневный, может быть, ежечасный труд духовный - тот бесконечно терпеливый труд, на который Марина Цветаева была способна (и как способна!) только в творчестве.

В отношении к Вакху, к «вдохновения грозному богу» она стала богиней Тут - преобразование произошло. Свое чувство вечности, свое потрясшее душу переживание бессмертия, нового простора, новых измерений она воплотила в слове. И это было бесконечно много. Но это было не все. Великая жертва Тезея была, может быть, достаточной для бога вдохновения. Но есть иной, высший Бог, которому этой жертвы - мало. Ему нужна другая жертва. Ему надо пожертвовать не только частью, не половиной себя — всем собой; и не в один миг подвига, а целой жизнью подвижника. Вот когда Вечность оказалась бы не мгновенной молнией, а цельным открытым небом. Преобразование должно было произойти не только в Ариадне, ставшей звездной, бессмертной богиней, не разлучающейся с вдохновением, а в жизни, во всей жизни. Должно было произойти. Но не произошло.

Глава 4 БОГИ И БОГ

После великой встречи, после победы божества в человеке, Высшего над собой низшим — первое, что совершает Тезей, это нечаянное убийство отца. О, конечно, нечаянное и совершенно невольное. И все-таки в смерти Эгея он повинен, ибо нарушил обещание и приплыл под черным парусом вместо белого. Так началась новая жизнь. Собственно, новая ли? Чем новый Тезей, Тезей после встречи с Вакхом, отличается от Тезея до встречи? И до, и после был грех. И грех, который был до Наксоса, ничем не смыт, не искуплен. Тезей разрываем на части разными богами - множеством богов. Грех против одного - служение другому, грех против другого - служение третьему. Какой-то порочный круг, в котором нарушаются все клятвы, и подвиг становится преступлением, а преступление — подвигом.

Трагедия начинается с преступления Эгея. Когда-то он убил сына царя Миноса Андрогейя. За это Минос обложил Афины данью: ежегодно в жертву Минотавр (быку, живущему в Лабиринте) приносятся девушки и юноши Афин. И вот Тезей, сын Эгея, хочет разрубить страшный узел. Он идет к Миносу и сдается ему. Пусть его одного принесет царь в жертву — и освободит Афины от дани. Сын за сына!

Это, может быть, звездный час Тезея. И именно такой Тезей покоряет Ариадну. А заодно и самого Миноса, тайно полюбившего юношу, узнавшего в нем самом черты собственного сына.

Когда к Тезею приходит Ариадна, чтобы дать меч и нить, - он не хочет принять ее дары. Ведь, по сути, это значит - предать Миноса, а это — бесчестье.

«Вспомни своего отца» - молит Ариадна. «Дни последние кому ж лелеять, как не первенцу?»

Отчей есть

Власть безжалостнейшая - честь,

— отвечает Тезей.

- Уязвлена

Честь - чудовищнее стократ

Минотавра.

Ариадна:

Не прав, не свят

Подвиг твой! Уж и так велик ты!

Ради этой моей улыбки

Дрогнувшей - отрекись! срази!

Ради этой моей слезы

Брызнувшей! На весах нельстящих

Разве клятва мужская - тяжче?

Тезей неумолим

Красоты в этой жизни есть:
Власть безжалостнейшая - честь.
Даром бьешься и даром тщишься.

Но меняется все, когда он узнает, что меч и клубок ниток - дар Афродиты, что здесь повелевает богиня любви. И когда отчаявшаяся Ариадна говорит:

Но твоих воспаленных бредом
Уст - заране ответ мне ведом:
«Божества над мужчинами есть
Власть безжалостнейшая».

Тезей, преклоняясь:

- Несть.

Для Афродиты он забывает клятву чести, а потом, ради Вакха, забудет клятву Афродите... И чтобы усмирить Афродитин (вполне справедливый) гнев, нужно нечто большее, чем сделает Тезей. Тут действительно нужно «тяжесть попоранной клятвы естеством отплатить».

Что это значит? Отдать жизнь? Но на это он был готов всегда. Всегда готов был сразиться с врагом. В этом - его естество. И вот этим-то естеством надо теперь оплатить тяжесть попоранной клятвы. Как? - Стать иным, новым, высшим и не на миг - навсегда.

Если бы Тезей был преображен вполне, он не был бы подвластен никаким стихийным силам - никаким богам. Не по их ведомству, «не от мира сего». Ничего сверхъестественного это не означает. Был и остался вполне человеком. Но человеком, подчиняющимся только одному своему внутреннему господину. Только это и есть полная победа божественного начала, полное преображение.

Тезей стал божественным лишь на миг и по отношению только к одному Вакху. По отношению ко всем другим богам он был и остался рабом в буквальном дохристианском смысле этого слова. В христианстве выражение «раб Божий» стало метафорой, оно означает подчинение внешнего человека внутреннему (единственное условие внутренней реальной свободы). Но Тезей остался рабом внешних сил. Будет ли такой раб восставать против своих господ или бессильно покорится - это дела не меняет. Бунт и приниженность - две стороны одного и того же.

Все они - рабы Рока, - и те, кто восстают против него, и те, кто ему покоряются. В мире, где все друг другу внешние, царит Рок.

Сама по себе стихия ни разрушительна, ни созидательна. Ни добра, ни зла. Просто Сила, Силой добра или зла, созидательной или разрушительной, она становится по отношению к нам. И сплошь и рядом мы сами делаем ее такой - злой или доброй.

Языческое мироощущение не знает внутреннего господина. У человека есть сонм внешних господ - целый Олимп, который либо покровительствует человеку, либо преследует его. Чаще всего кто-то из богов (сил) покровительствует, кто-то - преследует. Так или иначе баловень богов или их жертва - человек - зависит от них целиком. «Те

орудуют. Ты? - Орудие», - скажет Тезей в конце жизни, поверженный и сраженный мстью Афродиты:

В мире горы есть и долины есть.
В мире хоры есть и низины есть.
В мире моры есть и лавины есть.
В мире боги есть и богини есть.
Ипполитовы кони и Федрин сук –
Не старухины козни, а старый стук
Рока. Горы сдвигать — людям ли?
Те орудуют. Ты? - Орудие.
Ипполитова пена и Федрин пот —
Не старухины шашни, а старый счет,
Пря заведомая, старинная,
Нет виновного, все невинные.
И очес не жги, и волос не рви, —
Ибо Федриной роковой любви
— Бедной женщины к бедну дитятку –
Имя - ненависть Афродитина
К мне, за Наксоса разоренный сад.
В новом образе и на новый лад —
Но все та же вина покарана.
Молнья новая, туча старая.
(«Федра»)

Афродита отомстила страшно. В конце жизни богоравный Тезей раздавлен, смыт, как щепка, гигантской волной разбушевавшейся стихии. Раб своей ревности, своего гнева, убийца собственного сына, ни в чем не повинного... Да и кто виновен? Жена? Эта бедная женщина?..

Когда с сердца схлынула пена, в нем не осталось ничего, кроме огромной — под стать буре - боли; когда боль эта распростерлась над миром, как небо над землей, и покрыла и сравняла всех, — тогда она и сроднила всех. И Тезей почувствовал каждую боль как свою собственную. Некому стало мстить. Некого преследовать. И ничего не осталось, кроме великого Плача.

«Нет виновного. Все невинные...»

Такая точка зрения благороднее и величественнее, чем поиски виноватого и бесконечная цепь отмщения. Поэтому поверженный, сроднившийся в боли со всеми, кому больно, — ближе сердцу Марины Цветаевой, чем торжествующий и всегда слепой победитель. В стоне поверженного становится слышен тот незамеченный ранее Единый, который есть во всех, но заглушён и заслонен...

Боль взламывает гордыню, открывает человеку его границы, его малость и величие чего-то глубинного, тайного, объединяющего всех... Боль разрушает все пласты мира и открывает его внутреннее единство...

Трагическая фигура поверженного Тезея прекрасна. Может быть, самое прекрасное и

самое величественное, что оставила нам античность, - это трагедия. Представления о всемогуществе человека разбиты. Осталась великая боль, взывающая к нашему сердцу. Великая, очищающая сердце Боль...

Если сердце вместит эту боль, произойдет катарсис. Если сердце даст боли раздвинуть и углубить себя, оно может возродиться к новой жизни. Но тогда уже начнется новое мироощущение и новые заповеди. Человек поймет, что ему заповедано перерастить не только боль, но и саму смерть.

Язычество такой заповеди не знало. Но с нее и начинается христианство. Вся наша культура носит имя христианской. Правда, она христианская скорее по имени, чем по сути. Но так или иначе, в центре нашей культуры Новый Завет, новый образ, новые представления о правах и обязанностях человека.

Мир Нового Завета открывает перед человеком измерение глубины и высоты.

Отказавшись от претензий на нереальную, внешнюю безграничность, человек открывает истинную безграничность - внутреннюю. Он ощущает себя частью великого Целого, в котором все осмысляется и находит свое место. Мир - не нагромождение отдельных предметов. Он целостен и един. Евангельский взгляд на мир - это внутренний взгляд, охватывающий вся и всех, как некое таинственное единство. Только в живом чувстве этого единства - выход из всех конфликтов отдельного с отдельным.

Мы неотделимы друг от друга, как ветки одного дерева, - вот евангельская реальность. Вражда между людьми - все равно, что вражда между пальцами одной руки. - Слепота... Сон...

Античная трагедия, подойдя к пределу языческого мироощущения, познала, что обвинять в своей боли некого. Боль надо просто разделить и умереть вместе. Христианское мироощущение начинается с того, что есть кого обвинять. Есть виноватый. Но он не вовне, а внутри.

«Нет виновного, все невинные» звучит сильно и благородно. Но раз «все невинные», то и я невиновен. Боги-стихии снимают с человека вину. Человек перед силой стихии - ничто.

Для христианского

мира все иначе. Человек виновен и ответственен. Человеческий дух - не ничто перед стихией. Он может дорасти до всемогущества, приняв на себя всю вину мира и взяв на себя всю ответственность.

Как бы ни была велика и могуча отдельная личность, она - ничто перед Роком. Даже боги подчинены Року. Только тот, кто ощутил свое единство со всем миром, кто чувствует себя неотделимым от самой далекой звезды, как и от любой живой души, - выходит из-под власти Рока. Для такой души нет ничего внешнего. Все внутри. И тогда оказывается, что Рока - нет. Ему негде быть. Нет пространства для него. Внешнего пространства больше нет.

Дух собран и подчинен только самому себе. Бог - внутри.

РОК - ЭТО НЕ ВМЕЩЕННЫЙ ВНУТРЬ БОГ.

У человека есть возможность вместить Бога внутрь. И пока он этого не сделал, он виноват в том, что тигры-стихии рыскают по лесам земли и по трещинам души. Преобразиться - значит укротить этих тигров. И это задача человека. Укротить тигров и создать духовный космос и внутреннюю гармонию. Создать внутренний строй, подобный величественному строю мироздания.

Глава 5

ПРЕДЕЛ ПРЕДЕЛАМ

Чувство своей вины, чувство великого Долга перед своим высшим началом, чувство спроса с себя и готовности к ответу приходит в глубинный, тишайший час - час Души.

В глубокий час души
В глубокий — ночи...
(Гигантский шаг души, Души в ночи).
(Цикл «Час души». № 2)

Это час взгляда во всю мировую огромность, в великую цельность неба и собственного сердца, час предстояния себя малого перед Собой великим:

... В тот час дрожи,
щета, румяна смой!
Есть час Души, как час грозы,
Дитя, и час сей — мой.
(«Есть час души, как час Луны...»)

Да, именно этот час чувствует Марина Цветаева своим главным часом, на который она в мир призвана. Час Души - это час Беды. И эту Беду, эту Боль она принимает, как Дар высшего и как высший Дар. Сама ее Душа приходит в мир, как целительная Беда, от которой отталкиваются, которую не хотят принимать малые души. Гордая и, может быть, высокомерная в другие часы, в этот свой высокий час она смотрит на них, как на свое несмысленное дитя:

Беда моя! — так будешь звать,
Так, лекарским ножом
Истерзанные, дети - мать
Корят: «Зачем живем?»

А та, ладонями свежа,
Горячку: «Надо, —Ляг».
Да, час Души, как час ножа,
Дитя, и нож сей - благ.

Этот жертвенный нож, эту призванность к жертве Марина Цветаева чувствовала с самого детства, «отродясь». Отсюда и любовь к тузу пик и такое невероятное для ребенка предпочтение его всем королям и валетам. Туз пик - черная алебарда с острым концом - направлен был прямо в сердце с тем, чтобы пронзить его и оживить. Увести от поверхностных чувств к глубочайшим, пусть страшным, пусть мучительным, но истинным. Жить - значит жить всей собой до последней глубины, из которой даже в смерти (чувствовала, была уверена) брызнет фонтаном вся полнота жизни. С поверхности - через пропасть - куда?

Туда, где оживает все сердце.

Это душа, призванная Огнем и Духом. Тем, кто сжигает и развеивает все смертное и обнажает бессмертные истоки, - призванная к великому, может быть, к величайшему. И

поэтому она должна отдать меньшее во имя большего. Это - девочка без куклы, женщина без «тихих милостей семьи», боец, которому конь наступает пятою на грудь, чтобы извлечь из нее сноп света.

Надо уметь не уклониться от этого ножа, выдержать эту тяжелую и благословенную пяту; надо, отдав все внешнее, идти за внутренним голосом, слышать удар, толкающий сердце изнутри, какое-то гудение внутреннего потока, стремящегося к неведомому морю. Ему не задают вопросов, не ставят условий. - Перед ним затихают.

Встреча со своим высшим божественным началом плодотворна только тогда, когда она жертвенна. Нежертвенная - подобна евангельской встрече богатого юноши с Христом. Богатому очень хотелось бы обрести все, не отдавши того, что он имеет. Но это было подобно желанию налить воду в наполненный до краев сосуд. Или - или... Или «я», или Бог.

До поры до времени может совмещаться множество начал. До поры до времени можно обходиться без жертвы. Но рано или поздно наступает момент выбора, после которого сытые волки с целыми овцами никак совместиться не могут.

Себялюбие - или любовь.

Самоутверждение - или самоотверженность, - вплоть до полного самоотречения.

Перед таким выбором стоит библейский Авраам. Он выбрал. И эта готовность к жертве была важнее самой жертвы. Жертва не понадобилась (Быт. 22:1-19).

Авраам - камень преткновения для неверующих и для маловеров. Разум и сердце отказываются понять жестокость Бога. Но это до тех пор, пока разум и сердце человеческие довлеют самим себе и не загораются и не тают, как воск в пламени. Это растворение и есть жертва. Нет меня и всего моего - есть Ты. Полюбить - значит вместить. Полюбить Бога - значит вместить Бога, значит вместо трепетного сердца — «уголь, пылающий огнем»...

Но перед этим - «как труп в пустыне» - час жертвы. Час свободы от всего внешнего. Час затихания. В этот час Божество требует отдать себя прежнего - себе новому. Божество подступает, как грядущий день, который несовместим с прошлым. Душа должна добровольно отдать прошлое и повернуться лицом к Грядущему. Тогда она освободит ему место, и оно войдет.

Свыше сил человеческих —

Подвиг!

Стань божеством...

(«Ариадна»)

Час Души - это час, когда человек становится достойным своей божественной природы, и тут полагается предел его пределам. Душа ощущает свою беспредельность, свое бессмертие, свою внутреннюю бездну, внутреннюю полноту. Час души - это час полного поворота извне вовнутрь.

Час сокровеннейших низов

Грудных - плотины спуск!

Все вещи сорвались с пазов,

Все сокровенья - с уст!

Час принятия Беды, час добровольной жертвы, час утраты надежд на все внешнее становится часом распахнутых дверей внутрь:

И вдруг, отчаявшись искать извне,
Сердцем и голосом упав: во мне!
(«Сивилла: выжжена, сивилла: ствол»)

Бесконечно углубленный взгляд. «Не пожар: бездна», - как писала Цветаева Рильке. Никакого внешнего величия, всемогущества, вседозволенности - больше нет. Час души - это час, «когда в себе гордыню укротим». Это «высокий час ученичества» и «одиначества верховный час».

Час тишины, а не громов, час Света, а не цвета, прозрачности, а не яркости - час внутреннего единства со всей мировой глубиной, час собирания всего разрозненного, всех разодранных риз...

В глубокий свой час душа смотрит в звездные глаза своему истинному возлюбленному. И он бесконечно отличается от тех, которых она обожествляет в другие часы и дни своей жизни.

Час души - это час отрезвления и внутренней ясности. «Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру», - скажет Цветаева в «Искусстве при свете совести». - «За Пугачева не умру - значит, не мое»..

Линяют и тускнеют прежние боги, прежние кумиры, съезживается и приобретает земные размеры их кажущаяся безграничность и становится видно, что Божий первенец превысил полномочия, присвоив себе божественный огонь... Душа прозревает разницу между огнем внешним и внутренним. И от синего огня уводит взгляд к белому - без примеси, без пепла. Она провидит великую цельность и внутреннюю полноту Творца, Того, Который не победил, не подчинил, а полюбил и объял всех и вся.

Над всеми богами сердце провидит образ единого Бога... И узнает его земное подобие - души, вмещающие внутрь космос.

Такой душой был Рильке. Прежде всего - Рильке. И Рильке теперь - ее путеводная звезда. Ее бессмертный возлюбленный сквозь все и всех.

«Борис, я не знаю, что такое кощунство», - писала Марина Цветаева Пастернаку, обсуждая своего «Молодца». Но вскоре, в одном из следующих писем, появляются иные слова: «Сопоставление Рильке и Маяковского для меня при всей любви моей к последнему - кощунство. Кощунство - давно это установила - иерархическое несоответствие» (Письмо к Пастернаку).

Пастернак, в молодости обожествлявший Маяковского, в иной свой период отвернулся от него. Цветаева продолжает любить Маяковского, но это уже иная любовь. Когда-то, в Москве, глядя ему вслед, почувствовала: если оглянется и окликнет, на всю жизнь пойду за ним. С этим - кончено. Она его переросла. Она любит его уже материнскою любовью, отдавая должное этой большой душе, плача над ней, с ней, но - видя ее ограниченность. «Враг ты мой родной», - скажет она в своем реквиеме по Владимиру. «...Упокой, Господи, душу усопшего врага Твоего...».

Сколько великодушия, сколько великой души в этих словах! Любовь Цветаевой здесь подобна любви Гринева к Пугачеву, а не Маруси к Молодцу. Она не захвачена им. Она противостоит ему и молится о нем. Тот, кто звал «понедельники и вторники - кровью окрасим в праздники» (В. Маяковский), - уже над нею не властен.

Автор «Крысолова» перерос романтику крыс... Они все еще ищут вовне. А Марина Цветаева - отчаялась искать вовне. И стала искать внутри. Она уже находится по ту сторону всех баррикад. Для нее уже нет сторон. Ей ясно: все стороны внешнего мира заводят в тупик. А ее флейта зовет внутрь! И только внутрь! Один из своих сонетов к Орфею Рильке начинается словами:

Древнюю дружбу богов - этих великих, незримо
И ненавязчиво сущих (мы их не слышим в азарте
Гонки, в гуденье машин)... Что ж, их отринуть должны мы
Или начать вдруг искать их поселенья на карте?
(«Сонет к Орфею», ч. 1, № 24. Перевод З. Миркиной)

На карте Марина Цветаева уже ничего не ищет.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой
Быть.

И однако, божественная родина, страна души, - родная до боли, та, где этот все опровергающий, все рассуждения опрокидывающий куст (особенно рябина)... Это родина есть. Это и Россия, и не Россия. Россия, конечно. Но если бы не было России ни на одной карте, она все равно была бы - внутри, в душе, которая больше всех карт на свете. Все карты чертятся там.

Отныне (после своей встречи с Высшим, вечным, после осознания этой встречи) Марина Цветаева уже знает, что все пустыни полны миражами; все земли, которые мерещатся безустальным мореплавателям, окружены рифами. Она это знает и все-таки никогда не будет отрицать существования божественной реальности, незримой родины. Ее бессмертная мечта воистину бессмертна. Смерть от нее отскочит, как стрела от стены. Она неразрушима, ибо не опирается на очевидное. Ее могут увидеть только «внутри зрящие».

Бессмертная мечта - это то, что остается, даже если ничего не остается. Это упорство души быть во что бы то ни стало в ничем, эта бесплотная явь - твердыня духа. Марину Цветаеву часто называют романтиком. - Это верно - при глубоком, серьезном понимании романтизма и неверно - при мелком. Настроения романтиков, их грезы и мечты часто мельче Действительности. Они не выдерживают Ее прикосновения. Они - убежище от действительности, средство не замечать ее. «Бессмертная мечта» Цветаевой в этот стереотип не укладывается. Цветаева делит Действительность на быт и Бытие, жизнь с прописной и строчной буквы. От быта, от жизни со строчной буквы она отталкивается так же, как все романтики. Но мало кто с такой полнотой доходит до Бытия. Ее внутреннее пространство - это пространство Другой Действительности (То, что Рильке называл Безграничной Действительностью). Она не придумывает ничего утешительного, не отворачивается от самого страшного, не закрывает бездн никакими декорациями. Цветаева открыта всем безднам; на меньшее, чем Бездна, чем Безграничность, она не согласна.

Душа, увидевшая эту Действительность и присягнувшая ей, присягнула на верность Огню и Духу. Страшная присяга! Ибо нырнувший в бездну Духа совершенно не уверен, выплывет ли он.

Не всякий, бросающийся в огонь, оказывается фениксом. Огонь есть огонь. В нем можно сгореть и не восстать из пепла.

Все это Марина Цветаева знает - и не просит защиты от бездны, напротив, - всякую защищенность отвергает. Отвергает ложное, еще не зная истинного.

Этот тесный земной дом уже не дом. Здесь, на земле, она - изгой, «пасынок». Но безысходность на земле есть выход в небо. В никуда. И, однако, в Действительность. В другую Действительность. Мечта об этой другой Действительности жизненнее, полнокровнее, чем земная полужизнь, чем это «отсутствие в присутствии»¹² (как скажет Цветаева в письме к Бахраху о неполноте «вплотную любви»). Она предпочитает быть «присутствующей в отсутствии». Этим Присутствием в нигде, в ничем - и все-таки присутствием, - присутствием Духа в обездушенном мире - является Искусство.

Нет, не уход от бытия, а только прохожденье сквозь его шелуху, как сквозь стены, и выход по ту сторону всех стен, из ближних планов жизни в дальние, подлинные, вечные...

Марина Цветаева не сторонится ничего в подлинной жизни. Каждая слеза, каждый крик ее касаются. Все кричащие - кричат внутри нее. Вся кровь и пот, все уродства и ужасы жизни взывают к ней и получают отклик. Нет, не от них она уходит в Бессмертную Мечту. Она уходит от не сущего - от кажущегося, заслонившего сущее. От разбухшего бездушного тела, заслонившего, заспавшего Душу. От Гаммельна во всех его воплощениях; от Гаммельна, завоевавшего шар земной, она готова уйти за этот шар, в обрыв, в пропасть, в никуда. И уходом своим утвердить жизнь, а не смерть. Ибо уход из Гаммельна, куда бы то ни было, есть прежде всего уход из медленной смерти, из смерти души, из пошлости. Мир флейтиста - не обман. И утонуть в навеянной флейтой грезе, не очнувшись от Чары, достойнее, чем жить без грезы, с потухшим сердцем. Лучше погибнуть с горящей душой, чем выжить и погасить душу.

Все та же отвага: отринуть ложное, не зная истинного. Мечтать, не надеясь на воплощение. Любить, не надеясь на соединение. Творить, не надеясь на награду, на воздаяние, на успех

Ты - царь. Живи один.

Дорогою свободной

Иди, куда зовет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они — в самом тебе...

(А.С. Пушкин. «Поэту»)

Вот что такое Сивиллино «во мне»... В нигде, в ничем, в никогда - внутри.

Цветаева имеет мужество отринуть Гаммельн, не видя никакого Индостана, никакого земногорая. Маяковский такого мужества не имел. Был утопистом. Хотел построить рай на земле. И когда увидел, что, шагая своими семимильными шагами, пришел из Гаммельна в Гаммельн, когда увидел, что земля кругла, исчерпаема, - почувствовал исчерпаемость и исчерпанность собственной души. Он не вынес открывшегося ему

Предела предельности. Марина Цветаева вынесла. И открыла - Беспредельность. Дойдя до края земли, открыла Небо. Дуновение вдохновенного указало ей - внутрь и ввысь!

Здесь меняющий в где-то,
Быть меняющий в плыть....

Через все потери, через жертву всем земным, всеми возможными синицами в руках, всеми надеждами, через все сотворенное, конечное, исчерпаемое - к несотворенному, бесконечному, неисчерпаемому:

Нет иной Ариадны, Кроме Вакховой!

Итак, — к звездам!

«Но у Вас есть нечто, что и у меня есть, - пишет Цветаева Бахраху: взгляд ввысь, в звезды: там, где брошенная Ариадна».

И Маяковский в свой последний час посмотрел на звезды. И, может быть, в первый раз сказал нечто подобное Тезеевым последним словам: «Нет виновного, все невинные». Всю жизнь весь мир был виноват перед ним. Ничего высшего, чем он сам, чем человек, звучащий гордо, для него не было. «Эй вы, Небо, снимите шляпу. Я иду» («Облако в штанах»),

И вдруг:

Ты посмотри, какая в мире тишь.

Ночь обложила небо звездной данью.

В такие вот часы встаешь и говоришь

Векам, истории и мирозданию.

(«Уже второй, должно быть ты легла...»)

И сказал... Великая тишина неба показалась ему только пространством для эха от его выстрела.

У Цветаевой иной взгляд в небо. Не оно должно слушать ее. Она сама его слушает.

Замирает на берегу небесной тишины. В глубокий час души небо переполняет ее. И, может быть, это звездное небо ближе человеку, чем его собственное земное тело...

Но все-таки, что же происходит с земным телом? Что стало со спящей Ариадной? Что будет, когда она проснется здесь, на земле, на жертвенном острове Наксос?

Глава 6

ГОРА

Действительно, что стало с проснувшейся Ариадной?

Ей, может быть, смутно вспоминается сон, в котором шел спор за ее душу между возлюбленным и богом. Но наяву - ни того, ни другого. Боги вообще наяву не появляются.

Их вотчина - сон. А возлюбленный?.. - Брошена... Как и предчувствовала, как и предсказано ей было. И вот - «чаны слез в двусветную рань». И - вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?».

Жить приучил в самом огне,

Сам бросил в степь оледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне.
Мой милый, что тебе я сделала?

.....
«Отцеловал - колесовать,
Другую целовать» - ответствуют.

.....
Не мать, а мачеха - Любовь.
Не ждите ни суда, ни милости.

Не мать, а мачеха. Стихия недобрая, бездушная. «Не люблю любви. Сидеть и ждать, что она со мной сделает», - писала Цветаева. «Великой низостью» назовет Марина Ивановна любовь в одном из стихотворений:

... Что сестры
В великой низости любви.

Иное дело - дружба. И совсем иное - творчество. Вахх - не чета Афродите!

В черном небе - слова начертаны -
И ослепли глаза прекрасные...
И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.
В поте - пишуший, в поте пашущий!
Нам знакомо иное рвение:
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, -
Дуновение - Вдохновения!

Окрыленность. Возможность взмыться над всей низостью. А низость есть низость. Она остается там, внизу, непреображенная, стихийная, земная природа. Ее можно победить примерно так, как Тезей Минотавра: стихией, силой, отвагой:

И что тому костер остылый,
Кому разлука - ремесло!
Одной волною накатило,
Другой волною унесло.

Ужели в раболепном гневе
За милым поползу ползком —
Я, выношенная во чреве
Не материнском, а морском!

Кусай себе, дружочек родный,
Как яблоко - весь шар земной.
Беседуя с пучиной водной,
Ты все ж беседуешь со мной.

Подобно земнородной деве,
Не скрестит две руки крестом –
Дщерь, выношенная во чреве
Не материнском, а морском!

Нет, наши девушки не плачут,
Не пишут и не ждут вестей!
Нет, снова я пушусь рыбачить
Без невода и без сетей!

Вот и весь ответ милому...

Но чьи же эти наши девушки? Дочери стихии, дочери Простора. Моря? Огня? - Все равно. Стихия моря, стихия чувства - живут по своим особым законам. С точки зрения этих законов, все сердца делятся на верные и не верные ей - стихии. Прежде всего, может быть, стихии Огня. Ни людям, ни заповедям, не установлениям, ни очагам - Огню!

Огонь может двадцать раз переменить очаг, зажечь стены, спалить дом вместе с людьми... С нравственной точки зрения те, кто верны огню - сплошь и рядом преступники. У них свой, воровской закон. Хотя в более глубоких сердцах закон этот не вытесняет общечеловеческих заповедей. И возникает коллизия законов - цветаевский трагический перекресток. Человек отвечает и перед огнем, и перед людьми...

С точки зрения огня Дон Жуан, Казанова, Кармен, Мариула - как будто всегда правы, ибо всегда огню верны:

Как мы вероломны, то есть –
Как сами себе верны...

Верны? Но почему так скоро эти герои ранней Цветаевой сходят на нет? Автор судил их по их собственным законам - законам огня - и осудил. Огонь, который в них вспыхивал, так и не стал настоящим пламенем. Дальше множества вспышек, мгновенно рассыпавшихся искр, он не разросся. Огнь-ал. Вспомним еще раз письмо Черновой-Колбасиной. «Ведь Дон-Жуан смешон! Казанова? Задумываюсь. Но тут три четверти чувственности, не любопытно, не в счет...»

Дон Жуан, который стал смешным, проваливается в бездну. Все его обаяние развеялось пеплом - не чарует. Также как испугавшийся Дон Жуан. «Что твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан?» - спрашивает Блок. Ничто... Дон Жуану нечего ответить. И сквозь его молчание начинает слышаться высший, вечный Голос, так долго заглушавшийся всей этой шумихой пестрой жизни:

Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.

Ропот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —

Темного неба — таинственный глас: —
Женщина! - вспомни бессмертную душу!

И женщина вспоминает. И ужасается, «в глубокий час души, в глубокий — ночи...»
Наплыв космической волны смывает все мелкое: «Атлантский вздох души - в ночи...»
Сам Черт изъявил мне милость!
Пока я в полночный час
На красные губы льстилась —
Там красная кровь лилась.
Чтоб совесть не жгла под шалью —
Сам Черт мне вставал помочь.
Ни утра, ни дня — сплошная
Шальная, чумная ночь.

Отношение к божеству становится судом над человеком. Не испытавший ничего, кроме ужаса, проваливается в бездну и исчезает навсегда, как Дон Жуан в одноименной опере Моцарта. Для него Бог - это только возмездие. Иное дело - сумевшие встретить и вынести взгляд Высшего, испытавшие одновременно и священный трепет и мистический страх - и благоговейный восторг, ту любовь, которая больше всякого страха, которая страх изгоняет.

Маленький человек застывает перед огромностью неба. Тот, кого эта огромность переполняет восторгом и любовью, входит в духовный простор и растет в нем.

Есть некий час - как сброшенная клажа;
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества - он в жизни каждой
Торжественно- неотвратим.

.....
О, этот час, на подвиг нас как голос,
Вздымающий из своеволя дней!
О, этот час, когда как спелый колос,
Мы клонимся от тяжести своей.

И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно.
Закон! Закон! Еще в земной утробе
Мной вожденное ярмо.

Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, - еще заря зажглась.
Благословлен ему грядущий следом
Ты - одиночества верховный час!

Час ученичества - это час стихания, смирения. Внешняя свобода меняется на добровольное, вожденное ярмо. И свобода, которая обретается снова в верховный час одиночества, это уже свобода иная - внутренняя. Своеволие стихийных порывов вело к

анархии, к хаосу. Истинная свобода глубоко ответственна. Она опирается на чувство связи с Целым. Она никогда не бывает свободной от обязанностей. Это свободный выбор обязанности. Это чувство внутренней общности, связанности со всем миром.

Стихийная свобода может стать свободой части, отрывающейся от Целого - то есть мигом свободы, а затем - смертью. Высшая свобода - свобода Целого, собравшего все свои части воедино. То есть - Исцеление и жизнь.

Свобода начинается со свержения внешнего господина. Это первый шаг к освобождению. Но полное освобождение есть господство над самим собой - подчинение своему собственному высшему смыслу, источнику своей жизни; полная свобода - единство с самим собой и с космосом; и она возможна только при строгой иерархии высшего и низшего, при добровольном служении низшего высшему.

Дав полную свободу всем Дон Жуанам и Кармен, Марина Цветаева сделала открытие: на их уровне истинной свободы нет и быть не может. Они не могут жить в беспредельности, ибо сами не беспредельны. Они разбиваются «о гранитные колена» истинной Беспредельности, о свою собственную границу, которая есть Вечность, Божество. Божество подступило к ней, как Вакх к Тезею. Как внутренний свет и внутренний Голос. И душа испытала одновременно страх и любовь, ужас и восторг. И отталкивание, и благоговейное приятие - все вместе. Более всего на свете хотела бы она вся последовать за Высшим. Но... в ней есть две природы, а не одна. И одна часть души вечно находится в споре с другой; вечное раздвоение:

Белье на речке полощу.
Два цветика своих ращу,
Ударит колокол — крещусь,
Посадят голодом — пощусь.

Душа и волосы - как шелк.
Дороже жизни - добрый толк.
Я свято соблюдаю долг.
Но я люблю вас — вор и волк!

Стихия никак не укрощена, только затаилась. Цветаева ее - любит. Но что она любит больше? Стихию или внутреннюю силу, обарывающую стихию?

Рыцарь ангелоподобный —
Долг! — Небесный часовой!
Белый памятник надгробный
На моей груди живой.
За моей спиной крылатой
Вырастающий ключарь,
Еженощный соглядатай,
Ежеутренний звонарь. —

Страсть и юность, и гордыня —
Все сдалось без мятежа,
Оттого, что ты рабыне

Первый молвил: - Госпожа!

Долг - надгробный памятник на живой груди. Но - в любви - рабыня. А в верности Долгу - госпожа. И может быть нелюбовь к рабству больше весит на внутренних весах, чем любовь рабы?

Так или иначе, она не может отбросить ни того, ни другого. И если даже подхватить ее сравнение долга с надгробием, - душа ее не погребена навек. Она имеет силу - и задачу - вынести тяжесть камня. Она несет эту тяжесть камня добровольно. Цветаева отдавалась долгу, как страсти: «Моя католическая, нет - хлыстовская любовь к тебе, - пишет она Пастернаку, - ничто перед моим протестантским долгом».

Силы воли - хватило! Но было ли чувство совершенной правоты, когда долг побеждал раздвоенность, когда другая часть души полностью подавлялась? Совесть жгла душу с двух концов. Вечная тяжба с самой собой никогда не кончалась!

О нет, не узнает никто из вас
- Не сможет и не захочет! —
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!

Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово...
- В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый!

И в те же годы, на тех же страницах - тут же, рядом:

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу
Я утверждаю, что - невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем...

И еще:

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной — не черни
Галчонка - белизной.

А впрочем, - что ж, коли не лень!
Но, всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь - белей тебя!

Так виновна она или нет? Чиста или грешна? Перед внешним судом чувствует себя невинной, чистой. Перед внутренним, тем, высшим — виновной, глубоко виновной... Разве любовь - стихия, любовь-захваченность, порабощающая душу, не опустит глаз перед Тем внутренним Голосом и Светом?

Любят - думаете? Нет, рубят
Так! Нет - губят! Нет - жилы рвут,
О, как мало и плохо любят!
Любят, рубят - единый звук

Мертвенный! И сие любовью
Величаете? Мышц игра
И не боле! Бревна дубовой
И топорнее топора...
(«Ариадна»)

И все-таки любовь для Марины Цветаевой редко бывает «глупым грешком грошовым». Почти всегда - это страсть, тяжелая, как гора, весома, как жизнь. Потому никто и не смеет судить извне, что никто не взвесил, чего стоит ей внутренняя борьба со стихией. Нет, любовь для нее не огонь-ал, не птичий щебет, не бабочка-однодневка - горящая лазорь, разверзшаяся синь, та самая судьба, которая на роду написана, даль, к которой душа призвана, без которой жизнь - не жизнь.
«От Психеи у меня - все, от Евы - ничего», - часто говорила Цветаева. Психея - душа, а не тело приказывает ей. Душа - горит:

Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню...
.....
Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю и горю до тла!
И да будет вам ночь светла!
(«Что другим не нужно - несите мне»)

У Евы - блажь, У Психеи - страсть. И эта страсть дает ей внутреннее право. От нее не так легко отмахнуться, она какая угодно, но - не мелкая!

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!). Нельзя, припадая к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Ипполит, я устала... Блудницам и жрицам - стыд!
Не простое бесстыдство к тебе вопиет! Просты
Только речи и руки... За трепетом уст и рук

Есть великая тайна, молчанье на ней - как перст.

О, прости меня, девственник! отрок! наездник! нег
Ненавистник! - Не похоть, не женского лона - блажь!
То она - обольстительница! То Психеи лесть –
Ипполитовы лепеты слушать у самых уст.
(«Послание». Цикл «Федра», № 2)

Это говорит Федра, та самая «бедная женщина», которую погубила Афродита. Та самая, которая была лишь орудием, когда орудовали «те». Но ведь и Федра, и Тезей - две стороны одной и той же души. И Тезей находит в себе силы на полное самопожертвование во имя божественного предназначения любимой. А Федра не может справиться со своей страстью, хотя любимому ненавистна, счастье ему дать не может. Тезей возвысился над стихией, а Федра бьется в ней, как птица в силке, погибает, но выбраться из тенет не может.

Вакх - бог вдохновения - стал смыслом жизни для Тезея. А у Федры нет другого смысла, кроме Афродиты. Без Афродиты жизнь ей - склеп. И выбор для нее - между преступной жизнью и праведной смертью; ибо жизнь с Тезеем - не жизнь, смерть. Третьего не дано. Федра накладывает на себя руки, а потрясенный Тезей произносит свое знаменитое: «нет виновного, все невинные».

Никакой выбор не дает спасения. Выбрав Вакха, Тезей оскорбляет Афродиту. Выбрав Афродиту (вернее, выбранная Афродитой), Федра становится орудием ее мести. Не спасается никто. Сама же Марина Цветаева пишет Тесковой:

«Гений рода (у греков демон и гений - одно). Гений нашего рода, женского; моей матери рода - был гений ранней смерти и несчастной любви (разве такая есть?) - нет, не то, брака с не тем. Моя мать с 13 лет любит одного...

Мой дед, узнав, что он разведенный, запрещает ей выходить за него замуж, а по ее совершеннолетию разрешает с предупреждением, что она и дети, если будут, - да, ее же муж - никогда не будет для него существовать. Моя мать не выходит, выходит год спустя за моего отца: вдовца, только что потерявшего обожаемую жену, с двумя детьми.

Выходит, любя того, выходит, чтобы помочь. Мой отец, (44 года — 22 года) - женится, чтобы дать мать детям. Любит - ту. Моя мать умирает 35 лет от туберкулеза.

Ее мать, Мария Лукинична Бернацкая, моя бабушка, выходит замуж за ее отца (моего деда, того, кто не разрешил), любя другого, и умирает 24 лет, оставляя полугодовалую дочь - мою мать.

Мать моей польской бабушки - графиня Мария Ледоховская - умирает 24 л., оставив семь детей (вышла замуж 16 лет). Не сомневаюсь, что любила другого.

Я — четвертая в роду и в ряду и, несмотря на то, что вышла замуж по любви и уже пережила их всех — тот гений рода на мне».

Выйдя замуж по любви и, может быть, по-своему всю жизнь любя Сергея Яковлевича Эфрона, чувствовала на себе трагический гений рода — что-то и может быть главное в их совместной жизни не состоялось, какие-то просторы души оказались пустыми. И вместе с тем, разрыв тоже не был выходом. Может быть, выхода просто не было. Так чувствовала Марина Цветаева.

В 17-м году, в октябре, безумно боясь за жизнь Сергея Яковлевича, чувствуя, что без него ни дня жить не будет (несмотря на двух маленьких детей), Цветаева дала клятву: если только будет жив, всю жизнь буду с ним, пойду за ним всюду, как собака... Клятву эту ни нарушить, ни исполнить по-настоящему - не могла. Приходило нечто, что было больше нее и больше ее любви - к Сергею Яковлевичу. Противиться этому большему она не могла. Но и отдаться совсем тоже не могла. На пути человека с его намерениями, клятвами, представлениями и чаяниями вставала - Гора:

Вздогнешь - и горы с плеч,
И душа - горё.
Дай мне о горе спеть:
О моей горе!
Черной ни днесь ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о горе спеть
Наверху горы.
(«Поэма Горы»)

Гора эта перечеркивает все клятвы, как Вакх, явившийся ночью Тезею, смял и перечеркнул клятву Афродите. Гора эта была чем-то высшим, чем человек. И человек должен был внимать Высшему. И внимал:

Гора говорила. Мы были немые.
Предоставляли судить горе.

Гора была огромной. Любовь была горой. И любящие слушались своей Горы и отвечали перед ней:

Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного
Требовала та гора.
- Океан в ушную раковину
Вдруг-ворвавшимся ура! —
Та гора гнала и ратовала.
.....
Та гора была - миры!
Бог за мир взывает дорого!
.....
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.

Гора открыла разницу между простолюдинами и небожителями любви. Простолюдины любви верят минуте и слушаются ее. Для них:

Не обман — страсть, и не вымысел!
И не лжет, — только не дли!

Небожители любви слушаются не минуты, не прихоти, а Вечности:

О, когда б здраво и пбпросту:
Просто — холм, просто — бугор...
Говорят - тягою к пропасти
Измеряют уровень гор.
В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих хвой...
(Высота бреда - над уровнем
Жизни).
- На же меня! Твой...
Но семьи тихие милости,
Но птенцов лепет - увы!
Оттого, что в сей мир явились мы —
Небожителями любви!

Но почему же? Если небожители, то любовь нерасторжима. Тогда ведь нельзя врозь!
Гора не человек. У горы нет ясных, внятных слов. Гора говорит на своем языке - на языке
невнятицы и молчания, который всю жизнь учит Душа... Душе ясно одно:

Гора горевала.
Как? Почему? О чем?..

(а горы глиной
Горькой горюют в часы разлук),
Гора горевала о голубиной
Нежности наших безвестных утр.
О, гора горевала тяжко!
Гора была раем, миром, счастьем. И гора - горевала. Горевала о тех, страстных, которые
«не быть упорствуют». Гора была бытием. И гора не разрешала БЫТЬ.

Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям.
.....
Горе началось с горы.
Та гора на мне - надгробием.

Да, Гора была всем сразу - и жизнью, и надгробьем. И громадой страсти, не знающей
никаких заповедей, и седьмой заповедью, «непомерной и громадной»!
Гора эта была и непреложным правом на счастье, и невозможностью построить счастье на
чьих-то слезах. Гора была велением жить и запретом жить одновременно. Гора была
сфинксом, великим вопросом, на который душа должна была, призвана была ответить. И
гора грозила всем тем, кто не замечают этого Вопросы, этой великой задачи, кто считают
все задачи решенными и разрешенными, кто просто обживают Гору как дачное место, как
некую окраину, на которой «воздух лучше и легче жить», всем тем, кто «нашу гору за-

строят дачами, палисадниками стеснят». Кто будет

Перевалы мои выструнивать,
Все овраги мои вверх дном!
Ибо надо ведь - хоть кому-нибудь
Дома - в счастье, и счастья в дом!

Счастья в доме, любви без вымыслов,
Без вытя-гивания жил!

Действительно, надо...

Любви, не скрашенной
Ни разлукою, ни ножом...

Все это надо. Но надо не забывать, что этот город «мужей и жен» - на Везувии. Надо не забывать, что Везувий в любую минуту может заворочаться - и тогда!..

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями,-
Кратер, пущенный в оборот!

Виноградниками - Везувия
Не сковать! Великана — льном
Не связать! Одного безумия
Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники за-ворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

Вот оно: поэт - проклятье... Да, ибо поэт прежде всего сын стихии. И поэт беззащитен перед стихией. Он первый в чью грудь она стучится. Его дом стоит в самом центре сейсмической зоны. Дом этот опрокидывается ежеминутно. Может быть, у поэта вообще нет дома. Он открыт всем ветрам, всем ливням, всем снежным метелям, и всем лучам, всем ароматам, всему творческому потоку жизни. Твердь, надежность, Дом?.. Их не будет у поэта, пока... сила Духа не будет равна, - нет, пока она не превзойдет силу стихии. Встреча со стихией - первая задача поэта. И моральные сентенции о том, хорошо это или плохо, тут ни при чем. Это о другом. «Совсем иное дело»¹⁸, - как сказал Пушкин. Нельзя сказать ребенку: вырастать нехорошо, потому что ты можешь вырасти злым. Нехорошо быть злым, но расти — это о другом. Сила стихии есть сила роста. И расти сердцу - надо. И это никто не знает так, как Рильке:

Как мелки с жизнью наши споры,

Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
стихии, ищущей простора,
мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, - малость,
нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
зовет борцов совсем не тех.
(«Созерцание». Перевод Б.Пастернака)

Необычайность, небывалость - это вызов и призыв. Душа человеческая призвана к величию. Вот почему мы захлебываемся от красоты бурного моря или грозы, рушащей столетние дубы. Мы ужасаемся и восторгаемся, ибо это, грозящее нашей жизни, растит, расширяет и воздымает нашу душу. Если душа приняла вызов, из глубины ее подымается нечто или некто, которому Стихия и даже сама смерть - не страшны. Душа открывает внутри себя что-то большее, чем смерть — таинственную твердь, о которую разбиваются все валы...

В этом смысл столкновения со стихией. Поэт - соперник стихии. И должен стать равным ей по силе борцом. Стихии - боги - кличут богоравных, Божество Горы хочет вызвать в человеке дух, высота и твердость которого равны Горе:

Так Ангел Ветхого Завета
нашел соперника под стать,
как арфу он сжимал атлета,
которого любая жила
струною ангелу служила,
чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Поэт в цветаевском понимании и есть такая струна ангела, на которой он схваткой играет гимн. И не к победе над ангелом стремится поэт, а к причастию ему, к ощущению этого Высшего начала в себе самом. Вместить его - отдаться ему - и есть высшая победа:

Кого тот ангел победил,
тот правым, не гордясь собою,
выходит из такого боя
в сознание и в расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
(Р.-М. Рильке. «Созерцание»)

Величайшее нельзя победить. Его можно только вместить.
Нет. Оно еще не вмещено. Оно возвышается над сердцем, как Гора, как великая неразрешенная Задача. Пока сердце не решило этой задачи, она будет его мукой, его приговором, его проклятьем, Однако эту муку, это проклятье поэт не променяет ни на что

меньшее. Ни на какую облегченную радость.

Горе или радость прежде всего должны быть размером с Гору. Прежде всего верность Горе. Сердце под стать Горе.

Великой радости, всеобнимающего выхода - нет! Не найти. Значит, надо вынести горе.

Гора горевала о страшном грузе

Клятвы, которую поздно клясть.

Гора говорила, что стар тот узел

Гордиев: Долг и страсть.

Гора горевала о нашем горе:

.....

Звук... ну как будто бы кто-то просто,

Ну... плачет вблизи?

Гора горевала о том, что врозь нам

Вниз, по такой грязи –

В жизнь, про которую знаем всё мы:

Сброд - рынок - барак.

Еще говорила, что все поэмы

Гор - пишутся - так.

Да, так. Тяжелой рукой Командора. Ее надо смочь пожать. А это не может ни Дон Жуан, ни добропорядочный житель Гаммельна (государства мужей и жен). «Великана льном не связать!»

Чтобы одолеть великана, надо самому стать великаном. Чтобы связать Везувий, надо иметь внутреннюю силу, равную его силе.

Сила стихии будет роковой, пока она не станет силой Духа.

Дачники, потребители ничего не знают о силе стихии. Они запираются ставнями, запираются замками от стихийной силы жизни. А поэт остается совершенно беззащитным, совершенно открытым перед этой силой: и он ставит на карту все - не только жизнь, но и душу. Ибо открыт и беззащитен не только перед людьми, - но и перед демоническими силами.

Однако есть у поэта свой ангел-хранитель в этом хаосе, на этом шабаше, в этом бездушном просторе. Этот ангел - боль. Пока душа чувствует боль, свою и не свою, — пока она готова принять и вынести боль - готова на жертву, - она жива и низшими силами не побеждена.

Глава 7

ВСАДНИК ИЛИ КЕНТАВР?

Но почему же все-таки надо «вниз, по такой грязи»? Почему нельзя остаться на Горе?

Почему Гора велит туда, в «сброд - рынок - барак»? Да, почему же? Почему опять разорванность? Неужели нельзя иначе?

Если любовь с Родзевичем (герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца») и есть Гора, то что и кто вправе помешать ей? Ну, не задалась жизнь с Сергеем Эфроном. Пришла другая

любовь. Ведь пишет Марина Ивановна Бахраху: «С ним я была бы счастлива. Расстались в самый разгар любви моей к нему и его ко мне, разбив обе наши жизни.

Да кому же нужна такая жертва? Неужели Сергею Яковлевичу? Вряд ли... Известно его письмо к Волошину, где видны его страдания, невыносимость его положения, готовность на разрыв - которому противится Марина Ивановна, уверяя, что он без нее погибнет...

В письме к Родзевичу она говорит: «Я в первый раз люблю счастливого и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть!»

Гора горевала, что быть с другими

Нам (не завидуя тем другим)...

Ну, а коли так, то зачем же и быть с ними? Унижая их, разрушая себя? Точного ответа на этот вопрос мы не получим. Может быть, - до тех пор, пока не истечет назначенный Ариадной Сергеевной Эфрон срок и не откроются архивы, а может быть и после того. Нам остается только творчество Марины Цветаевой, где по существу содержится ровно столько, сколько нам нужно.

Вот очерк «Октябрь в вагоне», строки из письма в тетрадку к Сереже, написанные в момент нечеловеческого напряжения, безумного страха за его жизнь:

«Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька. Я написала Ваше имя и не могу писать дальше».

И в очерке, после этого:

«Ни разу о детях. Если С. нет, нет и меня, значит нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С».

И дает клятву - всю жизнь за ним, как собака, идти, если будет жив.

Марина Ивановна к клятве относилась серьезно. Но не только в клятве дело. Еще серьезней она относилась к душе, к любви. Знала ведь про вечную душу и про вечную любовь - вообще про вечность. Ведь она Вечность пощупала сердцем. Недаром осталась эта загадочная «посмертная сквозь», этот «загар Вечности»... Ведь это она говорила: «Если было и прошло, значит и не было». То, что действительно было, не проходит. Так что же такое ее чувство к Сереже? Было оно или не было? И что такое ее чувство к Родзевичу?

О силе любви к Родзевичу говорят поэмы. Но и Сережу Марина глубоко любила. Ариадна Сергеевна Эфрон писала Борису Пастернаку, что Марина его - так же, как и папу, - никогда не переставала любить. Только в них двоих, может быть, она и не разочаровывалась никогда (третьим, надо думать, был Рильке...).

Если бы каждое чувство занимало свое, только свое, ему предназначенное место, если бы они не перебивали друг друга, не сбивались в кучу и не мешали одно другому! Если бы в этой огромной душе был строй и космос, а не великий хаос, - из которого рождались миры, - но все-таки великий и мучительный хаос!.. И об этом пишет она сама тому же Родзевичу: «Я в вас чувствую силу. Этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня - хаос! - а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или все - или ничего, но в этом все - как в первозданном хаосе - столько, что немудрено,

что человек пропадавал в нем, теряя себя, а в итоге, меня...»

Действительно - хаос. Прежде всего, это были бы неверно сшитые душа и тело. Ощувив в высочайшие мгновения души реальность Вечности, опаленная ее огнем, Марина Цветаева как бы потеряла ясность земного зрения. На земле она ежеминутно спотыкалась и расшибалась и, вероятно, расшибала других. На земле она не умела и все время рвалась вон с земли. Она иногда пыталась установить на Земле законы Вечности, а иногда навязывала Вечности земные законы: «Любя шум дерева, беспомощные или свободные манования его, я не могу не любить его ствола и листвы: ибо листвой шумит, стволом растет! Все эти деления на тела и души - жестокая анатомия на живом, вы- борничество, эстетство, бездушие...».

И вот - выводы из этого... «Люблю Генриха Гейне» - значит, что если бы он сейчас встал и вошел в комнату, она, встретив его всей душой, тут же должна была стать его невестой, женой, любовницей... Душа и тело - одно. «Обособить - оскорбить обоих», - говорит она о душе и прахе поэта в поэме, посвященной Рильке. Обособить, поставить на свое место, в земные рамки — нельзя, - не хочет, не может. Поэтому - прочь все земное. Тело — тюрьма, гиря...

Все это логически обосновывалось, становилось убедительным и доказательным и тут же теряло свою непостижимость, многомерность. Великий мастер метафоры, Цветаева порой пыталась реализовать метафору в жизни и тем убивала ее.

Ведь есть вещи, которые предстоят земному зрению и слуху только в образе. Не иначе. Целостность духа можно увидеть только в образе. Образ зыбок, непрочен, но через него мы видим Цельность, - как в рильковском сонете:

Видишь звезды? Небосвод открытый.
Разве там не всадник в вышине?
Гордый конь и с ним в созвездье слитый
Тот, второй, сидящий на коне.

Двуединство - в этом суть природы,
Жесткой, сжатой — все сопряжено:
Гнет и воля, шпоры и свобода,
Снова дали. Двое суть одно.

Суть одно? А может, всадник звездный
С лошастью простится? Мир велик...
Луг и стол накрытый ждут их розно.
Значит даже в небе скрыт обман?
Но мы видим цельность... Пусть на миг.
Этого довольно. Образ дан.
(«Сонеты к Орфею, ч. 1, № 11. Перевод З. Миркиной)

Конь и всадник как образ цельного - святая правда, как буквальность - обман. Они соединены не навек, а только на время. На время пути, необходимого для высшей цели. Наши души и тела соединены также на время - на время земной жизни, на время пути Духа куда-то, к неведомой цели. Всадник - Дух. Кони - стихия, страсть. И стихия, страсть, отдав всю свою силу Духу, должны внести его в безграничный простор - и, оставив там,

уйти на свое место.

Звездный всадник не стал кентавром. Не прирос к коню.

Душа Марины Цветаевой к своему коню - страсти, стихии - прирастала и не умела соскочить вовремя.

Душа сливалась с телом как бы навек. Утверждалось и ощущалось полное равенство души и тела (полная слиянность): «Все эти деления на души и тела - жестокая анатомия на живом». А потом душа восставала и пыталась вовсе разделиться с телом (полная раздельность: «Тело? Мне нету дела») И разрушалось Двуетдинство - данное на миг - в образе.

Цельности в Марине Цветаевой не было. Мучительная раздвоенность. Так жить нельзя было. И она понимала это.

«Вы сделали надо мной чудо, - писала она Родзевичу, - я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я до Вас любила. Деревья! Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась. Я не умела с живыми! Отсюда сознание; не женщина, - дух! Не жить - умереть. Вокзал. Милый друг, Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была - чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы... Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: «Вы все можете», и я, наверное, все могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», - и так действительно нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня — страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в других мирах: сильный там - слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить — или убить. Вы меня просто полюбили...»

Так вот что, полюбить ее — значит излечить. Не любование и не бессильное сочувствие — тут нужно что-то третье: принять и полюбить ее душу, вовсе не принимая того, что мучило, разрывало и унижало ее. Полюбить ее душу — значило помочь ее душе... Ее «сила в других мирах», ее чувство Вечности было подлинным. Но она не умела воплотить этого чувства вечности в жизни. И это было мукой, подобной муке мастера, которому никак не удастся перенести в слово, краски, мрамор то, что велит душа. Цветаевой все удавалось перенести в слово, но в плоть жизни — нет... Не все удавалось. То, главное, оставалось внутри, в душе, в снах. И сюда, в душу свою, в иные, сновиденные миры она и звала.

Звала души, а соединялись тела, опять и опять тела, как бы отделившиеся от душ, не воплощавшие души... «Телам со мной скучно, - писала она Рильке в 1926 году. — Они что-то подозревают, и мне (моему) не доверяют...» «Мне»... «моему»... Что это такое? Прозрение души, что она больше тела? Глубже, истиннее, вечнее? Но разве любовь — это соединение только тел? Разве она не знала такой любви, в которой сквозь тела соединялись души?

«Любовь слышит и чувствует только себя», — пишет Цветаева Рильке в том же письме. В любви она сталкивалась с неодолимым эгоцентризмом (в письме Бахраху писала, что в момент близости любовник от нее дальше, чем когда-нибудь). Как же преодолеть этот эгоцентризм? У Марины Ивановны есть только один способ: перенести любовь из этого

мира в тот, за-очный.

И вот она устает быть «отсутствующей в присутствии» и решает быть «присутствующей в отсутствии». Когда только душа, одна душа - вне тела, без тел. И не надо воплощения, ничего не надо, кроме «бессмертной мечты». Жить со своей мечтой, ничего не ища на карте, отчаявшись искать во вне... «Заочность. За оком живущая вящая явь...»

Это, конечно, возврат на свою высоту, в свое духовное пространство - в свой «одиночества верховный час». Но происходит ли в за-очности реальная встреча душ, их соединение? Нет. Здесь «другой, живой» - по ее словам - был лишней. С ним она не умела. Он был стеной, об которую билась.

С телами - ложь. Без тел - бестелесная правда, где-то вне жизни существующая. Дух и плоть становились антагонистами. Дух не воплощался. И плоть не одухотворялась. И жизнь становилась местом, где жить нельзя.

Но вот приходит человек сильный и зоркий, который любит и видит ее. И, кажется, может сделать жизнь местом, где можно жить. Это неслыханное счастье. И, однако, оно не состоялось. Почему?

Она сама пишет, что их разлучает низость жизни, «жизнь петитом» (в противоположность Жизни с заглавной буквы): быт, маленькие низости и лицемерие. Раньше она их ненавидела. Теперь просто - не видит, не хочет видеть - пишет она в своем письме Родзевичу. Неужели только это?

Кто знает... Но думается, что не только. Думается, что тут больше и гораздо больше...

Сделать жизнь местом, где можно жить, было не под силу и Родзевичу. Он ставил ее перед выбором. Она должна была выбрать его и отрезать другое. Иначе в жизни нельзя. (Чтобы воплотить, надо ограничить.) Но Марине Цветаевой нужна была Безграничность. Ей во всех границах - тесно. Как же, однако, выбрать Безграничность? Выбрать всеобъемлющее? Из чего выбирать?

Безграничность сама приходит и берет душу, заполняет и исцеляет. Делает целой.

Совершается таинство; с душой нечто делается.

Тезей сделал нечто грандиозное, сверх всех человеческих сил, выбрав Вакха. Сделал, Но сделалось ли что-нибудь с ним? Одна часть выбрала, подавила другую. Остались, однако, две, а не одно. Всякий выбор неполон, недостаточен, даже выбор высшего.

Да и был ли Родзевич выше Эфрона? Неведомо. Мы не так много о нем знаем. А что говорят нам поэмы? Что мы знаем об их герое и о каком-то вынесенном за рамки текста муже героини? — Ничего почти не знаем. Известно одно: был великий порыв, великое тяготение, девятый вал величиной с гору. Но порыв этот вовсе не сделал душу Цельной. Было это, но было и другое. И где-то далеко за пределами и того и другого оставалась тихая и неделимая на части полнота души... Которую нельзя выбрать. Которая приходит и берет сама — великая миротворная бездна.

Цельному морю нужно все небо.

Цельному сердцу нужен весь Бог.

И если цельному сердцу нужен весь Бог, то и Богу нужно все цельное сердце. А ее сердце рвется на части и не может выбрать между долгом и страстью, между валом стихии и седьмой заповедью...

Да и как ни велик этот вал, где-то в глубине души вовсе нет уверенности, что он не схлынет, как схлынули все прежние волны, оставив голую душу на пустом берегу. «Одной волною накатило, другой волною унесло»...

Так ведь и было с Родзевичем. Как разочаровали ее позднейшие встречи с ним! «Знать бы, что все так кончится...» - писала она Черновой-Колбасиной.

Нет, не вся душа умещалась в этой страсти, и не страсть была той твердыней, на которой Цветаева могла строить свой мир... Нет, не страсть. Ни страсть, ни долг твердыней не были. Страсть может отхлынуть, как нахлынула. Долг может зашататься, как почва, колеблемая вулканом.

И остается сердце, раздираемое надвое. Есть два, а не одно. Есть борьба начал. И одно начало невольное, от волн не зависящее, другое волевое. Одно начало покоряет и парализует волю, другое собирает и дает возможность господствовать над собой. И если уж надо выбирать, то Цветаева всегда выберет начало волевое, активное, то, в чем ее душа может дать, а не взять. Поэтому между счастьем и страданием всегда выберет страдание. Добровольно выбранное страдание для нее выше свалившегося на голову счастья. Она не может быть счастливой, если счастье это отделяет, разделяет ее со страждущим миром. Но ведь она доставляла страдания (и надо думать, немалые). Да. Но в это время и сама страдала. А быть счастливой рядом со страданием, с болью, со смертью? Нет!..

Дай-кошь, я с ним рядом ляжу.

Зако-ла-чи-вай!

Так вот она и кладет себя в гроб. Если уж выбирать, выбирает - это.

- Уедем, говорит любящий, предлагая выход из безысходности.

- А я: умрем,

Надеялась, это проще!

Достаточно дешевизн:

Рифм, рельс, номеров, вокзалов...

Любовь - это значит: жизнь. -

Нет, иначе называлось

У древних...

Итак? -

Лоскут

Платка в кулаке, как рыба.

Так едемте? - Ваш маршрут?

Яд, рельсы, свинец - на выбор!

Смерть - и никаких устройств!

Жизнь! — как полководец римский,

Орлом озирая войск

Остаток.

Тогда простимся.

(«Поэма Конца»)

И тогда любящий и любимый, вероятно, ошеломленный, говорит:

Я этого не хотел.

Не этого...

ее мысль, не произнесенная вслед, стучит в ней:

Хотеть — это дело тел.
А мы друг для друга души
Отныне...

Вот так - «души», - отрешившиеся от всего земного. Уже ничего - для себя. Уже ничего не надо, невозможно отталкивать, ни у кого не надо вырывать свою часть, свой лоскут. Вот как пришла всецелость. В виде великого отречения. Великого ничего. Все или ничего. Всего нельзя в жизни. Значит - ничего. Впоследствии, в своем письме на тот свет, к самой дорогой в мире душе, к своему вечному и, может быть, самому истинному возлюбленному - Рильке, она напишет:

Ничего у нас с тобой не вышло.
До того так чисто и так просто
Ничего, так по плечу и росту
Нам - что и перечислять не надо.

На земле, на этом свете — ничего не вышло. Но

- взамен всего — весь тот свет.

(«Новогоднее»)

Осталась цельность и высота души, не позволившая себя расколоть.

На этом свете, в мире тел, в мире страстей, желаний, вихрей - все разорвано на части и надо выбирать. И вот в одном случае она сама выбрала — ничего (с Родзевичем); в другом — судьба выбрала, смерть выбрала. Кто знает, может, Рильке и был бы тем единственным, с которым (в котором) все спелось и спелось. А может быть и нет. Как бы там ни было, судьба решила и выбрала за них обоих.

Ее душе заповедано было вынести отречение. Заповедано встретиться, прежде всего, с самой собой — сбиться через боль, через отказ от всего внешнего, быть может, через смерть любимого. И после этого душе (живой душе) остается тот свет — то есть духовная реальность. Это то, что больше всякой отдельной жизни. И Марина Цветаева выбрала это. Быть может, это предел того, что может сделать человек. Дальше — делать нечего. Дальше надо уметь перейти от действия к созерцанию, от активности к пассивности. Ничего не делая, дать делаться чему-то внутри себя.

Конь принес всадника к некой земной границе — границе всякой деятельности. Дальше — коням нельзя. Конь должен остановиться, всадник — спешиться.

Чтобы сохранить истинную верность Безграничности, надо было понять, что здесь, на земле, все конечно, ограничено. И таким и только таким должно быть.

Земная ограниченность — не путы, а путь в Безграничность небесную. Безграничное тело - это чудовище. Безграничность физическая, земная есть дурная бесконечность. Чтобы войти во внутреннюю безграничность, надо найти внешнюю границу. Точную меру — соотношение души и тела.

Не отречение от тела, а отречение от земной безмерности нужно душе.

Да, тело не безмерно (и слава богу!). И оно живет в мистическом браке с душой,

неслиянно и нераздельно с нею. Да, тело имеет свое особое место. Его можно и нужно обособлять от души (неслиянно). И только это - условие их нераздельности. Цветаева же отказывалась обособлять и ограничивать, потом рвала связь, вырывалась из тела вон. А надо было только смирить, остановить внешнее движение... Всадник должен был остановить коня. Дальше некуда. К земле подступило море. Море Духа. И надо застыть на морском берегу, не заботясь о том, что ты будешь делать теперь. Море есть граница земли, и там, за границей, начинается истинная безграничность.

Глава 8

СТРУЕНЬЕ, СКВОЖЕНЬЕ...

Затихнуть... Остановиться. Дать отдых взмыленному коню. Ничего не делать... «Впервые руки распахнуть! Забросить рукописи!». И вздохнуть всей грудью - всеми деревьями... «Вашиими вымахами ввысь, как сердце выдышано».

Да, в лесу именно этого, только этого она и хочет. В аду мира есть Элизиум — лес. Деревья...

Други! Братственный сонм...

Вы, чьим взмахом сметен

След обиды земной,

Лес! — Элизиум мой!

Как все разорвано в мире людей - и как цельно, как просто здесь, «в тишайшем из братств»! И «собутыльница душ» хочет избрать трезвость - ясность, просветленность леса. Деревья идут в одном направлении с ее душой - ввысь и внутрь.

То, что душа ее угадала это свое собственное направление, было ее великой тайной, ее глубинным открытием. Мир людей сбивал ее с ее направления, искривляя пути. А «здесь, над сбродом кривизн - совершенная жизнь»...

Где ни рабств, ни уродств.

Там, где все во весь рост,

Там, где правда видней:

По ту сторону дней...

По ту сторону всего частного, дробного. Там, в мире людей, душу разрывали, разделяли, разлучали с самой собой. И вдруг - душа смыкается, становится целой.

К вам! В животворную ртуть

Листвы - пусть рушащейся...

(«Когда обидой опилась». Цикл «Деревья», № 2)

В тишину... Тишина леса, бесконечно живая. Гармоническое согласие, где каждому голосу есть место, где все - музыка, а не крик.

Ах, с топочущих стогн
В легкий жертвенный огонь
Рощ! В великий покой Мхов!
В строение хвой...
(«Други! Братственный сонм...». Цикл «Деревья, № 4)

В себя саму, которой так невозможно быть там, среди людей, и так просто здесь, в нетронутой, неискаженной мировой первозданности, в этой «прохладе вечности», которая лечит «обиду времени». Здесь, в лесу — ее царство. Здесь никто ее не теснит, не спорит с ней, не преграждает ей путь. Напротив, здесь все — путь, сквозь все просвечивает вечность. Сквозь все предельное - запредельность. Тишина и неподвижность деревьев, тишина и внутреннее движение ввысь и вглубь, к незримой завесе, к неслышимому голосу. Деревья - дороги в то, что выше нас и глубже нас:

Но, юным гением
Восстав, порочите
Ложь лицемерия
Перстом заочности.

И — прочь от прочности!
И — прочь от срочности!
В поток! — В пророчества
Речами косвенными...
(«Каким наитием...». Цикл «Деревья», № 9)

Только речами косвенными можно сказать о том глубочайшем, о заочном, что проходит сквозь всё видимое. Деревья тихо и смиренно расступаются перед этим Внутренним, склоняются, «расплетаются», развоплощаются, обнажая Дух...

Так светят седины:
Так древние главы семьи –
Последнего сына,
Последнейшего из семи –
В последние двери —
Простертым свечением рук...
(Я краске не верю!
Здесь пурпур - последний из слуг!)
(«Не краской, не кистью...». Цикл «Деревья», № 6)

Высшее, главное - не то, что видим, а то, что «под веками»; не то, что есть мы, а то, что есть в нас:

Не краской, не кистью!
Свет — царство его, ибо сед.
Ложь — красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.

Цвет, попранный светом.
Свет - цвету пятою на грудь.
Не в этом, не в этом
ли: тайна и сила и суть

Осеннего леса?
Над тихою заводью дней...
Как будто завеса,
Рванулась - и грозно за ней...

Грозно, ибо мы подошли к краю всего земного. Грозно — ибо здесь скрещение миров, молния из другого мира, расширение сознания, раскрытие третьего глаза. И вот этот третий глаз, глаз Души видит:

Лицо без обличья,
Строгость. - Прелесть.
Все ризы делившие
В Тебе спелись.

Листовою опавшею,
Щебнем рыхлым,
Все криком кричавшие
В Тебе стихли.

Победа над ржавчиной –
Кровью - сталью.
Все навзничь лежавшие
В Тебе встали.

(Цикл «Бог»)

Бог, не видимый глазом, изображается в душе. В ее невозмущенной тишине, в ее сокровенной глубине хранится Божий образ.

Душа, которая вошла в эту тишину и глубину, прикасается к Богу. Мимо всех вопросов о вере и неверии. Она Его знает. Она Его обнаружила. Тот, кто войдет в глубину, тот сам это узнает.

Марина Ивановна вошла. И... оборвалась связь с миром явлений, с миром всего высказанного, явного. Она знает, что есть Несказуемое, неявное, перед которым все слова и образы - ничто. Только те слова, которые знают, что они - ничто, и могут быть достойны Того, несказанного:

Струенье... Сквоженье...
Сквозь трепетов мелкую вязь —
Свет, смерти блаженнее,
И — обрывается связь.

Теперь только то слово, которое подведет к этому Обрыву, к этой небесной шире, к этому наполненному молчанию, - только то слово и будет истинным.

- Уже и не светом
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом ли —
и обрывается связь.

Косноязычие? Шепот? Срыв голоса?.. А как еще скажешь о Том?

Так светят пустыни.
И - больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...
(«Не краской, не кистью...»)

«Больше сказав, чем могла». Больше - не может. Нельзя больше. Как можно увидеть тайный рост, происходящий внутри нас? Или, если воспользоваться образом Рильке, - как могут охотники поймать золотого оленя, который пробегает сквозь них? Можно только замереть, чтобы слышать это внутреннее движение, этот неуловимый бег беззвучных ног:

О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку
Как стройнейший гимнаст...

Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог — уходит от нас.

О, его не приучите
К пребыванию и к участи!
В чувств оседлой распутице
Он - седой ледоход.

О, его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог — ручною бегонией
На окне не цветет!

Ибо бег он - и движется.
Ибо звездная книжица
Вся: от Аз и до Ижицы —
След плаща его лишь!

(Цикл «Бог»)

Бег... Вечный бег по отношению к нашим глазам, ушам, рукам — ко всему, что хочет удержать, остановить, рассмотреть. Не пытайтесь найти Его вовне. Ускользнет, убежит. Его увидит только тот, кто «отчаялся искать вовне» и затих, замер. Вот так затихал архангел перед Богоматерью, неся ей не умещаемую в слова и память благоую весть:

Необычная она! Сверх сил!
Не обвиняй меня пока! Забыл!
Благословенна ты! Велел сказать —
Благословенна ты! А дальше гладь
Такая ровная... Постой; меж жен
Благословенна ты... А дальше звон
Такой ликующий... - Дитя, услышь:
Благословенна ты! — А дальше — тишь
Такая...

Вся суть в том, чтобы войти в эту тишь. Благоая весть только подводит к ней. Ее нельзя уподобить ничему земному. И потому - где же взять земные слова? Ведь

Все великолепье
Труб — лишь только лепет
Трав — перед Тобой.

Все великолепье
Бурь — лишь только щебет
Птиц — перед Тобой.

Все великолепье
Крыл — лишь только трепет
Век — перед Тобой.

(Цикл «Ученик»)

Сколько сказано о своеволии Марины Цветаевой, о ее гордыне, а мне хочется спросить, - есть ли в русской поэзии стихи, равные по смирению и тишине?

Какое радостное чувство своей малости, своей ничтожности, какая ликующая самоотдача Величайшему! Какое абсолютное бескорыстие и отсутствие самости... Если только сердце почувствовало этого Величайшего, Высочайшего, если только оно ударились об Него, - сама смерть будет счастьем. Ибо в Нем, в том Высшем живет ее собственный смысл. И - пусть листва рушится, пусть тело преходит, - «есть там - от», как сказал четырехлетний прозорливец (о котором она рассказывает в «Искусстве при свете совести»).

Она чувствует, что там, за пределом своей, отдельной жизни есть разлившаяся, не отделившаяся от всего, не выделившаяся в замкнутый комочек, жизнь. Всецелая жизнь, Вечная жизнь...

Порог. Она у порога. За ним - Бог. Не абстракция, не рассуждение - живой Бог. Он приходит только к тому, кто знает самозабвение, самоотречение, кто подошел к

собственному пределу, кому себя - мало.

Душа хочет вылететь из «себя малого», «себя здешнего», как бабочка из кокона. Марина Цветаева больше всего на свете хочет этого. И в глубокие часы души она вылетает за пределы себя. И приносит оттуда все свое знание, не предваренное, не обусловленное ничем. «Я все отродясь знала...»

Первобытное знание и каждый раз заново открытое сердцем. Сердце сначала открывает, потом ищет название, имя только что открытому И чаще всего - Ему нет имени...

...Нет имени моим

Потерянностям...

.....

...- выросшая из потерь!

Да, сердце растет из потерь. Теряется все готовое, все внешнее, все оформленное, все имеющее меру и образ. И - все творится заново.

И если все это новое, трепещущее, животрепещущее, абсолютно живое - вдруг называется старым, как мир, словом - Бог, - то только потому, что открывается неисчерпаемость, необъятность, и поэтому незаменимость этого слова. Короткого и емкого, как вздох, вмещающий целую жизнь.

Открыть заново - не значит изобрести новое. Она открыла то, что есть, есть всегда и от чего люди так бесконечно удаляются. Она приобщилась, подошла вплотную и вскрикнула, как от ожога. Бог для нее - ожог, огонь!

«Господь Бог твой есть огонь поедающий», — говорится устами Моисея в Библии.

«Пожирающий огонь — мой конь», — вторит стих Цветаевой. Огонь, который прожигает покров. Нет покрова. И есть глубинное знание того, что жизнь больше всех покровов. Это знание осталось загаром Вечности, проступающей сквозь все бури; внутренний противовес страстям.

Нет, душу не так просто отождествить с ветром, огнем — с самой стихией. Все это набегит, промчится и схлынет, а душа - останется. Сквозь все и надо всем.

Золото моих волос

Тихо переходит в седость.

- Не жалеете! все сбылось,

Все в груди слилось и спелось.

Спелось — как вся даль слилась

В стонущей трубе окраины.

Господи! Душа сбылась: -

Умысел Твой самый тайный.

Глава 9

НА БЕРЕГУ БЕСКОНЕЧНОСТИ. МОРЕ

«Душу свою я никогда не ощущала внутри себя, - пишет Марина Цветаева Черновой-Колбасиной, - всегда вне себя - за окнами. Я - дома, а она за окном. И когда я срывалась с места и уходила - это она звала (не всегда срывалась, но всегда звала). Я - это моя душа + осознание ее».

Последняя строка звучит так странно, что в книге писем поперек типографского минуса был поставлен каким-то читателем карандашный плюс. Действительно, естественнее звучит «я — это моя душа, осознание ее». Но это лишь на первый взгляд. Вдумавшись, понимаешь всю бездонную правду цветаевский формулировки, да и всего отрывка. Человек меньше своей души. Человек не объял и не осознал свою душу.

У Гоголя в «Страшной мести» сказано: «Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее».

Душа наша знает больше нас. Душа наша бесконечна и бездонна. Она больше нас настолько же, насколько небо и море больше нас. Но когда мы видим небо и море, когда мы не скользим по ним взглядом, полные собственных мыслей, надежд, проектов, - когда мы воистину останавливаемся и затихаем, замираем на берегу Бесконечности, - нас вдруг охватывает чувство высшей жизни. Мы ощущаем тогда, что Бесконечность эта не чужая нам, что, может быть, она роднее всех вещей, всех привязанностей. Она не только перед нами, над нами. Она — в нас. У нас внутри — Тайна.

Муйегу. Тайна. Мистик - человек, знающий тайну. Но не чужую, а свою собственную внутреннюю тайну. Человек, знающий тайну своей глубины, знающий своего Бога. Ибо Бог и есть тайна нашей глубины. Самое таинственное, самое бездонное и в то же время внутреннее нам, а не внешнее. Человек, познавший это, знает, что он сам бездонен, безмерен, бесконечен.

Но ведь он все-таки конечен... Он - человек. Он смертен. Ограничен в пространстве и во времени. У нас есть два «я»: наше малое, человеческое. И наше великое, божественное. Одно в доме, другое - за окном, одно в тесных стенках, другое - в просторе, в небе. Одно говорит, дышит. Другое - молчит и дает всем дышать собой. Но это - я...я... Осознать, объять свое вечное «я» и найти равновесие между ним и земным, малым «я» - вот духовный Путь, на который встают, по которому идут подвижники, святые, мистики. То есть те, кто хотят полностью осуществиться, хотят родиться не только во плоти, но и в духе - стать вполне развившейся духовной личностью.

В начале пути - потрясение от первой встречи со своим великим «я» и как бы потеря почвы под ногами, провал в какое-то мировое пространство и великая обостренность и напряженность чувств, непонятные тем, кто стоят на твердой земной почве (чего они кричат? Чего выходят из себя?).

Но те, выпавшие из земного гнезда, не кричать не могут. О том, что им открылось, нельзя сказать умеренными словами. Держаться в рамках и берегах - невысказано. Душа почувствовала свою собственную безбрежность и устремилась к ней. А путь к ней так труден! Как жить «с этой безмерностью в мире мер!»

Люди чаще всего знать не хотят о своей безмерности. Она им мешает. Не уместается ни в какие дома, грозит снести стены.

Приходится выбирать между стенами, домом — и огромностью души. Душа — счастье — полнота жизни — за окнами. Но как жить за окнами? И ведь «надо же хоть кому-нибудь счастья в доме и счастья в дом»?

Надо ли срывать с места по зову души? И можно ли не срывать? И чего вообще надо и не надо? Безмерность сотрясает старые устои, а новые неведомы. И есть ли вообще эти новые устои?

Человек, почувствовавший свою безмерность, то бесконечно, непредставимо счастлив и как бы улетает на небо; то бесконечно, непредставимо несчастлив, и вся земля (целая гора) лежит надгробием на его живой душе. Ему на земле невозможно. Он хочет — с

земли. «Не жить, умереть!»

Установить отношения между двумя своими «я», - значит заключить мистический брак со своей безмерной душой. Тому, кто полюбил Безмерность, кто призван Ею, надо добиться Ее взаимности. Первый шаг к этому — отталкивание от прежних взаимностей с миром, с вещами, разрушение прежних границ. «Он тот, кто смешивает карты» («Поэт — издали заводит речь...»). И через эту полную разъятость, полную дисгармонию пробиться к гармонии высшей, космической, к чувству единства со всем миром, чувству Всецелости. Деревья гармоничны, тихи. И душе так хорошо с ними, с этими тишайшими!.. Душа любит их тишину, но она сама еще не тиха. Ее тишина притаилась там, на звездах, и здесь, в безлюдном лесу. Может быть, совсем рядом, но не внутри, находится эта тишина и гармония. Душа тоскует по гармонии, но она еще не гармонична. Ее высшее «я» гармонично. Но оно — за окнами. Она его видит, рвется к нему — и не достигает. Разлука с самой собой, разъятость на части. И нет земных сравнений ни для ее восторга и любви, ни для тоски.

О, если б так Синай затосковал,
В горах бы гулкий прогремел обвал.

И если б было столько слезных рек,
То верно б, Ноев затонул ковчег!

В моей груди огонь с горы Хорив
Внезапно вспыхнул, сердце озарив.

И если б не неистовость огня,
То слезы затопили бы меня.

А если бы не слез моих поток,
Огонь священный грудь бы мне прожег...

Эти слова принадлежат суфию Ибн аль-Фариду. Так начинается поэма «Путь странника», путь Духа, раненного Безмерностью и ищущего слияния с ней.

Те же громоздящиеся, как горы, метафоры, та же неумещаемость ни в какие пределы, та же цветаевская грандиозность - и абсолютная подлинность чувств...

В этой грандиозности неуютно, даже страшно. Но как иначе перейти через пропасть - от гармонии уютного дома к гармонии Космоса? Можно ли ступить из окна на небо и сразу очутиться на другой звезде? Можно ли из маленького уравновешенного внутреннего мирка вступить в духовный космос, минуя хаос, разъятость, бездну?

Те, кто пришли к космическому строю, чаще всего скрывали от нас ужасы своего пути. Но через эти ужасы прошли, так или иначе, все, в том числе и святые. Ибо что такое легион бесов, который вился вокруг них? Страшный Дух, искушавший даже самого Христа в пустыне?.. И о каком кошмаре богооставленности говорит нам смиреннейший схимник Силуан!..

Душа призвана своим великим «я». Оно уже появилось, взошло на духовном горизонте. И - скрылось. Это подобно солнечному затмению. Это близко к ощущению конца мира. Что нужно сделать, чтобы оно вернулось и не уходило? Что требуется от этого малого «я»?

Что-то огромное. Может быть, непосильное. Нельзя выполнить и нельзя не выполнить. Скрыться от этих высочайших требований - значит спрятаться от себя самого. Куда? В черную утробу кита, как пророк Иона, бежавший от своего призвания? Во тьму небытия? - «Не жить — умереть!?»

Они могут биться головой об стену и проклинать Того, Кто потребовал от них столь многого, - все равно ничего не поможет этим Иовам. Сколько б они ни метались, сколько бы ни вопрошали: «за что?!» - нет такой беды, которая бы их миновала.

Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы — когда б:

Поэты мы - и в рифму с париями,
Но, выступив из берегов,

Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!
(«Есть в мире лишние, добавочные...». Цикл «Поэт»)

Выступив из берегов, эти нищие, эти «лишние и добавочные» идут навстречу своему великому «я», своей божественной сути. И чем меньше они имеют земного, тем больше их дух...

Они растут по мере своих потерь, вырастают из потерь своих... Их душа вела их за окна, за мир, за вещи - за все границы. Они призваны к безграничности. И как ни недоумевают те, оставшиеся на берегу, как ни увещевают Иова его друзья, как ни учат, как ни урезонивают, Бог заговорит не с ними, а с самим Иовом. Ибо ни на какой берег Бог не приходит. Его можно встретить только в безбрежности, только «выступив из берегов». Бог приходит к тем, кто призван вместить Его. Иов призван был вместить Бога. И вместил. Вот почему после бури наступает тишина. Это была тишина его души. Нет еще тишины в душе Марины Цветаевой. Бог еще не вмешен внутрь. Хотя законность, безмерность — ее призвание.

Богом она позвана. К Богу она призвана. Но еще неместила Его.

Бог более всего на свете любит тех, кто Его вместил. В ком «все навзничь лежащие встали». В ней самой они еще не встали. То есть они встают на миг, на час, «в глубокий час души», и — снова падение в дни. Завеса, отделяющая дни от Вечности, одним рывком вздымается и - падает. На мгновение, как при свете молнии, видно то, что «за ней». Но остаются две стороны: «эта» и «та». В душе два начала, а не одно. Гармония не достигнута. Есть хаос и устремленность к гармонии. Хаос и любовь к гармонии. И все-таки хаос, а не гармония, не согласованность одного начала с другим, бунт, а не тишина, бунт и мольба о тишине.

Прежде всего, это бунт против всяких границ. Не затихание у границы, за которой начинает действовать Бог, не созерцание, а бунт.

Что такое море? Самый совершенный образ Безграничности или нерушимая, неодолимая граница земли?

И то, и другое.

Море дает Образ нашей внутренней безграничности, безмерности Духа. И море — граница для наших ног, обрыв почвы, предел земного пути.

Надо согласиться на этот предел, чтобы попасть во внутреннюю беспредельность. Марина Цветаева не согласна! Для нее всякая граница - это смерть. И море - это смерть, - обрыв, - ничто. Здесь, у моря, как бы кончалось всякое пространство, в том числе внутреннее пространство ее души. Примерно так она чувствовала. Здесь - душа терялась. Вся она, со всем своим духовным богатством, со всеми бесконечными возможностями, была не нужна морю. Здесь ей - нечего делать. Здесь она не на месте.

Когда душа билась в тисках «дома», быта, когда ее сдавливали «мелкие низости дней», она напрягала свои недюжинные силы и прорывалась сквозь все. Оставляя окровавленные ключья на решетке, - вырывалась внутрь - в свое пространство.

Но вот перед нею - полная свобода. Казалось бы, совершенно свое пространство. Никуда рваться не надо. Борьбаться? С чем? - Океан. Безграничность. Наконец-то вырвалась из своего страшного быта. Наконец-то - сплошной чистый лист. - Пиши! Но тут-то вдруг она и замолкала. Именно у моря, в полной свободе не могла писать. Ей нужны были стол, четыре стены... и, вероятно, напряжение борьбы с этими стенами пространства и времени. Нет стен. Безграничность. - И тут оказывается, что Безграничность, - так влекшая, так звавшая ее Безграничность, - встает между душою и жизнью, встает как сама смерть. Безжизненное, отрешенное море... Может быть, в нем чувствуется отрешенность Бога, Творца, бесконечно далекого от всех тварей, равнодушного, безразличного, до которого не дозовешься. Погибай, умри, ты - песчинка, и Ему - все равно. С ним - никакой связи. - Обрыв.

Там, в любимом лесу, ведь тоже была точка, за которой обрывалась всякая связь.

...Уже и не светом;

Каким-то свеченьем светясь...

Не в этом, не в этом ли

И — обрывается связь.

(«Не краской, не кистью...»)

Да, но деревья так бережно, так ласково подводили душу к этому обрыву... Подводили, точно дитя. Их чуткие прикосновения были так духовны... А тут, у моря, - один Дух безо всяких прикосновений. Чувственно Цветаева моря не воспринимала. Плавать не умела. «Не рыбак, не моряк»... Море предлагало только мгновенный прыжок в сверхчувственное. И душа содрогалась и - отталкивалась:

«...Моя вынужденная неподвижность. Моя косность. Моя — хочу или нет, — терпимость, — пишет она Борису Пастернаку. — А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя — как Рильке! (Себя или божества — равно). Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, все, что в нем ужасающего — оно. Суть его. Огромный холодильник (Ночь). Или огромный котел (День). И совершенно круглое. Чудовищное блюдо. Плоское, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное). Так Иегову, напр<имер>, бы ненавидела. Как всякую власть. Море — диктатура, Борис».

«Диктатура». Море ей диктует. Она не свободна в нем. Море - внешнее ей, а не внутреннее. Перед морем она — шепка, ничто. Это она-то - богиня?!..

«В мире боги есть и богини есть». А надо всеми ними - Рок. Вот он, Рок. Роковое море.

«Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли)».
Нет, полюбить море было ей не так-то просто. Но... Рильке? Самый любимый, du Lieber, - как это и он попал в одну строку со столь нелюбимым морем? Ведь преклонялась перед Рильке, относилась к нему почти молитвенно. Да, но... не только. Отношение к Рильке было неоднозначно. Поначалу и здесь была внутренняя борьба. Любовь борется с ущемленной гордостью.

«Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку — выбивает из себя, — вставший Nibelungenhort (сокровище Нибелунгов) — легко справиться?!

Ему — не нужно. Мне — больно. Я не меньше его (в будущем), но — я моложе его. На много жизней. Глубина наклона - мерило высоты. Он глубоко наклонился ко мне — М (ожет) Б (ыть), глубже чем... (неважно!) - что я почувствовала? ЕГО РОСТ. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе. Я ему писала: я не буду себя уменьшать, это Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!). Это Вас сделает еще одиноче, ибо на острове, где мы родились, ВСЕ — КАК МЫ.

Durch alle Welten, durch alle Gegenden, an allen Wegenden – Das ewige Paar – der sich - Nie – Begegnenden.

(Через все миры, через все края, по концам всех дорог Вечные двое, которые никогда не могут встретиться)».

Это чувство домирного единства (на острове, где мы родились, все как мы), эта внутренняя тяга к до-мирному единству, эта призванность узнать роднейшего и войти в его великое одиночество, - и резюме: «Как обычно, начинаю с отказа».

Но не так-то просто было отказаться от Рильке. А путь к его душе (знала, чувствовала это) лежал через море. Надо вместить море, чтобы приблизиться к Рильке. Но как, как это сделать? Она пыталась полюбить море - и не могла: «Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я лежу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная заведомая неподвижность...»

Все то же: ей здесь делать нечего. Противопоставляя нелюбимое море любимой горе, она говорит далее: «Гора - это прежде всего мои ноги, Борис, моя точная стоимость...»

Ну, а если нет ног, то ты ничего не стоишь?.. Чисто цветаевское противоречие, ибо тут же рядом: «Гора - и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом». Тире - вздох - душа, а при чем тут ноги? И разве море не может быть таким же, нет, большим, еще большим тире? Великим Тире, перед которым останавливается малое «я», тире между малым и великим «я»? Или оно - слишком большое тире, слишком затяжной вздох? На такой вздох дыхания не хватает и становится страшно, а вдруг задохнешься? не выдохнешь?..

«Борис, я не слепой: вижу, слышу, чувствую, вдыхаю все, что полагается, но мне - этого мало. Главного не сказала: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк и рыбак знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав («поэт» здесь ничего не значит, самая жалкая из оговорок. Здесь - чистоганом).

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на море - даже не пассажир. ДАЧНИК. Дачник, любящий океан... Плюнуть!»

Значит, там, где мое внешнее, физическое «я» отсутствует, там меня вовсе нет?
Кто это говорит? Неужели тот человек, который «отчаялся искать вовне» и обернулся
внутрь? Какой-то инстинктивный бунт против полного оборота внутрь, к которому она
призвана. Любопытные скобки: («поэт здесь ничего не значит. Самая жалкая из оговорок.
Здесь - чистоганом»). Вот этим чистоганом - то есть жизнью - еще расплатиться не может.
Не раз говорила, что ее специальность - не литература, а жизнь. Так вот - жить с морем
одной жизнью не может. А любить море - значит для нее - жить с ним одной жизнью.
Стихи Пастернака и Пушкина о море Цветаева любит бесконечно.
«И все-таки не раскаиваюсь. «Придается все - лишь тебе не дано...». С этим, за этим
ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: твой стих, т. е. преображение вещи. Дура я, что
я надеялась увидеть воочию Твое море - заочное, надъочное, внеочное. «Прощай
свободная стихия» (мне 10 лет) и «Придается все» (мои тридцать) - вот мое море».
Пастернаковское море, пушкинское море - это море в душе Пастернака и Пушкина. Эти
души Марина Цветаева глубоко любит. Но ее собственная душа с морем не соединялась.
Так, как они, она не может. Не так, как моряк, не так, как рыбак, не так, как Пушкин, не
так, как Пастернак... Всех их Цветаева любит. Но у нее должно быть не так... А как?
И только ли нелюбовь была у нее к морю? Не было ли здесь расколото, двойственного
чувства, такого характерного для Марины Ивановны?
Море, любовь, смерть... Это то, обо что она билась. То, к чему она никак не могла
установить своего единого отношения, что ее притягивало и отталкивало, а иногда и
притягивало и отталкивало одновременно.
Гораздо более цельный, детски-простодушный Пастернак не мог понять этого сложного
чувства любви-отталкивания, любви-вражды, иногда доходящей до ненависти, - вечный
цветаевский накал. Пастернак любил Рильке всем сердцем. Любил и преклонялся. Он и
море любил всем сердцем и чувствовал его душу, его суть: «Придается все, лишь тебе не
дано примелькаться...» У моря была тайна неисчерпаемости. И он её чувствовал радостно
и благодарно. Море расширяло и углубляло его душу. Море только давало ему силы,
ничего не отнимая. Диктатура... При чем тут диктатура?
И как можно так о Рильке? Этого Пастернак понять не мог. Но он не знал и всей меры
(вернее - безмерности) любви Цветаевой к Рильке:
«Сопоставление Р(ильке) и М(ая)ковского для меня при всей (?) любви (?) моей к
последнему - кощунство» - скоро напишет она ему. И его упрекнет в непонимании
рильковской высоты, в недостатке трепета.
Он не знает, что для нее - Рильке. И как она его любит!.. Всей собой. - «И- немножко
хребет надломя» (все равно, кому написаны эти стихи. Она так любит). Но Рильке, Рильке
не нужен ее надломленный хребет. Может быть и две руки не нужны?.. Ничего не нужно.
Как морю... Как же любить его тогда? Без рук, без губ, без всякой, даже самой чистой
чувственности - сверхчувством?..
Но ведь об этом сверхчувстве она столько раз грезила?!.. Столько раз, в снах, в экстазе
проникала в этот чисто духовный простор; столько раз, как истинный лунатик, по зову
Луны устремлялась с земли туда.
Да, в снах, в экстазе устремлялась и будет устремляться. А тут вдруг, одним рывком, при
полном сознании и твердой памяти?.. Тут она цепенеет.
Что нужно от нее этой Бездне Духа? - Жизни? - Она готова всегда была вступить в бездну,
отдать жизнь. Но - не это нужно. В эту Бездну нельзя вступить. Ее надо впустить в себя - и
слиться с ней в одно.

Чтобы полюбить море полной сверхчувственной любовью, надо было стать его каплей, почувствовать себя причастной ему и раствориться в нем. Нет меня. Есть оно. Нет двух. Есть одно. Вот когда исчезает граница души. Вот с каким требованием обращается к ней море. Но почему, почему именно к ней?! Почему библейский Бог, тот самый Иегова, которого она была готова ненавидеть, «как всякую власть», потребовал жертвы от Авраама и ни от кого больше? Все могли спокойно растить своих сыновей. А от Авраама Богу потребовался его единственный, его вымечтанный, его чудом рожденный... Вот и встреча с Ваххом, для скольких людей - чистая радость! А от цветаевского Тезея он потребовал отдать невесту, любимую, за которую тот заплатил больше, чем жизнью. Откуда эти неразрешимые коллизии? Зачем они? Как часто они отталкивают читателей Цветаевой!

А разве библейский Бог не отталкивает многих, читающих Библию? И разве не хотел вернуть билет Творцу Иван Карамазов?

В душе у Цветаевой идет великий спор. Но для нее благословить жизнь, Иегову, море, топящие корабли, — не так-то просто. А не благословить - еще труднее. И в этом - суть. Но благословить означает выполнить их (моря, Бога, Рильке) требование - вместить их в себя, преобразиться. Разомкнуть свою границу. Нет меня, есть Ты.

Замкнутая духовная граница существует только у тех, кто сам ее создает — кто огораживает себя, отгораживает от Единого Всецелого Духа. Дух Божий открыт всем. Если ты не в нем и Он не в тебе, — виновен ты.

Казалось бы, Марина Ивановна всю жизнь идет в простор Духа. Ее тело было лишь сосудом для духа. Любит всегда всей душой. «Не Ева — Психея»; губы и руки — но это то, чем душа к душе припадает. Соитие для нее пусто, скучно, «телам со мной скучно». Те, кто останавливаются на телах, на чувственности, оставляет ее одну в пустоте. Ее душа ревнует даже к собственному телу. Она не хотела бы быть красавицей: яркая внешняя красота заслоняет душу.

Но все-таки — возможно ли вовсе без рук и губ? Или:

Без рук не обнять!

Сгинь, выпранных душ

Небыль!

Не вижу — и гладь,

Не слышу — и глушь!

Не был.

(«Наука Фомы»)

Вот и Эвридика говорит Орфею оттуда, с той стороны: «Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть»...

Значит, без рук и губ влечься нельзя? Нечем?

Морю не нужны ни руки, ни губы - ничто внешнее. «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...» (Н.С. Гумилев). «Змеиный укус бессмертия», с которым кончается женская страсть. — Всякая страсть. Бесстрастие Духа.

Что это — смерть? Или высшая жизнь?

Жизнь. И Марина Цветаева это знает. Но она хорошо знает и то, что путь в эту жизнь лежит через смерть. Что мимо смерти не пройти.

И она, так часто призывающая смерть физическую, умереть в духе не готова. Открыть

границы малого «я», чтобы исчезнуть в великом - не готова. У моря ей «делать нечего». Но кто сказал, что всегда надо что-то делать? И разве в высшие творческие часы она не дает чему-то делаться внутри себя? Чем бездеятельнее сама, тем лучше, полнее делается то, что само делается, не от себя делается.

Нет творчества без сочетания активности с пассивностью. И роль пассивности здесь безусловно большая.

Почему же она так не хочет быть совершенно пассивной здесь, перед лицом Единого и Всецелого? Что это Его образ, Его лик - знает. Ведь это ей принадлежат слова:

Цельному морю нужно все небо,
Цельному сердцу нужен весь Бог.
(«В глубокий час души и ночи...»)

Знает и раздваивается. Совершенно смириться - отдать всю свою волю - не готова. Еще живёт в ней своеволие. Еще не может умереть то малое «я».

Как это трудно, не знает ни один из друзей Иова, - ни один из тех, кто смотрит на великую мистерию души со стороны. Марина Цветаева не смотрит, а проживает ее... Стоит на пороге мистической смерти и - не входит. А только за этим порогом есть некая точка покоя - ось мира, та неподвижность, вокруг которой движется жизнь.

Цветаева назвала Бога - бегом. Что ж, по отношению к застывшему, мертвому это бег - вечный бег от смерти. Но по отношению к преходящему, к проходящему, пробегающему - это неподвижность.

Пока душа убегала от преходящего, от временного, она была вместе с Богом. Но перед лицом Вечного она должна была остановиться.

Бог не бежит и не стоит.

Бог пересекает нас.

Он тот, который стоит в идущем и идет в стоящем. Это то незримое, неведомое, несотворенное, которое пересекает все зримое, ведомое, сотворенное.

Полюбить море значило для Цветаевой стать Авраамом, приносящим в жертву Неведомому и Несотворенному все ведомое, тварное.

Страх и трепет Авраама - это страх всякой твари перед бездной Творца. В одной и той же душе может совмещаться и многовековой тварный страх и вечная интуиция Духа, который говорит: «В твоём ничто я мыслю все найти».

Вот что такое муки Иова, несущего на своих плечах несовместимое и невыносимое; Иова, любящего Бога и проклинающего Его одновременно.

Для того, чтобы не проклинать любимого Бога, надо было с ним слиться, совершенно утратив свою отдельность. Нет двух. Есть одно. Душа больше не рвется на части. В ней - все. И она сама за все в ответе. Клясть некого. Возвращать билет — некому.

Рока больше нет. Рок - это не вмещенный внутрь Бог. Когда он вмещен внутрь, наступает великая тишина. А до тех пор - боренье.

«Борис, я только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор, как впервые не полюбила, порываюсь любить его, в надежде, что, может быть, выросла, изменилась, ну просто: а вдруг понравится? Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И каждый раз: нет, не МОЕ, не могу. То же страстное взыгрывание (о, не заигрывание! - никогда)...и - отпор»3.

В этом же письме Марина Цветаева пишет, что в детстве она любила любовь. Драгоценное признание. Любила, когда еще не знала, во что это обходится, какую власть над душой имеет, в какое рабство ввергает. Любила детской незрелой любовью и одновременно, может быть, предчувствием высшей зрелой... Ведь чувствовала же она, что есть другая любовь - гармоническая, всеобнимающая, не порабощающая и не унижающая душу. Ведь провидела же она этот новый облик, новые чувства, новую суть - тех, в ком все, совсем все сплелось и спелось. Как у тех тишайших в сонете Рильке:

О Вы, тишайшие! Влейтесь в потоки
Воздуха, в струи, текущие ввысь!
Дайте им тронуть, обтечь ваши щеки,
С дрожью раздаться и снова сойтись.

О вы, целители мира! Все стрелы
Гнева и ярости посланы в вас.
В тихой улыбке слеза заблестела,
Светится боль в глубине ваших глаз.

Боли не бойтесь! Вся тяжесть, все горе —
Это земное. Оно — для земли.
Тяжкие горы, тяжелое море...

Те деревца, что вы сами сажали,
Выросли, вы б их поднять не смогли.
Но... эти веянья!.. Но... эти дали!
(Перевод З. Миркиной)

Они вместили, у них Бог - внутри. Они не борются ни с каким врагом, ни с чем внешним. Довольно одного собирающего душу взгляда, чтобы вознестись надо всей раздробленностью, чтобы войти в истинную Реальность - быть. Быть в Духе. Быть всем. Земная тяжесть - для тех, кто меряется силою с землей. Они - не меряются. Они — в другом измерении.
Тяжесть остается тяжестью, но... эти веянья, но... эти дали!

А дальше - гладь
Такая ровная!..
А дальше — тишь
Такая!..
(«Весть»)

Цветаева знает, что эта тишь вознесшегося надо всем Духа - есть. По ту сторону дней, по ту сторону смерти. Эти тишайшие вместили и переросли смерть. Это возможно. Но... как же пройти сквозь смерть?

Глава 10

НА БЕРЕГУ БЕСКОНЕЧНОСТИ. СМЕРТЬ.

Море... Сколько людей резвятся, купаются, радуются. А Цветаева цепенеет под взглядом моря, как под взглядом самой смерти.

И не просто своей смерти, физической смерти, в которую ныряешь - и все кончается. Марина Цветаева никогда не боялась смерти, чего-чего, но бесстрашия у нее отнять нельзя было.

Однако здесь иной страх и иное бесстрашие - метафизические. Это страх созерцания Небытия, страх бытия безо всего, что мы привыкли чувствовать как бытие - какое-то бытие в вечных ледниках или в вечном огне.

Смерть как конец всех ощущений - пожалуйста. Но смерть как вечное ощущение постоянного холода или постоянного зноя, ощущение пространства, которое никогда не кончается, в котором жить нельзя...

Это не жизнь и не смерть, а как бы вечная смерть в жизни и жизнь в вечной смерти.

Примерно это чувствует сердце, созерцая смерть любимого существа. Я есть, а его нет.

Смерть оставила мою душу на берегу, чтобы я все время знал - вот Она. Непреодолимая. Властная. Диктатура. Рок.

Как примириться с тем, что смерть уносит восемнадцатилетнего Гронского? Почему?

Зачем? За что?! Стена. Молчание. Власть Рока. Чем поверхностней душа, тем скорее она примиряется. Ну а если нельзя утешиться, невозможно забыть? Вот когда бунт и богоборчество, может быть, дороже Богу, чем покорность и послушание. Безутешный Иов ближе к Богу, чем его слишком рассудительные и утешенные друзья.

Бог подступает к душе, отнимая у нее все внешнее не с тем, чтобы погубить ее, а с тем, чтобы воскресить - причастить жизни вечной. Вечности вовне нет. Чтобы стать вечным, надо выдержать потерю всего внешнего. Марина Цветаева готовилась к этому бытию без всего всю свою жизнь. Она кружилась вокруг этого «без», как рильковская птица Духа вокруг башни Бога. Но каждый раз, когда это «без» подходит вплотную, все начинается заново. Душа ничего не накопила, ничего не знает. Она только снова и снова спрашивает, глядя в глаза небытию:

Опрашиваю весь Париж.

Ведь в сказках лишь да в красках лишь

Возносятся на небеса!

Твоя душа - куда ушла?

В шкафу - двустворчатом, как храм, -

Гляди: все книги по местам.

В строке - все буквы налицо.

Твое лицо — куда ушло?

Твое лицо,

Твое тепло,

Твое плечо — Куда ушло?

(«Иду на несколько минут...». Цикл «Надгробие»)

Во внешнем мире, в обозримом пространстве его нет. И согласиться на воображаемые утешения, на утешительную ложь Цветаева не может! Никогда!

Напрасно глазом - как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании - верней гвоздя:
Здесь нет тебя — и нет тебя.

Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
-Дождь! Дождевой воды бадья.
Там нет тебя — и нет тебя.

Нет, некоторое из двух:
Кость слишком - кость, дух слишком - дух.
Где - ты? где - тот? где - сам? где - весь?
Там - слишком там, здесь - слишком здесь.
(Цикл «Надгробие»)

Сколько бы она ни знала о «там», когда туда уходит близкий, он уходит. И надо мочь последовать за ним, или дать внутреннее согласие на разлуку.

Любимого больше нет. Море слизнуло. Эта надмирная, без-ббразная Вечность...

Я вечности не приемлю.
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли!

Так она писала в юности, когда называла себя атеисткой, когда не было еще живого знания вечности. Никогда не принимала другого знания. Но уже давно Вечность проглатила ее насквозь. И вот она снова стоит на берегу Смерти. И - снова не может принять ее! Умер профессор Кондаков. «Где сейчас Кондаков? Его мозг, — писала Цветаева Черновой, — (О бессмертии мозга никто не заботится: мозг - грех, от Дьявола)». Марину Ивановну никак не устраивала такая точка зрения. Ей нужно было бессмертие тела, мозга. Наверное, в запале, следуя прямолинейной логике, могла бы продолжить так: если мозг от дьявола, мне нужен дьявол.

Мозг не от дьявола. Но мозг не бессмертен. Тело не бессмертно. И тот, кто не хочет, не может согласиться на утешительную ложь, должен созерцать смертность всего смертного. Перед ним огромный, открытый, как морской простор, вопрос и — предстояние: Глаза в глаза.

Душа и Простор.

Или этот безжизненный пустой. Простор зачеркнет, поглотит живую душу, или - душа почувствует этот Простор живым, Пустоту - наполненной. И тогда убедится в существовании Духа Живого.

Настоящая духовная отвага — это созерцание смертности смертного, созерцание своей смертности. Недаром пустынноики молились, подложив под святую книгу — череп (Из земли взяты и в землю отыдем...).

«Но душа... Но эти веянья... Но - эти дали...»
(Р.—М. Рильке. «О Вы, тишайшие...»)

Душа - не тело, и Дух — не мозг. А что же такое душа и Дух?
Это то, что не поддается определению. Это то, что остается, когда ничего не остается.
Ничего внешнего.

Это не пребывает, а сквозит. (Не овеществляется, а овеществляет.) Это - Свет и Голос безо всякого образа. Тот самый Свет и Голос, который отнял у Тезея Ариадну и пообещал взамен — божественную бессмертную суть. Свет и Голос, отнимающий у человека все внешнее и возвращающие ему самого себя.

Если б Орфей не сошел в Аид
Сам, а послал бы голос
Свой, только голос послал во тьму,
Сам у порога лишним
Встав, - Эвридика бы по нему,
Как по канату, вышла...
Как по канату и как на свет,
Слепо и без возврата.
Ибо раз голос тебе, поэт,
Дан, остальное — взято.
(«Есть счастливицы и есть счастливицы...»)

Голос Марины Цветаевой был голосом самой жизни, живой жизни, не примиряющейся со смертью, не соглашающейся на сосуществование с сонной грезой. Это был Голос, звучащий в пустоте и отказывающийся верить в пустоту. Голос, вызывающий из пустоты Духа Жизни. Глас вопиющего в пустыне...

Один дзэнский наставник говорил, что для просветления нужны три вещи: великая вера, великое рвение и великое сомнение. Великое рвение и великое сомнение - это то, что у Марины Цветаевой всегда было. Сомнение во всем невечном, немолкнущий спор со всеми иллюзиями: во всех, во всем и прежде всего - в себе самой. Готовность на потерю всего ложного - даже если это будет стоить жизни.

Все взято. Черта.

Черта эта могла бы перечеркнуть ее жизнь. Но если не перечеркнула, то должна стать началом новой жизни, чертой отсчета.

30 декабря 1926 года умер Рильке. Поверить в небытие Рильке было невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Если ты, такое око смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть,
смерть не смерть есть?
(«Новогоднее»)

Не жизнь и не смерть - что-то третье: вечная жизнь, жизнь, проходящая сквозь смерть, более глубокая, чем смерть, смерти неподвластная.
Объяснить, что такое вечная жизнь - нельзя. Может быть, так же, как нельзя объяснить ребенку тайну пола. Объяснения здесь и совершенно бесполезны, и нецеломудренны. Душа должна дорасти до тайны смерти точно так же, как до тайны рождения. Наша задача - рост души, а не удовлетворение ее любопытства.
Все, что отвлекает от роста, нецеломудренно и прямо вредно. Это раздробляет, а не собирает душу, Душа должна не отвлекаться от сути. Если она сумеет не рассеиваться, она познает: внутренним знанием.
Обычно от смерти все и всегда отвлекаются. Иначе жить нельзя. Есть вещи, которые сердце человеческое вынести не может. И оно защищается тем, что отвлекается от них. Бездонное сердце отвлечься от смерти не может. Оно призвано созерцать ее или перерастить ее.
Новый 1927-й год Марина Цветаева встречала вдвоем с Рильке. С Рильке, которого уже не было в пространстве и во времени, но который был более чем все пространство и все время. С ним она сидит за новогодним столом. С ним и больше ни с кем. С ним разговаривает, постоянно оговариваясь — путая земные и небесные реалии, путая вечность с днями, еще не привыкнув (когда же?!) к тому, что в днях его нет.

Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется — от себя отвлечься.
Каждый промысел, любой: с Liber,

Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского языка родней немецкий,
Мне всех ангельский родней!), как места
Несть, где нет тебя, нет есть: могила

Вот от чего надо отвлекаться: от могилы. Ибо там, как во всем однозначном, частном, неисчерпаемом, - Рильке нет.

Но ведь есть нечто Неисчерпаемое. Душа это знает. Рильке сейчас и есть это Неисчерпаемое. Она чувствует его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься. Это поймет только тот, кто играл в гляделки со смертью... Пройти сквозь смерть, как сквозь пустое место, и выйти по ту сторону жизни и смерти, выйти на очную ставку с самим собой. Может быть, смерть и есть такая очная ставка. Кто не выдержит ее - умирает. Но кто выдерживает, ощущает свое - не осязаемое прежде — бессмертие... Свое — и того, который

На собственную руку
Как глядел (на след - на ней - чернильный)
Со своей столько-то (сколько?) мильной
Бесконечной, ибо безначальной,
Высоты над уровнем хрустальным
Средиземного - и прочих блюдец.

.....

И куда ж еще глядеть-то,
Приоблокотясь на обод ложи,
С этого - как не тот, с того же –
Как не на многострадальный этот?

Вот как... Смерть вовсе не зачеркивает «многострадальный этот», вовсе не отрывает от него. Напротив, теперь-то и происходит особенно пристальное вглядывание, и может быть, встают особые, неведомые задачи целостного существа. И это, наверное, самое важное. Но об этом - потом. А сейчас, сейчас слишком больно на «многострадальном этом». Невыносимо больно. Так невыносимо, что хочется одного - прочь, прочь! От этих праздников, от этих блюд, от этих дней, минут, слов, дел. Бьет Новый год.

Ну, бьет - а при чем я тут?
Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер умер?

В новогоднем шуме больше нечего делать. Надо уйти в тишину. Во внутреннюю тишину. Нужно, чтобы эта тишина росла, росла, росла... И открывала бы неисчерпаемость, невыносимую, непредставимую многомерность внутреннего бытия, вечного бытия... Иначе как поэтическими образами о ней не скажешь:

Не ошиблась, Райнер, Бог - растущий
Баобаб? Не Золотой Людовик –
Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
Бог?

Не золотой Людовик - то есть не статуя, а живой, растущий, разворачивающийся, всеобъемлющий, безмерно расширяющийся, как из деревьев, из растущих, может быть, только один баобаб способен расширяться...
Растущий, расширяющийся и углубляющийся, как внутренняя тишина, Бог.

Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
Бог?

(«Бог»)

Кто смотрел не на предмет, не на поверхность, а внутрь, в суть, кто открыл неисчерпаемость и бесконечность внешне однозначного предмета, тот поймет этот образ. Бог не однозначен, не конечен, не единичен. Бог есть единство множеств. Внутреннее единство всего бесконечного внешнего множества.

Единый Бог не уничтожает других. Он никого не уничтожает. Он уничтожает только иллюзию отдельности и самодостаточности каждого божества (предела). Он все и всех вмещает, все и всех объединяет в строгой иерархии. В Нем восстают все поверженные, собираются все разрозненные. Это сложнейшая простота и многомерное единство Космоса, в котором «все ризы делившие - спелись»; «криком кричавшие — стихли», «навзничь лежавшие - встали».

Образ рая - самый точный из мыслимого и представимого — поэтический образ рая:

торжественный горный амфитеатр, величественные горные уступы — живой образ неисчерпаемости: за слоем - слой.

Сколько раз на школьном табурете:
Что за горы там? Какие реки?
Хороши ландшафты без туристов?
Не ошиблась, Райнер, — рай - гористый,
Грозовой? Не притязаний вдовьих —
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террасами? Сужу по Татрам —
Рай не может не амфитеатром
Быть...

(«Новогоднее»)

В эту многомерность неба, многослойность Духа входит Цветаева в своей «поэме Воздуха».

«Не один ведь воздух, над ним другой ведь воздух», - можно было бы сказать ее языком, подступая к этой поэме.

Глава 11

«СПЛОШНОЕ АЭРО»

Ну вот и двустигшие
Начальное. Первый гвоздь.
Дверь явно затихла,
Как дверь, за которой гость.
(«Поэма Воздуха»)

Дверь? Какая? Куда ведущая? Откуда выводящая? Может быть, это дверь, которой обычно и не замечают, просто не знают о том, что из этого обжитого трехмерного пространства есть выход - некая Дверь, за которой - иное, быть может, четвертое, а может быть, и еще другие измерения?..

Итак, вдруг, толчком и остановкой сердца - чувство Двери, ее затихания. «Дверь явно затихла». И в этой тишине - непреодолимое ощущение присутствия.

Кто это?

- Кто там? - говорит хозяин, когда в дверь стучат...

Стука не было. Впрочем, как не было? А стук сердца о стенку грудной клетки?.. Итак, - кто там?

Это первый вопрос всех, читающих поэму. Кто этот гость? Ангел? Кто-то из недавно умерших? Рильке?.. Конечно, вернее всего, Рильке. Но никакого ответа из-за двери не следует. Тишина сгущается. И чувство присутствия тоже сгущается до полной несомненности:

Уверенность в слухе
И в сроке. Припав к стене,
Уверенность в ухе

Ответном. (Твоя — во мне).

Презрение к чувствам.

Ну да, не чувствами, и не этими внешними пятью, - душа чувствует иначе - всей собой. Никаких внешних примет, подтверждений. Ничего нет. За этим явным, определенным, поделенным на части миром имен, тел, «мужей и жен».

Та Оптина пустынь,
Отдавшая - даже звон.
Душа без прослойки Чувств...

Все затихло. Вся затихла. Транс. Ничего не чувствую, кроме внутреннего пространства, - кроме внутренней целостности:

Дверь делала стойку.
.....
Еще бы немножко –
Да просто сошла бы с петли
От силы присутствия Заспинного.

Душа уже не пытается спрашивать, «кто там». Ей это уже не нужно. А вот читатель поэмы все еще в растерянности спрашивает. И на вопрос этот может быть только один ответ: Никто, но есть.

Существование, присутствие несомненно. Но существование это так полно внутри, так необнаружимо, не выделяемо в черты и границы - во внешнее, - что на вопрос «кто?» можно ответить только одно: никто. Итак - никто, но есть. Вот с чего начинается поэма. Но разум не унимается. Никто, но все-таки - как его зовут?

- Никак не зовут. Он сам зовет.

Он позвал. Душа слышит зов.

Разуму опять очень хочется перевести это на привычный ему язык. Но автор поэмы говорит на другом языке. Все наши слова здесь не подходят. Здесь ищут новых, рождают новые. Ибо здесь - Творчество.

Только и всего? Только. Но в этом «только» - новое измерение, таинственное иное пространство.

Каждый миг творчества - это соприкосновение миров, дуновение Духа - вдохновения. И воплощение Духа, его вхождение в тело, в почку дерева, бутон цветка, сосуд мозга.

Тут все очень просто. Но ничего нет нужнее и бездоннее этой простоты.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем.
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям.

Но сложное понятней им.

(Б. Пастернак. «Волны»)

Да, сложное понятнее. Оно состоит из частей, которые могут существовать отдельно друг от друга. Сложное разложимо. Тайна простоты - в ее неразложимости. Все цельное - просто. Все простое - цельно и требует от нас цельности. Это всего нужнее людям. Но понимать (аналитически) тут нечем, нечего. Как понять дерево? Его можно ощутить и вжиться в него. Все дерево - всей душой. опытом. Единением.

Поэма Воздуха есть живой опыт путешествия в собственную глубину и высоту, опыт вознесения, проникновения во внутреннее духовное (воздушное) пространство. Марина Цветаева говорит нам этой поэмой, как Луна - лунатику:

Оплетавшие - останутся.

Дальше - высь.

В час последнего беспамятства

Не очнись!

(«Луна - лунатику»)

Не очнись, не разбирай, не сопоставляй с твоим прежним опытом, с твоим внешним опытом; входи - в новый, в мой!

Друзья вас предостерегают, хотят подстелить соломку там, где вы можете упасть... Но:

У лунатика и гения

Нет друзей.

В час последнего прозрения –

Не прозрей!

Эти слова обращены прежде всего ко всем тем, кто пытается соразмерить высшее с земным - и значит к тем, кто пытается толковать «Поэму Воздуха», исходя из своего «земного» опыта. Вся поэма - вхождение в иной опыт. Войди или выйди, останься, как все «оплетавшие». Но извне - не суди! Откажись от своей «точки зрения», от своих прежних мерок, прежних глаз. У тебя сейчас новый глаз. А если нет нового — знай, что слеп. Прежним этого не увидишь.

Я - глаза твои. Совиное

Око крыш.

Будут звать тебя по имени —

Не расслышь!

Забудь свое прежнее имя, все прежние названия. Не откликайся, не оглядывайся! Твоя робкая прежняя душа здесь должна затихнуть. Совершенно. И довериться полностью:

Я — душа твоя: Урания —

В боги — дверь.

В час последнего слияния

Не проверь!

«В боги - дверь» - вот такая это была дверь, которая так явно затихла...
И вот начинается путешествие внутрь, за Тем, позвавшим без голоса:

В полную божественность
Ночи, в полный рост
Неба (точно лиственниц плеск
Шум пены о мост...).
В полную неведомость
Часа и страны.
В полную невидимость
Даже на тени.
(Не черным - черна уже
Ночь, черна - черным!).
(«Поэма Воздуха»)

Эта внутренняя тьма, в которую вступает Дух, отказавшись от всего внешнего («больше не запачкаю ока красотой»), подобна царству корней, о котором говорит Рильке:
Но есть во мне мой Бог,
И он, как мгла,
Как молча пьющие в потемках корни...
(Р.-М. Рильке. «Есть братья
у меня, одетые в сутаны...».
Перевод З. Миркиной)

Этот тихий плеск - «точно лиственниц плеск, шум пены о мост» - делает слышной тишину. Да, здесь становится слышно беззвучие. Но... ему что-то мешает. Беззвучие не полно. В этом божественном беззвучии присутствует еще какой-то чуждый ему, внешний звук.
«Чудится? Дай вслушаюсь». Так вслушивается творец в то, что хочет через него родиться, так вслушивается музыкант в предзвук... Соответствует ли рожденное тому внутреннему, родящему? Точно ли по образу и подобию?..
Нет, нет, не совсем. Что-то есть тут не спешееся, не слаженное, не слившееся. Душа еще в чем-то отдельна от духа, она еще не совсем то, та. И вот она обращается к нему - беззвучному, прозрачному, незримому:

Что-то нужно выравнять:
Либо ты на пядь
Снизься, на мыслителей
Всех — державу всю!..

То есть, иными словами: дай увидеть тебя, понять: сжался над этим немощным разумом, не будь таким недоступным ему, таким неведомым. Снизойди до моей немощи - будь вровень с мыслью - будь представимым.

Но на самом ли деле она этого хочет? Один мистик сказал: «нам не нужен Бог, которого

ум наш может познать». И действительно - все познаваемое теряет свою безмерность и таинственность. Пойманная синяя птица - линяет. Поэт хочет погрузиться в таинственную глубину, бездну Духа и слиться с ней. Тайну нельзя вытащить на дневной свет. Она больше дневного света.

Поэт хочет единства с этим Большим. Единства с Духом. Только от этого единства рождается новое живое творение. Никаких объяснений - снижений духа до рассудка. Не параллельное сосуществование двух начал, а таинство слияния. Но для этого надо затихнуть совершенно. Замереть. Перестать существовать отдельно от него, от Того. И вот:

Либо — и услышана:
Больше не звучу.

Тишина сгущается до полноты, до полной срифмованности души с Духом, позвавшим ее. Появляется впервые Тот, истинный ритм. Он пробился сквозь дверь мира, сквозь стенки малого «я»:

Полная срифмованность.
Ритм, впервые мой!
Как Колумб, здороваюсь
С новой землей — Воздухом.

Это первый взлет. Первое Чудо. Первое проявление духовного закона, с которым сталкивается тело. Это вторжение Духа в физический мир и есть творческий акт. Сама жизнь, если додумать, доглядеть ее до конца, есть первое чудо. Она идет против течения физических законов, против их инерции. Она их пересекает... Жизнь есть отрицательная энтропия (так определял ее Шредингер). И если бы не повеление Духа, поворачивающее смерть к новому рождению, мир давно бы распался, погас. Чудо присутствует рядом с нами, в нас, так же как тот беззвучный гость за дверью. Но человек не замечает его, ибо во внешнем мире ни-че-го не видно. Нам не виден тот (то), что нас держит; тот (то), чем мы дышим. Но когда мы затихаем, «в глубокий час души», в час мировых тишизн, - мы слышим. Как бы размыкается стена нашей плоти - плотности, земной тверди, - и мы ощущаем иную твердь - духовную, как тугой поток внутреннего движения, как силу глубинного вихря.

С сильною отдачею
грунт как будто грудь
Женщины под стоптанным
Вое-сапогом. (Матери под стопками
Детскими.)
В тугом Шаг. Противу-мнения:
Не удобохож
Путь. Сопротивлением
Сферы, как сквозь рожь.

Так душа погружается в реальность духовного мира, в твердость, через которую надо

продираться, пробиваться - «Гераклом бьюсь»...

Землеизлучение

Первый воздух — густ.

Густота духовного пространства - первое открытие отрешенной от внешнего мира, «внутри зрящей», творящей души. Что это такое? Субъективность? Объективность? Душа в ином пространстве или иное пространство в душе? - Все эти вопросы праздны и в сущности не духовны. Сухие абстракции, рассуждения философов.

Сню тебя иль снюсь тебе, —

Сушь, вопрос седин

Лекторских.

Важно другое: совсем ли мы одно? Абсолютно ли слияние? Нет ли зазора между душою и тем неведомым, но сущим, который наполняет ее, переливается в нее, волю которого она должна сейчас творить?

Дай вчувствуюсь:

Мы, а вздох один!

И не парный, спаренный

Тот, удушье двух.

То есть не любовное слияние двух тел, которые душат, поглощают друг друга, - нет, нет - не то, не о том... Тот, то - Ты - ее неведомое мистическое Ты - совершенно отрешено от земли. Оно надо всем. А она еще оглядывается, еще вздыхает. О, этот вздох узника в одиночной камере, подобный вздоху ветра, от которого взбухает Днепр... Этот вздох псалмопевца Давида («еврея с цитрою»)... Этот вздох - в ней! Вздох мучеников всей земли. Этот вздох разделяет ее с Тем, поднявшимся над. И она вместе со всеми вздыхающими, со всеми страждущими в мире молит Его приблизиться, снизойти, ответить Молит и - страшится, что он услышит ее мольбу и выйдет из своей великой, миры созидающей отрешенности. В глубине души она хочет не Его прихода в мир мук, в мир вздохов, а своего взлета надо всем этим. И вот свершилось:

И отпущена:

Больше не дышу.

«Не звучу», «не дышу». - Нет меня. Да ведь это - Смерть Да истинное творчество есть прохождение через смерть. Настоящий Творец ничего не творит от себя. Его малое «я» должно совещенно затихнуть вплоть до «не дышу», чтобы вместить внутри Того, от кого зачинается новая жизнь. Только умирая, мы освобождаем место для жизни новой. Только выдохнув, можно вдохнуть. Творчество есть причастность космическому дыханию. Выдох – смерть, вдох – рождение.

Иов, многострадальный Иов, задававший Богу свои бесчисленные справедливые вопросы, только оттягивал, только задерживал эту неизбежную, великую мистическую смерть. Он

должен был перестать мыслить, перестать звучать, перестать дышать. И только тогда:

Кончено. Отстрадано
В каменном мешке
Легкого!..
Сняты врата
Воздуха. Оседлости
Прорвана черта.

Прорвана черта. «Жизнь - это место, где жить нельзя: - говорила Цветаева в «Поэме конца», - еврейский квартал...» Итак, прорвана черта оседлости – найден выход из жизни. Куда? В смерть? Да. И однако:

Смерть и ничего
Смертного в ней.

Душа больше не боится смерти тела, ибо не отождествляет себя со своим телом. Она отождествляет себя с Духом, наполнившим сосуд, а не с самим сосудом. Дух ощущает самого себя. И это космическое событие. Это гремящее «АЗ ЕСМЬ!» - Осанна!

Слава Тебе, допустившему бреши:
Больше не вешу.
Слава Тебе, обвалившему крышу:
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь.
Дух: не дышу уж!

Ничего нет. Но Я есмь. Я и есть то, что существует без ничего. То, что существует сквозь все. Я - сущее, вечное. Осанна! Слава Тому! Кто дал мне ощутить не преходящее, не уходящее. Взял все и оставил то, что взять нельзя!

Мы не замечали того, чем дышим. Мы инстинктивно считали, что есть мы - плоть, а остальное - ничто. И вот - полный переворот: мы чувствуем, что без этого «ничто» мы сами ничто. Что есть две стороны единого Бытия: тот, кто дышит, и тот, кем дышат! Кто-то или что-то (сейчас все равно) дает нам дышать собой. И чем больше мы чувствуем это то, Того, тем больше понимаем, ощущаем непрерываемость жизни, ее великий космический ритм.

Умереть нельзя! Смерти нет! Умереть - значит причаститься Тому, Кто дает дышать собой. Кто дарит жизнь. За гранью жизни частной, 'частичной начинается жизнь полная - вечная. Ощущение бессмертия - громоподобное: смерть! И ничего смертного в ней!

Курс воздухоплавания.
Смерть, где все с азов
Заново...

Начать все заново - великое дерзновение Духа! Прошлое - прошло, но настоящее бесконечно. Прошлое может ожить в настоящем. Что такое для меня исписанный лист

бумаги, если я - тот, кто пишет, а не то, что написано?!

И какое веселие Духа, радость, легкость, ликование у того, кто ощутил в себе - творца, себя - творцом! О, эта легкость, взмывание духа над смертью, над смертностью тел:

Легче, легче лодок
На слюде прибрежий.
О, как воздух легок:
Реже-реже-реже...
Баловливых рыбок
Скользь — форель за кончик...
О, как воздух ливок,
Ливок! Ливче гончей
Сквозь овсы, а скользок!

И - дальше - перелив, переплеск... Это царство флейты, льющейся, заливающейся, разлив бессмертия. Это сбылись все чаяния, все обещания музыки —

Пагодо-музыкой
Бусин и бамбука, -
Пагодо-завесой...
Плещь! Все шли б и шли бы...
Для чего Гермесу -
Крыльца? Плавнички бы —
Пловче! Да ведь ливмя
Льет! Ирида! Ирис!
Не твоим ли ливнем
Шемаханским или ж
Кашемирским...
Танец -
Ввысь!

Все происходит в настоящем - здесь и сейчас! Мы ничего не знаем и не можем знать о будущем бессмертия. Мы можем знать только о нашем настоящем бессмертии, о вечном-настоящем. Вечность не делится на три времени. Вернее, не буквально делится, а только «как бы». Ибо все три времени присутствуют «одновременно» в вечности. И душа, ощутившая свою вечность, - воскрешает прошлое и прорывается в будущее. Нельзя воскресить прошлое, оставив его прошлым. Его можно только преобразить в настоящее, почувствовав свое настоящее — бесконечным.

Нельзя воскресить кого-то во внешнем физическом пространстве, не сделав предварительно все внешнее пространство внутренним, то есть не слившись с воскрешаемым в одно целое. А если и возможен такой магический акт, то он не имеет никакого отношения к Чуду духовности.

Высочайшая духовность заключена в словах апостола Павла: «Не я живу, но живет во мне Христос».

Если Христос не воскрес в нас, Его физическое существование обречено на новые и новые распятия, новые и новые муки - нескончаемый круг страданий, длящийся до сего дня. Дух волен. Дух способен прервать этот порочный круг страдания! - Вот что прозревает

«Поэма Воздуха». Это вершина цветаевской духовности... Но действительно ли она прерывает, прорывает этот круг?

Кончено. Отстрадано
В каменном мешке
Легкого!..
Сняты врата
Воздуха. Оседлости »
Прорвана черта...

Черта страдания, черта земных мук, черта, в которой души связаны тяжестью тел, эта черта прорвана?

Нет, не прорвана.

В реальной жизни - не прорвана. В творческий высший час, в провидческом сне душа познает, что черта эта может быть прорвана, должна быть прорвана, что есть духовные силы для такого прорыва.

Однако прорыва не произошло. Прорыв этот может осуществиться только в вечном настоящем, только теперь и здесь. Всякое передвижение в пространстве и во времени есть движение (метание) в тех же пределах. Для того, чтобы войти в духовный мир, не надо перемешаться ни в часах, ни в странах. Для того, чтобы быть в Духе, не надо вон из тела. Дух не до и не после. Дух - внутри.

«Царство Божие не там и не здесь». Всякое «там» или же «здесь», всякое до или после — лишь уловки ума, лишь оттяжка той мистической смерти, которая действительно вводит в Дух, пронзающий пространство и время насквозь.

Пронзить насквозь пространство и время не может никакое внешнее действие. Здесь предел всякой деятельности. Сюда приводит только полнота затихания — полнота смирения.

Вот она - черта. И этой чертой перечеркивается та, другая «черта оседлости». Черта - чертой. «Смертию смерть поправ».

Доходит ли Марина Цветаева до этой смерти? Как будто да: «Больше не звучу», «Больше не дышу».

Но это только на миг. В творческом экстазе. И - новый круг. Новое «падение в дни».

«Поэма Воздуха» - потрясающее прозрение о всемогуществе Духа, победившего плоть.

Победа над ржавчиной,
Кровью, сталью...

И все-таки «все навзничь лежавшие» еще не встали в ней... Ибо истинная победа Духа над плотью вовсе не есть уничтожение, отбрасывание плоти, а только подчинение ее Духу, только осознание ее настоящего места, только полное смирение плоти, смирение всего тварного, отказ от своей воли, от своеволия. Отказавшись от своего эго, творение становится одним со своим творцом. В «Поэме Воздуха» еще нет этого единства. Поэма - торжество высшего над низшим, плотским, но не пробуждение от сна двойственности. Двойственность остается. После великого духовного опыта, прозрения, «танца ввысь» — слова: «Таков от клиник путь». Причем тут клиники? - В них осталось тело. И нам остается только верить на слово автору, что он может выходить из тела, что он знает, что

делается с душой после тела. Опять — «до» и «после», «там» и «здесь»... Это, может быть, дело оккультной или какой там еще науки. Науки, а не духовного творчества. Наука (любая) познает извне. Творчество - причащает. Причащать можно только в этом месте и в настоящем времени. Здесь и теперь! Весь этот путь «от клиник» - не о том. Это любопытство ума, которое не дает ему остановиться и замолкнуть совершенно перед непостижимой тайной.

Не происходит ли здесь незаметная подмена простого сложным, цельного дробным? Не снижается ли здесь творец поэмы «на всех мыслителей»?..

И как следствие этого - то, что важнее всего; тело не одухотворяется, не наполняется духом, не оживляется, а преодолевается и отбрасывается.

Но — сплошное аэро —
Сам — зачем прибор?

От того, что человек отождествляет себя не с временным телом, а с вечным духом, еще не следует, что у него нет никакой надобности в теле, что нет никакого смысла в том, что дух и тело связаны:

Не жалеете летчика!
Тут-то и полет!
Не рядите в саваны
Косточки его.

Почему не жалеть? Почему не рядить? И жалеть, и рядить - только не отчаиваться, а верить, причащаясь в великом молчании высшей Непостижимой Тайне... Может быть, все эти «зачем прибор?», все эти «не жалеете летчика» - всего лишь самозакливание, страстная попытка заглушить чувство сильной привязанности к «прибору», слишком сильной жалости к «косточкам» - вплоть до порыва умереть с мертвым («Дай-кося я с ним рядом ляжу...»).

Этим страстным заклинанием стремилась она заглушить то таинственное молчание, вынести которое она не могла. Не могла, ибо не было полноты смирения. И вся сложнейшая, убедительная (почти что логически доказательная) конструкция поэмы маскирует (пусть неосознанно) трагический недостаток веры в возможность наполненного живого молчания, наполненной Духом пустоты.

«Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? - спросил вдруг старец у Ивана Федоровича.

Да, я это утверждал, - (ответил Иван Карамазов. - З. М.) - Нет добродетели, если нет бессмертия.

Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!

Почему несчастен? - улыбнулся Иван Федорович.

Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и церковном

вопросе Идея эта еще не решена в вашем сердце и мучает его...

В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения...

А может ли быть он во мне решен? Решен в сторону положительную?..

Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца;

и в этом мука его. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться, «горняя мудрствовать и горних искати, наше бо жительство на небесех есть». Дай вам Бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит Бог пути ваши» («Братья Карамазовы»).

Все это удивительно подходит к Марине Ивановне Цветаевой. Точно отцом ее был не кроткий Иван Владимирович, а тот, другой, трагический Иван, бесконечно жаждавший Бога - вплоть до полной невозможности жить без Него, но не обретший Его в душе. Марина Цветаева вспоминает его слова в одном из поздних стихотворений своих, в час надвигавшегося, как горная лавина, отчаянья:

Пора - пора - пора

Творцу вернуть билет.

(«О, слезы на глазах... Стихи к Чехии», № 8)

Пока она еще билета не возвращает. Пока ее душа с огромной энергией углубляется во внутренние источники, чтобы почерпнуть в них силу для жизни и духовной борьбы. Великое рвение - вот что такое «Поэма Воздуха». Это написано в тот самый глубочайший, отрешеннейший час, в который она сама становится подобной морю («в мои лучшие, отрешеннейшие часы я сама такая»):

Закон отсутствий

Всех: сперва не держит

Твердь, потом не пустит

В вес. Наяда? Пэри?-

Баба с огорода!

Старая потеря

Тела через воду.

(Водо-сомущения

Плеск. Песчаный спуск...)

Землеотпущение.

Третий воздух - пуст.

(«Поэма Воздуха»)

В иномирность, в пустоту можно сбежать, как с песчаного спуска в воду. И если вода держит тело, то дух точно так же может держать... что? Какое-то иное тело... Как бы там ни было, какое-то внутреннее «я» может ощутить пустоту и не уничтожиться в ней. Это уже опять реальное духовное переживание, смешанное с доказательной логической конструкцией, но все-таки - переживание. И, может быть, оно борется с памятью о все том же море, об этой огромной, чужой, внешней пустоте, не вмещенной, не пережитой - или, вернее, пережитой как дурная бесконечность, как провал смысла.

Тем глубже, тем полнее она отдается чувству наполненной пустоты в свои лучшие высшие часы, врезаясь в новый слой Духа, в этот «цедкий воздух» - некий невод, сито, колючие зубья, которые процеживают душу.

Цедок, cedче сита
Творческого (влажен
ил, бессмертье — сухо)...

Он отжимает в нас всю «воду», все остатки смертного, все, что есть слежавшегося,
тварного, а не творческого:

Цедок, cedче глаза
Гетевского, слуха
Рильковского...

То есть слуха, который различает тишайшие шепоты Бога («Шепчет Бог, своей - страшася
мощи»). Этот воздух

не cedче
Разве только часа
Судного...

Этот воздух и есть Страшный Суд. Только прошедший через него утвердится в своей
Вечности и ощутит некую тяжесть внутренней правоты: то, что есть во мне, не может не
быть. Должно быть. И вот тогда-то и начинается проникновение в мир истоков и начал.
До сих пор постепенно, слой за слоем, кончалось все невечное. Теперь... отсюда -
начинается все новое, Вечное.

Пятый воздух - звук.

Итак, отказавшись от всякого звука — «Больше не звучу» - отказавшись от прошлого, от
временного звука, попадаешь в то вечное, что должно воплотиться:

Голубиных грудок
Гром - отсюда родом.
О, как воздух гудок,
Гудок, гудче года Нового!

.....
Гудок, гудче горя
Нового, спасибо
Царского...

.....
Соловьиных глоток
Гром - отсюда родом!

Звук, рдение, переливы звука - звук лиры, строящей мир:

...По загибам,
Погрознее горных,
Звука, как по глыбам

Фив нерукотворных.

Звуки лиры предшествуют миру, повелевают миру быть. Они находятся где-то в основе, в том предварении жизни, куда проникает рильковский Орфей. Там, в мире истоков и начал, начинается рост звука, — и вместе с ним творение, рост и преображение мира.

Рост дерева. Рост голоса в гортани.

Орфей поет. Звук тянется до звезд.

И - смолкло все. Но и внутри молчанья –

Преображенье, становленье, рост.

(«Сонеты к Орфею», ч. 1, № 1. Перевод З. Миркиной)

Мир, послушный божественному звуку, становится, превращается в храм (из хаоса - в космос). Этот звук входит в слух зверя и человека, он преображает всех, кто воистину слышит. И слышащий уже перестает сопротивляться творящей силе. Он испытывает счастье соединения. Экстаз. Он невесом. Он - вне тела, - в музыке:

Старая потеря

Тела через ухо.

Ухом — чистым духом

Быть. Оставьте буквы –

Веку.

Чистым слухом

Или чистым звуком

Движемся? Преднота

Сна: Предзноб блаженства.

Гудок, гудче грота

В бури равноденствья.

Этот воздух «не гудче» только «гроба в Пасху»...

Нарастанье, предзнание, пред-чувствие музыки воскресения. Гром всех соловьиных глоток был только тишайшим началом пасхального звона - торжества Вечной непреходящей Жизни.

Душа задыхается от этого знания. Она его едва выносит. Она дышит с трудом, с паузами, промежутками, передышками паровика. В ней чередуются

Чередованьем лучшего

Из манований божеских:

Воздуха с — лучше-воздуха.

Все эти паузы, полуостановки вдоха, «мытарства рыбьего», все эти спазмы кончаются «Дырой бездонного легкого, пораженного Вечностью...».

Душа все время кружилась вокруг Вечности концентрическими кругами, слоями воздуха (духа), все втягивалась и втягивалась туда, и наконец - небесная твердь. Остановка.

Абсолют.

Без компаса
Ввысь! Дитя — в отца!
Час, когда потомственность
Ска-зы-ва-ет-ся.
Вот оно, наше божественное происхождение. Налицо! Вот м] какой природы! Вечной,
крылатой!

Полное и точное
Чувство головы
С крыльями. Двух способов
Нет - один и прям.
Так, пространством всосанный
Шпиль роняет храм —
Дням.

Шпиль, устремленный ввысь и только ввысь! Завершение храма - его итог и смысл:

Из лука - выстрелом –
Ввысь! Не в царство душ –
В полное владычество
Лба. Предел? - Осиль:
В час, когда готический
Храм нагонит шпиль
Собственный - и вычислил
Всё - когорты числ!
В час, когда готический
Шпиль нагонит смысл
Собственный...

Наконец совершилось предельное самопознание, самоосмысление. Чувство головы с
крыльями - это полное и точное чувство себя, своей сути. Не царство душ (здесь -
страстей, стихий, рвущих в разные стороны) - единство, владычество духа - царственная
голова - Венец Творения...

Замысел осуществлен... Чей замысел - Творца поэмы или Творца мира? Замысел «Поэмы
Воздуха» Марины Цветаевой или Замысел Божий о Марине Цветаевой?
Кажется, «Поэма Воздуха» и есть открытие тождественности этих замыслов,
тождественности творческого начала в человеке и в Боге, ощущение глубинного единства
человека и Бога.

От беззвучного зова, от чувства незримого присутствия за дверью, от, может быть,
дуновения вдохновения, через великий экстаз творчества и творческий труд - к
осмыслению и собиранию себя воедино, к полному единству с собой высшим (полное
владычество лба), к единству с Богом.

«Поэма Воздуха» - великое рвение к этому единству и неодолимое властное предчувствие
его возможности. Это единство почти достигнуто. В духе - достигнуто. Вот только тело
оказывается - лишним И пространством всосанный шпиль роняет храм - дням, но ведь

воля Творца этого мира в том, чтобы мы вынесли, а не уронили мир не сбросили с плеч, как ненужную поклажу. Если человек - это дух' «сплошное аэро», то «прибор» ему дан как дар и долг, как поручение справиться с ним, научиться управлять своим прибором. Человеку поручено поднять и вынести земную тяжесть. И если человек создан по образу и подобию Бога, то Бог - миро- держец, Тот, Кто держит мир на себе, а не улетает с него прочь.

Глава 12

ЧТО НУЖНО КУСТУ ОТ МЕНЯ?

Вечность есть.

Тот свет — есть.

Рильке - есть.

«Касаемся друг друга. Как? Крылами».

Но все-таки... все-таки они разделены. Чтобы соединиться и не разделяться, нужно еще что-то... Что?

За новогодним столом сидит в полном одиночестве бесконечно тоскующая женщина и вглядывается в пустоту.

Улететь на тот свет? Она это может. Все ее лучшие, отрешеннейшие часы - это «Тот свет». Закроет глаза, перестанет звучать и дышать - и вот она уже там. В мире снов и поэм.

Но... соединит ли это их? Действительно ли соединит? Действительно ли она приближается к нему, когда покидает «многострадальный этот» для блаженного «того»? Ведь не только мировое пространство, сама душа разделяется тогда на две части. Оторвавшись от чего бы то ни было, она отрывается и от себя самой. А главное, что она чувствует всей своей тоской и всей своей любовью это существование некоей цельности, существование таинственной связи между всеми и всем. И она, и Рильке причастны великому Целому. Вот главное знание, которое она вынесла из всех путешествий вовнутрь. На какой-то глубине они сливаются в одно. И весь мир или все миры включены в это Одно.

Ее новогоднее письмо с «этого» света на «тот» - прежде всего установление реальной связи. Совершенно непосредственной связи. Сейчас между нею и Рильке нет посредников. Вовне - ничего и никого. Она говорит сама с собою. И все-таки она говорит - с ним Она чувствует связь «себя с собою (тебя с тобою)».

Нет посю- и поту-сторонности. Есть - Вечность. И в ней непосредственно соединены этот и тот свет. Прошедшее и будущее соединяются в вечном настоящем. Как в цветке незримо присутствуют бутон и семя.

Душа начинается здесь и теперь и простирается в бесконечность. Душа начинается вот здесь, за столиком и простирается через все миры до новопреставленного Рильке. Нет разрыва - одна Душа. Но теперь - идти и идти к вершине своей души по этому одинокому пути...

Ее, как и Ариадну, бросили, - сбросили с берега в Бесконечность, извне - внутрь. И чтобы дойти до самой себя, ей надо идти и идти! через все звездное пространство, все вдаль и вдаль. Куда?

В Рильке. В него идти, чтобы прийти до себя. Без него она уже не могла быть самой собой. И «Новогоднее» - это начало реального духовного пути ввысь в свою собственную высоту и глубину - в свою Целостность.

Путь этот пересек великий экстаз. На мгновение она взмыла в воздух, вынырнула из пространства и времени - в дух. Но этот миг не избавил ее от необходимости продолжать путь неустанно, непрерывно - не из пространства и времени, а сквозь пространство и время. Не отрываясь (вырываясь), а вбирая и обнимая их.

Идти... Хотя ногам больше делать нечего. Ни ногам, ни рукам, ни чему бы то ни было частному, принадлежащему ее малому «я».

Когда действует вся душа, целостная душа, все части замирают в глубоком бездействии. Может быть, их дело сейчас только чувствовать себя частью великого целого и спокойно довериться Ему, как пассажир поезду, мчащему его в дали...

Все вопросы, всякая тяжба с судьбой, Роком - все смолкало. Недавно Цветаева так заботилась о бессмертии мозга... Никакого бессмертия мозга, никакого бессмертия отдельной личности она не нашла, но внезапно забыла о том, что искала, все забыла, - как Кай в чертогах Снежной Королевы, который так долго, так упорно складывал сам по буквам рассыпавшееся слово Вечность, складывал и не мог ничего сложить, - пока оно вдруг не сложилось само собой Так вот вдруг увидела Марина Цветаева, что у Рильке сейчас «вместо мозгового полушария - звездное» («Новогоднее»),

Вот оно что... Звезды, оказывается, составляют некое мозговое полушарие Целостного Существа - той мировой огромности, в которую наше «я» входит одной из звезд, с каким-то ликующим внутренним звоном причащаясь Единству...

Разумеется, это метафора. Но о духовной реальности иначе, как метафорой, сказать нельзя... Все слова здесь - метафоры невыразимого...

«Смешной человек» Достоевского, рассказывая о безгрешных людях той приснившейся планеты, говорит об их особом живом, не переводимом на наш язык знании целого: «Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с неберными звездами, не мыслю только, а каким-то живым путем.

...Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной...»

Можно ли об этом сказать емче, чем: «вместо мозгового полушария - звездное»?..

Звездное полушарие - это мозговое полушарие Целостного, вмещающего космос существа. Рильке уже таков. Есть только одна возможность встречи с ним теперь, после его земного существования, - самой стать такой же. Достичь его духовного уровня. У нее всегда был «взгляд ввысь, к звездам». Теперь - этот взгляд в Рильке - в самую любимую душу..

Она глядит туда и видит - расстояние от земли до звезд: от себя до Себя...

Она не боится этого расстояния. Готовится к пути. Оставляет все здешнее, все звучащее, кричащее, даже самую боль готовится оставить...

Рассказать, что сделала, узнав про..?

Тсс... Оговорилась. По привычке.
Жизнь и смерть давно беру в кавычки.
Как заведомо-пустые сплётыв.
Ничего не сделала, но что-то
Сделалось, без тени и без эха
Делающее!

(«Новогоднее»)

Да, ничего не сделала... Делать нечего. Здесь, на берегу смерти, она понимает это и принимает. Надо затихнуть и вглядываться в пространство смерти... В ничто... Всякая внешняя активность здесь, на этом берегу — лишняя.
Для того, чтобы зазвучал внутренний голос, надо всему внешнему существу «стать у порога лишним». Здесь - неизбежна «моя вынужденная неподвижность, моя хочу или нет - терпимость». Нет меня. Есть только то, «без тени и без эха делающее».
И вот, замирая, продолжает она вглядываться в пустоту и осмыслять их земную встречу-невстречу:

Верно, плохо вижу, ибо в яме,
Верно, лучше видишь, ибо свыше:
Ничего у нас с тобой не вышло.
До того, так чисто и так просто
Ничего, так по плечу и росту
Нам - что и перечислять не надо.

И все-таки перечисляет, кружится тоскующая память:

Ничего хоть чем-нибудь на нечто.
Что-нибудь - хоть издали бы — тень хоть
Тени! Ничего, что: час тот, день тот
Дом тот - даже смертнику в колодках
Памятью дарованное: рот тот!
Или слишком разбирались в средствах?
Из всего того один лишь свет тот
Наш был, как мы сами только отсвет
Нас, - взамен всего сего - весь тот свет.

Как ни сопротивлялась морю - Богу, - отнял. Как ни отталкивалась от «холода Ничто» - настиг. Она так надеялась, она так лелеяла мечту отвоевать Рильке у всех небес и у всех земель; она так хотела отобрать его у «Ничто», она так хотела земного «вместе»! Ну хоть что-то! «даже смертнику в колодках памятью дарованное: рот тот!»

Нет ничего.

Но разве не предупреждал он ее в элегии, ей посвященной, к ней обращенной, - что их путь друг к другу лежит через это ничто?.. Не предупреждал, что пустоты избежать нельзя, что через нее надо пройти? Насквозь - через Ничто. Нырнуть в ничто, как в море, и - насквозь...

Свою элегию к Марине Рильке начинает картиной падающих звезд и размышлением о

незыблемости и незримости равновесия космического Целого. Ничья внезапная гибель «святого числа не уменьшит».

Мы падаем в первоисточник
И, в нем исцелясь, встаем.
(Р.-М. Рильке. «Элегия». Перевод З. Миркиной)

Так что же тогда такое наша жизнь? Наша мука, наша гибель? Неужели это просто игра равнодушных сил, в которой нет никакого смысла? «Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений?»

На этот риторический вопрос Рильке отвечает не прямо, а как бы пересекая его внезапно вторгающимся новым измерением:

Волны, Марина, мы - море! Глуби, Марина,
мы — небо!

Мы - тысячи весен, Марина!
Мы — жаворонки над полями!

Мы - песня, догнавшая ветер!

Мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнимся жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул. Но есть нечто иное - весь смысл жизни бутона - цветок, разливающий благоухание так далеко за свои пределы.

В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней, В нас живет и зреет это. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.

Мы - не певцы, а песня. Не оболочка, а Дух жизни.

У Рильке есть стихотворение «Поэт». Мертвый поэт лежит на столе. А за окном - дали. И вот эти-то дали и чувствует Рильке истинным лицом усопшего. Эти дали, которые пересекают всю земную тяжесть, всю безвозвратность и окончательность. Нет безвозвратности! Нет окончательности!

«Но эти вейня! Но эти дали!...»

«Я» исчезает, но то, что меня наполняет - не исчезает! Другими словами, я и есть то, что меня наполняет. Я - не оболочка, а дух, собранный в оболочке. И задача человека - отождествлять себя не с телом (оболочкой), а с духом...

Но ведь Марина Цветаева подошла к этой задаче вплотную. Разве она не решила ее?

Солнцепричастная, больше не щурюсь.
Дух, не дышу уж...

(«Поэма Воздуха»)

Все-таки нет. Не решила. Задача - в том, чтобы ощутить себя духом, существующим всюду и во всем, а не духом, вынутым из всего - вне- и над-мирным.

Для Цветаевой дух значит не тело. Тело значит не дух. Таким образом, в духе может жить

свои идеи, своя мысль, свое умение, свой жар сердечный - свой дух, свой бог, наконец...
Но у нищего духом нет своего Духа, как нет своего Бога. Бог - Дух есть то, что объединяет, соединяет всех...

Свой Бог, свой дух... Но человеку нечем присваивать безграничного Бога. Он может только причаститься Безграничности. Не взять себе, а отдать себя. Нищий духом - тот, кто совершенно отдал себя, свое Нет «моего», нет моего отдельного от мира «я». Но весь мир, которому я отдан, к которому я причастен, - и есть мое истинное «Я».

А.С. Эфрон писала о своей матери: «Есть высокомерие нищих и высокомерие богатых. Нищий в быту и миллионер духа, мама была высокомерна вдвойне».

Солнце - одно, а шагает по всем городам.

Солнце - мое. Я его никому не отдам.

.....

В руки возьму, чтоб не смело вертеться в кругу!

Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу.

В этих стихах есть завораживающее дерзание духа, величие, сила. Здесь нет только духовной нищеты... И хотя более всего на свете она любила тех сквозных, тихих, ничем не обладающих, - ей было труднее всего понять их и оставить такими, какие они были. Она хотела, чтобы они не только были, но были ее собственными. Рильке для нее - всё, так пусть же и для него «Я одна представляю Россию, и - никаких других русских!»⁴³. Рильке протестовал, он был против всякой исключительности - Марина превратила слова в шутку. И все-таки разве не хотела она, чтоб был он не таким отрешенным, ни в чем не нуждающимся, несгибаемым? Нагнись, наклонись ко мне, войди в эти руки, стань моим... «Я был прям, а ты меня наклону, нежности наставила, припав», - говорит Цветаевский Христос Магдалине.

Материнское - сквозь сон - ухо

У меня к тебе наклон слуха,

Духа к страждущему: жжет? да?

У меня к тебе наклон лба, дозирующего вер-ховья.

(«Наклон»)

Все это так человечно!..

«Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте! Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который скоро коснется тебя!», - пишет ей Рильке в «ее» элегии. Понимает но не отвечает, или отвечает как-то иначе, совсем иначе, чем она ждала. И как понять жаркому человеческому сердцу (женскому сердцу) такой ответ:

Боги сперва нас обманно влекут к полу другому,

как две половины в единство.

Но каждый восполниться должен сам, дорастая,

как месяц ущербный, до полнолуния.

Сам? А не вместе? Тебе не нужно меня рядом, слитой с тобой? Не нужен этот «поцелуй долгий, как бездна»? Что же тогда нужно?!

«А я тебе скажу, что Рильке перегружен, .что ему ничего, ничего не нужно, особенно силы, всегда влекущей: отвлекающей. Рильке - отшельник На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать: все взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания - я ему не нужна, и ты не нужен».

И далее (в письме Пастернаку):

«Эта встреча для меня - большая растрата, удар в сердце, да».

И - чисто цветаевское продолжение, чисто цветаевское раздорожье:

«Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие, высшие, сильнейшие, отрешеннейшие часы - сама такая же».

И - еще один поворот мысли, ветка из ветки:

«И может быть, от этого спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гете, была Эккерманом, и большим - С.Волконского!⁴⁵ И так всегда хотела во всяком, в любом - не быть».

Понимает и принимает божественную отрешенность Рильке и одновременно страдает от нее. Чувствует такую отрешенность своим высшим часом и спасается от этого высшего в себе, становясь секретарем, учеником, ушами и руками «всякого». Хочет «не быть» — в любом. И, наверное, хотела бы, чтобы Рильке вот так же умалился, растворился в ней, наклонился бы с высоты своего роста в глубину их родства...

А он — не наклоняется. А ему — не нужно... Она еще не знает, как нужна ему. Пока он жив - не знает...

Боги сперва нас обманно влекут к полу другому,
как две половины в единство.

Но каждый восполниться должен сам, дорастая,
как месяц ущербный, до полнолуния.

И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный
путь

Через бессонный простор.

Это действительно трудно понять. Трудно принять. Но это именно и есть тот самый белый огонь любви к Богу, который «силою бел, чистотой сгорания». Огонь, в котором сгорает свое малое «я» - дочиста. Любить, ничего не присваивая. Ничего — себе. Сказать любимому - не «будь моим», а «будь» - и только. Мне не нужно ничего от тебя. Мне нужно только, чтобы ты был. В твоём бытии - мое.

Это и значит долюбить мир до Бога. Долюбить лицо до тех далей в окне. До сквозящих далей, до бессмертия.

Рильке открывает ей настежь душу со всеми далями. Встреча должна произойти там, в далях. Прежде всего там. Все остальное приложится.

Молчание моря, молчание Бога, молчание отрешеннейшего часа ничем нельзя прерывать. Как нельзя прерывать роста. Рост происходит в молчании. И в это молчание надо войти. Жизнь творится в великом молчании.

Рильке звал Марину в глубину своего молчания. Глубина родства сказывалась в том, что он чувствовал свою высоту их общей, единой высотой и звал ее - туда, на вершину обшего

Духа. Дали встречаются с далями. Простор - с простором. Дух - с духом. И никакая земная встреча не заменит этой.

Чтобы встретиться с Рильке, надо было дорасти до далей за своим окном. Надо было обнять и вместить эти дали.

Рильке умер. «Но эти веянья... Но эти дали...» Они остались. Остаются весь «одинок прочерченный путь через бессонный простор». И теперь - идти... расти... Как? Куда?

Перед сердцем - бездна:

Каждый день ты встаешь

Перед сердцем моим.

Крутизна, бездорожье.

Без меры и края

Бог, в котором один я блуждаю,

Спотыкаюсь, встаю. О, тропа круговая,

Внутрь ведущая!

(Перевод З. Миркиной)

Так начинает Рильке свою «Импровизацию на тему каприйской зимы». Перед ним дикая красота гор. Он совершенно один среди этой торжественной красоты. И она встает не только перед сердцем; это духовная реальность. То, что говорит со всем целостным существом, - это Бог. Встреча с Ним происходит только с глазу на глаз - наедине.

«Каждый восполниться должен сам...»

Бог встает перед сердцем в полном молчании и ждет. Чего?

Рильке пытается понять это на протяжении всей двухчастной поэмы. Это поэма об овнутрении мира, о соединении со своим великим («законным») «Я».

Сперва это великое и безграничное, подступая к малому, ограниченному, сбивает его с ног, опрокидывает. Начинаются какие-то «водопады в крови». Человек почти теряет сознание, летит в бездну и чувствует этот полет как смерть. Он закрывает глаза, становится совершенно неподвижным, ожидая, пока улягутся эти «водопады в крови». Кажется, больше ничего и невозможно. Это - экстаз. Потеря слуха, потеря зрения. Ничего не нужно. Все внутри.

«Дух: не дышу уж», - скажет Цветаева о чем-то подобном. Она погружается в это все глубже, дальше - и не хочет выныривать оттуда. «Пространством всосанный шпиль роняет храм - дням». «Тело? Мне нету дела...»

У Рильке все иначе. Миг экстаза, миг, в который эпилептик Магомет мог обзреть все чертоги Аллаховы - великий миг. Но это еще только миг Вечности. Вечность лишь приоткрывает свое царство, еще не впускает туда. Это как в стихотворении Пастернака «гроза, моментальная навек». Довольно, чтобы узнать: Вечность есть! Но не довольно, чтобы жить в Вечности, чтобы быть вечным.

Молния, разрезающая внешнюю тьму, приоткрывает внутренний смысл. Но это лишь

вход во внутреннее пространство. Надо еще войти - и не пропасть в нем. Надо обжить это внутреннее пространство. Надо жить с Вечностью.

Человек летел в бездну. Он уже не дышал. Но у Рильке снова появляется дыхание и остановившееся сердце «стучит... стучит опять». Человек пережил собственную смерть и вернулся в жизнь.

Рильке очень любит образ размыкающегося и смыкающегося существа. Цветок анемона «в напряженном действе воспринять» раскрывается так, как человек, может быть, не сумеет, даже прожив сто лет. А к вечеру - смыкает свои лепестки, вобрав внутрь «многозвенный свет». Женщина размыкает свое лоно, чтобы родить. Но если она не сомкнется снова, она погибнет. Точно так же и рождающее сердце. Само рождение - это экстаз размыкания, потеря границ. Но сердце должно жить. Размыкание и смыкание есть ритм жизни, есть работа мира.

Сомкни глаза теперь и внутрь смотри.
Все в нас вошло и потому мы вправе
В той темноте покоиться, внутри,
Как в собственной державе.

Там, где желанья, замыслы и сны
Еще текут к свершениям и к яви,
Не явные еще. Их скрыла тьма,
Так, как печать скрывает смысл письма.
Мы — запечатанные письма.

Мы - не сами по себе, мы что-то вмещаем и несем. Мы - вестники, несущие будущее. В нас - семя жизни.

Теперь ты знаешь - мы, как анемоны,
Сомкнуться можем в предвечерний час,
Вобрав в себя все то, что день принес,
И вновь раскрыться, новый день встречая.
И мы не только можем делать так,
Нет, -это долг наш. Мы должны
Учиться замыкать в себе бездонность.

Мы должны. Кому? Тому, кто «встает перед сердцем моим». Ему что-то надо от нас: надо взрастить Его семя. Зачать, выносить, родить и взрастить... Вот для чего мы в мире.

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую - голову прячу

В него же (седей - день от дня!).
Сей мощи, и плечи, и гущи –
Что нужно кусту от меня?

Имущему - от неимущей!

(Цикл «Куст», № 1)

Кусту что-то нужно от нее... Кусту... Жизни... И Рильке - да, Рильке, который теперь и есть сам дух жизни. Она, ему нужна. Это чувство несомненно; чувство связи с неведомым уму духом Целого. Ему что-то от нее нужно. Что?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях.
Сплошных препинания знаках?

Чего не слышал? (На ветвях
Молва не рождается в муках.)
В моих преткновения пнях.
Сплошных препинания звуках?

Действительно, что ему, всецелому, нужно от нее - части, дроби, вечно спотыкающейся, препинающейся, мучающейся... В нем все есть. Он восполнен. Так что же ему нужно от нее?

Но ведь нужно... нужно... Все его цветение обращается к ее «разверстой душе».

Разверстая душа - вот что такое Марина Цветаева. Разверстая душа - настежь открытая перед Духом Жизни.

Именно такие и нужны Богу более всего. Иов был таким, несмотря на все свои богохульства. Не те, застегнутые на все буквы друзья его, - он сам - разверстый, беззащитный, нужен Богу. Бог стучит в его сердце (и в ее сердце): впусти! Вмести!

Может быть, никогда она не была ближе к этому, чем когда писала свой «Куст». Здесь ничего не стоит между ней и Богом... Никаких посредников. И ничего не мешает. Никаких стен. Тело - не стена. Из него совсем не надо рваться вон, чтобы вмести Дух. Нет! Надо только подойти к некоей черте, черте смирения, и замолкнуть... Не так, как прежде, воображаемым усилием воли, заставляя себя не звучать и не дышать. Нет, не так. Просто и естественно замолкнуть от внутренней полноты. Самые совершенные из слов - ничто перед полнотою молчания, перед тишиною восполненного Духа.

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу —
Да разве я то говорю,
Что знала, - пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, той - за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
Знать буду - как только умолкну.

Как все просто! Ни сверхсильного творческого напряжения, ни героического преодоления

времени и пространства, земной тяги. Ничего этого не надо. Нет нужды «прорывать черту оседлости». Только перечеркнуть одну черту другой. «Черту оседлости» - вот этой чертой сомкнутых губ, «за которой осколки», - немим смирением всего существа. И кусту от нее, и ей от куста нужно то, что больше нее и больше куста, что одно в обоих, одно во всех.

А мне от куста — не шуми
Минуточку, мир человеческий! —
А мне от куста - тишины:
Той,— между молчаньем и речью.

Той — можешь — ничем, можешь - всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! наших поэм
Посмертных - невнятицы дивной!

Ей нужно от куста:

Ну - шума ушного того,
Все соединилось в котором
Как будто бы все кувшины/
Востока - на лобное всхолмье.
Такой от куста — тишины.
Полнее не выразишь: полной.

(Цикл «Куст», № 2)

Ей надо от куста его сущности. Проникновения одной сущности в другую. Соединения двух сущностей в одну, в Целое. Воссоединения с самой собой. Через молчащий куст она отвечает Рильке. Никогда, быть может, не отвечала так точно и полно, как теперь, через восемь лет после его смерти, в 1934 году. Это совершенно живой разговор двух молчаний. Слова - только перевод с языка молчания. Теперь она уже не хочет нарушать его молчания. Нет... Расти...Будь... Вот все, что мне от тебя надо. Да будет благословенна твоя вынашивающая миры отрешенность.

Все тебе помехой
Было — страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом. Звук!
(«Новогоднее»)

Это она сказала еще тогда, в тот Новый год, сразу после его смерти. Кажется, эти слова прорастали в ней все восемь лет и разрослись целым кустом. Она теперь - пространство для его Голоса; он - эхо мировой всецелости. Он сам - его эхо. По крайней мере - сейчас, когда пишется «Куст»... Исполняется давнее обещание, данное ему:

Свидимся - не знаю, но - споемся.

С мне-самой неведомой землею –
С целым морем, Райнер, с целой мною!

Глава 13 ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ

«Мне с вами тихо. Вы понимаете, что это значит? Как в большом поле, которое есть только в России».

Это писала Марина Ивановна Анне Антоновне Тесковой - своему чешскому другу, которой посвящен ее любимый стихотворный цикл «Деревья».

«Деревья, которые люблю больше всего на свете. У моря я - у моря (выделено мной. - З.М.), в лесу я - в лесу - пийеп ёппеп (в середине, внутри). У моря я в гостях (ненавижу гостить, такой расход любезности!). В лесу я дома, одна сама своя».

«А я к Вам хотела и хочу - сказать просто? - Любить. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значущейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь. Вы же знаете, что пол и возраст тут ни при чем. Мне к Вам хочется домой: ins Freie - на чужбину, за окно. Облако, на котором можно стоять ногами. Не тот свет и не этот, - третий- сна, сказки, - мой».

«У меня с Вами покой и подъем (покой без подъема - скука подъем без покоя - тоска). Покой и подъем».

А.А. Тескова, как и деревья, дарила Марине Ивановне великий внутренний покой, в котором расправлялась и поднималась, а не засыхала и засыпала душа. Анна Антоновна была - судя по отношению к ней Марины Цветаевой - крупным и в то же время уравновешенным человеком. А уравновешенность - «покой и подъем» - это то, чего может быть, более всего не хватало Марине Ивановне и что она более всего любила, чего жаждала, перед чем преклонялась.

«Есть люди, которых не касается зло, дважды не касается: минует - и - «какое мне дело? Б». Это я - о Вас. Меня - касается, ко мне даже притягивается, я с ним в каком-то взаимоотношении: тяготение Вражды. Но это я в скобках. Вернемся к Вам. Вас бы очень любил Рильке. Вы всем существом поучительны (lehrreich), и совсем не нравоучительны, Вы учите, не зная, - тем, что существуете».

Тихая, цельная душа, собравшая жизнь сама в себе, как то же дерево, которое не скучает (полно жизни) и не тоскует (никуда не рвется). У Марины Ивановны - вечный порыв за окно, то есть вечная тоска (писала об этом не раз) - и вечная скука в доме. Обязанность. Долг. И - скука. Рвущаяся душа! С детства, с рождения. Когда-то она и не знала о существовании других тишайших душ. Думала, что так всегда: если дом - то скука. Если нет скуки, то и дома нет - тоска бездомности или тоска порыва из дома; все равно - тоска. С тех пор, как узнала эти деревьям подобные души, прозрела что-то. Может быть, - сквозь все образы увидела Высший и стала чаще затихать в благоговейной любви к нему. Но эти тихие от ее рвущейся души еще так далеки... как звезды... Спасибо, что есть, но... Она другая. Не глухая и не слепая к ним. О, нет! Видящая, слышащая, любящая. Но - другая. Она еще не знает вовсе, что в ней хорошо, что плохо. До конца не разобралась. Что грех, что подвиг, что от нее Богу нужно, что - нет. Вот они - нужны. В них - все нужно Богу. Это она знает. А из таких, как она, разрывавшихся на части, был и Толстой, и Гоголь. Такие и не такие. Что-то в них она горячо любит, что-то нет.

«...Вспомните Толстого, - пишет она той же Анне Антоновне, - который, конечно, подвижник, мученик дома (долга) - но который за этот подвиг ответит. Толстой был прав кругом - и вдруг мысль: грех - что! Грехи Бог простит, а подвиги? (Выделено мной. - З.М.). Служил ли Толстой Богу, служа дому? Если Бог - труд, непосильное: да. Если Бог - радость, простая радость дыхания: нет. Толстой, везя на себе Софью Андреевну плюс все включенное, не дышал, а хрипел».

И далее:

«Пора и о душе подумать, глубокое слово, всегда противу- ставляемое заботам любви, труду любви, семье. «Не в праве». Вы не в праве, но Ваша душа - в праве, в праве - мало, то, что для Вас - роскошь, для нее - необходимое условие существования. Вы свою душу губите».

И, в ответ:

«Кто душу положит за други своя!».

И еще в ответ:

«Оставь отца своего и мать, и иди за Мной.
Я сейчас на краю какой-то правды».

Вот из этой-то правды, на краю которой она себя почувствовала, и стало расти «Искусство при свете совести».

Сама постановка вопроса совершенно не вмещалась в представления целого века. «Поэзия выше нравственности или - по крайней мере, совсем иное дело», - писал Пушкин. «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести», - написал Пастернак. И вдруг - «Искусство при свете совести»!

Искусство и совесть Марина Цветаева ясно и четко разделяет. И искусство ответственно перед совестью. Совесть - выше. Однако сделать из этого такие однозначные выводы, как Толстой и Гоголь, Цветаева не может. Отказаться от искусства - для нее все равно, что отказаться от жизни: «Проще сразу перерезать себе жилы». Поэтом не быть не может. Но за то, что поэт, надо отвечать.

Как же отвечать? Вот в этом она и хочет разобраться. Этому разбору и посвящена статья. И, может быть, «Искусство при свете совести» - тоже очная ставка с Рильке и не менее серьезный разговор с ним, чем «Новогоднее», хотя и без прямого обращения к нему. Если «Новогоднее» кончается обещанием «спеться» с Рильке, обещанием верности ему, всецелой и полной, то «Искусство», написанное шесть лет спустя, как бы проверка этого обещания и подведение итога, беспощадного и точного.

Потрясенная внезапной смертью Рильке, под ударом этой смерти, она поклялась, но в силах ли исполнить клятву? Или клятва эта, как и все цветаевские клятвы, рвет ее на части - и ни исполнить ее, ни отступить от нее она не может?

Статья - предельно честная попытка разобраться в своих возможностях. Может ли она быть такой, как обещала? По сути она обещала ему подняться до белого огня, до чистой любви к Богу. Но возможно ли такое, если она останется поэтом? Рильке мог. И, однако, не он ли сказал: «Бог может. Но ответь мне, как же нам идти за Ним?»

Он, находящийся на седьмом небе, - на высочайшем уровне Духа, — может. Но может ли она? Может ли искусство, оставаясь на своем нынешнем духовном уровне, называться святым? Нет. Словосочетание «святое искусство» для нее сейчас не правомочно.

«Искусство было бы свято, если бы мы жили тогда (в языческие времена. - З. М.) или те боги - теперь. Небо поэта как раз на уровень подножию Зевса: вершине Олимпа». Вот оно что. Искусство все еще находится на уровне язычества. Она же судит его с другой, высшей точки зрения.

«Искусство свято», «святое искусство» - как ни общо это место, есть же у него какой-то смысл, и один на тысячу думает же о том, что говорит, и говорит же то, что думает.

К этому одному на тысячу, сознательно утверждавшему святость искусства, и обращаюсь.

Что такое святость? Святость есть состояние, обратное греху, греха современность не знает, понятие грех современность замещает понятием вред. Стало быть, о святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему, настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого — Бог — грех - святость — есть.

Если атеист заговорит о высоте искусства, речь моя, отчасти, будет относиться и к нему». Так начинается статья. С утверждения, что для нее понятия Бог - грех - святость - суть понятия высшие. И судит она с этой высшей точки зрения.

Искусство мира, называющего себя христианским, было и остается языческим (за самым малым исключением) — вот что сознает и утверждает Цветаева.

«Многобожие поэта. Я бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов. Никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (что было и у язычников). Большинство же и этого не знают и слепо

чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что одно уже сопоставление этих имен - кощунство и святотатство».

Действительно, для кого из большинства поэтов христианская мораль и христианское чувство жизни живы и действенны?

Любить врагов? Подставлять левую щеку, когда тебя ударят по правой? Все это мертвые прописные истины. Поэт же - самый живой из живых. Поэт - тот, кто с мертвечиной дела не имеет никогда. Чем дальше от нее, тем больше поэт. Каждую истину он рождает заново сам. Для него нет истин готовых. С тех пор, как перевелись пророки он и есть тот, кто их «изготавливает». Печет хлеб насущный и не дает ему зачерстветь. Вернее, конечно, не печет, не изготавливает, а рождает. Каждый день зачинает от никому не видимых и не слышимых духов которые носятся в воздухе эпохи. Зачинает, вынашивает, рождает Как природа. И не было у Марины Ивановны более высокой оценки для поэта, чем «Вы - явление Природы». Это она говорила Пастернаку и о Пастернаке, захлебываясь его стихами... Чего нет в его книге того нет и в природе. (А чего в природе - нет?). При самом тщательно географическом изучении вы не смогли бы найти здесь ни одного пропуска. Все в наличии. И это все и есть лицо Пастернака». Так Марина Ивановна писала в статье «Поэты с историей и поэты без истории» где сравнивала лирического поэта с морем, никуда не идущим, а вечно только пребывающим, и говорила, что ему ничего не надо, как только быть. И поэту надо только быть и только выразить себя.

«Жизненную и бессмертную задачу Пастернака мы знаем. Выразить себя». Никакого движения она в нем не видит. И не хочет никакого движения. На всю жизнь хватит того, что было дано ему «отродясь». Он, как и она, как Лермонтов (по ее мнению), «все отродясь знал». Меняться, обогащаясь, может только язык, а не сущность.

Итак, что может быть выше природы? Сказала: «природа» - и все сказала. Читай: совершенство.

И вот вдруг, в «Искусстве при свете совести», прямо начинает с того, что природа вовсе не выше всего. А значит и искусство, которое «есть та же природа», - тоже не самая высшая ценность.

«В чем отличие художественного произведения от произведения природы, поэмы от дерева? Ни в чем. Какими путями труда и чуда, но оно есть. Есмь».

Однако в природе есть гады, пауки, скорпионы. Есть. И если у нас хватит мужества взглянуть в природу глубоко, - сколько зла мы там увидим!.. Сколько страданий...

Цветаева взглянула. Глубоко взглянула. И увидела. И ужаснулась И встала на раздорожьи: влево пойдешь - убьешь в себе поэта. Вправо пойдешь - убьешь в себе человека.

Примерно так. Ибо если дело поэта быть только живым, зачинать от жизни и рождать жизнь, то он может народить и скорпионов. А не рожать - значит не быть поэтом.

В Гаммельне никого не убивают, не грабят. Но там и жизни нет Там смертельная скука. Смерть души. «Покой без подъема». А чара флейтиста - что угодно, только не скука. Она выводит из скуки спасает от нее. Однако что это за спасение? Он уводит не только из скуки, но и из жизни:

Mutter, ужинать не зови! Пу-зы-ри...

(«Крысолов»)

Это - конец «Крысолова». А «Молодец», с его неодолимым зовом стихии, сметающей все, врывающейся и в дом, и в церковь! Полыхающее зарево, рванувшееся из кратера пламя! Спрашивай с него морали! Вот он - тот вулкан, который мы застраивали дачами... До-временный хаос...

О чем ты воешь, ветер ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

(Ф. И. Тютчев)

Хаос. Он больше нас. Он - наша природа. Наша душа. Можно ли жить без души? Это именно и пытаются делать гаммельнцы. И вполне успешно Их — сонмы. Вот к ним-то и придет флейтист, как месть, как страшный суд природы. Поэт дальше всего на свете от Гаммельна. Но где же он? Там, где его душа. А душа веет ветром за окном и зовет его вон из жизни, как Молодец Марусю. Душа в какой-то час противопоставляется жизни. Надо выбрать между душой и жизнью. И вот этот выбор Марина Цветаева сделала «отродясь», до сознания. Отродясь знала, что есть что-то больше жизни, этой, земной, телесной, обозримой жизни. И это большее, это неведомое, это законное, надтелесное, за-предельное - отродясь любила. Любила и доверяла ему. Доверяла природе. Доверяла своей душе. Доверие... вера. Вера же - уверенность в невидимом, как сказал апостол (Павел Евр. 11:1). В видимом мире и природа, и душа (та же природа) часто были ужасны и мало достойны любви. Полнота жизни, полнота души - не этим ли околдовал ее загадочный черт детства, тот серый сфинкс, который сидел на кровати старшей сестры и которого Марина - любила... Однако не так просто его любить! Пока за любовь надо отвечать только своей жизнью, она была готова. Но другими жизнями... Отдать свою жизнь - это подчас блаженство, но отнять у другого, выпустить на волю джинна, открыть шлюзы и обрушить на мир потоп!.. Идти из Гаммельна за флейтой - великая радость. Но очнувшись от чары, увидеть, что флейта потопила детей... (А именно это очень часто делало искусство...) До поры до времени Марина Цветаева доверяла чаре, доверяла Искусству (сплошная чара)

- и вот вдруг задумалась. Чара выводит из жизни и приводит в вечность; в ту самую, от которой у нее во всю душу остался - загар. Но что такое эта вечность?

В «Искусстве при свете совести» перед словом «бессмертие» появляются определения. Просто бессмертия Цветаевой мало. Она утверждает, что в пушкинском (Вальсингамовом) гимне Чуме речь идет о языческом, а не христианском бессмертии... Что же это значит?

То, что противопоставляемая Добру полнота жизни ей кажется все более сомнительной. И если Цветаева по-прежнему не может отказаться от этой полноты, то теперь она уже судит себя за это. Судит за то, что не сопротивлялась стихии. Недостаточно сопротивлялась. Теперь, в 1932 году, она меняет оценку своего «Молодца». Если в двадцать шестом писала Пастернаку, что никакого сатанизма в поэме нет, что в конце поэмы Маруся («я сама») освобождается, то теперь все звучит иначе.

В «Молодце» я никакому богу не служу: знаю, какому богу служу, - пишет Марина Цветаева в «Искусстве при свете совести».

Что это значит? Черту? Нечистой силе? Так все-таки был сатанизм?

Вернемся к поэме. Марусин суженый, смысл ее бытия, ее душа - единственная сила и жизнь, которую знает ее сердце. Все остальное - бессилие, а не жизнь. Точнее - куцая жизнь, скучная жизнь. Не вечность. В нем одном, неживом, вся полнота жизни. Тот «змеиный укус бессмертия», с которым кончается все конечное. Он - вызов ее душе оторваться от берегов тленного и окунуться в нетленное. Ее душе приготовлен просторный покров бессмертия. Но для этого надо вниз головой, в смерть, в бездну. И - через. Только через смерть входят в бессмертие.

В мае 1926 года Марина Цветаева пишет Пастернаку: «В Эвридике и Орфее переключка Маруси с Молодцем - не смейся опять! - сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло - верно. Ах, м<ожет быть>, просто продленное «не бойся» - мой ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришел ЖИТЬ, тот за моей - не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы... стыдно - назад!»

Да, назад - в жизнь, отмеренную днями, в некий отрезок жизни - от всей жизни?! Нет, нет! В смерти, в бездне она узнала нечто большее, чем отрезок, кусок, срок, час... - безмерность.

Однако что это за безмерность? И кто же он, - позвавший ее в безмерность?

Ясным определенным злом ее Молодец был для тех, кто не выдерживает безмерности, кому не взлететь в огонь-синь. Те просто умрут - бездны не переплывут. А ей... ей назначено другое, недаром он ее любит. Над ней сотворено заклинание. Зерно брошено в землю, чтобы прорасти другой жизнью. И вот она пробуждается в другой раз. Еще раз в жизнь, в берега, в дом. Зачем? Она не знает. Она живет, как во сне, со смутной памятью, вложенной в нее до второго рождения. Что-то можно, что-то нельзя. Пока, до времени. Пока - надо жить в полсилы, в полдуши. В пол- или в четверть - в полусне. В доме - Маруся полуживая. Ее душа - полнота жизни - за окном, за мерой.

Но для чего-то ей дана ведь эта вторая жизнь! Что-то надо искупить. Как-то надо согласовать безмерность с жизнью? Для чего-то ей велено быть как шелк, и дорожить добрым толком - и соблюдать долг. Однако - условие нарушено. И изо всех сил сопротивлявшаяся зову Безмерности душа, изнемогая, освобождается от раздвоенности. Нечто огромное, ни во что не вмещающееся, не знающее оков настигло ее во время молитвы в церкви, с ребеночком, младенцем на руках. И вот –

- Прощай, сытенький!
Прощай, гладенький!
Никнет. - Дитятко
Мужу на руки.
- Прощай, чуточка!
Прощай, крохотка!
Вот-вот скрутится,
Наземь грохнется.
Зелень... Морская синь...
Стелется... Клонится...
- Только глазки не вскинь:
В левой оконнице!
(«Молодец»)

Та же флейта Крысолова. Те же переливы, та же замирность. Чара Очарованье, лишаящее душу воли и наполняющее ее неведомым смыслом. Смысл, ведущий к гибели, гибель, чреватая смыслом...

Веянье... Таянье...
Моленье тайное.

- Рвение, ко мне!
Рдение, ко мне!
В левом окне,
В вечном огне.

Перси - в багрец!
Сердце - к груди! Нечеловецк
Свет! - Не гляди!

А рядом — молебен. Звуки молитвы входят в уши. Те звуки — в душу.

«И-же хе-ру-ви-мы!»

поет хор. А в душе - стихия поет:

Иг-ри-щем орлиным,
Листвием гонимым...
«Хе-ру-вимы тай-но»...

И снова перебивает ТО:
Тысячами-стами,
Тысячами -тьмами...

- «Яко за царя всех»...
Удар. — Окно настезь...

Стеклом-звоном, тьмой-страстью...

- Гляди, беспамятна!

(Ни зги. Люд — замертво).

- гря-ду, сердь рдяная!

Ма-ру-ся!

Глянула.

Все. Бороться можно было, пока не глянула. То есть пока не впустила в душу, пока душа еще заслонялась последними человеческими преградами. А это «нечеловецк свет! — не гляди!». Но — глянула. И все. Конец борьбы. Одолел. Как и в тот раз, в жизни — в преджизни.

Но что это все значит? Поэма есть искусство, то есть «та же природа» - нечто рожденное. Оно - есть и все. «Есмь!». Живое. А судить об этом... судить можно по-разному. В двадцать шестом году чувствовала одно: неизбежность такого финала и его освобождающее значение. В тридцать втором - финал поэмы вряд ли казался ей освобождением. Скорее порабощением души. Освобождением низших слоев порабощением высших.

Что же изменилось? Точка зрения. Точка отсчета. В детстве, в юности осмеливалась любить черта, ибо зла в нем - не видела. Он был собачьим богом, звериным богом — природой. Выше природы в языческом мире ничего нет. Ни Бога - единого, высочайшего Творца всех тварей, - ни черта - дьявола, сатаны (если нет Бога, то и противника нет). Есть Природа. Стихия. Рок. Звериный мир. Звериный закон полноты и силы жизни. Невидимого Творца своего природный мир не знает. Знает только тварей. Твари одушевлены - и как еще! Они обладают душой, подчас огромной! И зов запредельного, вечного им по-своему ведом И людям, и зверям, может быть, особенно зверям. Звери к этому неведомому, запредельному часто ближе, чем люди. Их кровь их инстинкт еще помнит это. Они живут полнее людей. Полнота жизни в них (в природе) есть. Но вот доброта?.. Нет... Тут не ангельские законы - звериные. Закон силы. И у олимпийцев подобные законы. Суровые законы Природы которым подвластны все твари. Природа хранит Огонь Жизни. Вот и все, что от нес требуется.

Греческие боги с нашей точки зрения часто аморальны. Но они не ответственные, как и сама Природа. Тут не с кого спрашивать. Они - творения. Они лишь хранители каких-то им самим неведомых тайн Они смутно чувствуют, знают глубинно, что есть Кто-то высший. Ведь не они сотворили этот мир:

Огонь пылает в человеке,

Его унять никто не мог.

Тебя назвать не смели греки,

Но чтили, неизвестный бог!

(О. Мандельштам. «Ода Бетховену»)

Когда один из титанов украл огонь, он был жестоко наказан. По сути, Прометей сделал то же, что Люцифер. Только одна религиозная традиция прокляла дерзновенного; другая - оставила векам образ благородного страдальца. И гуманистическая традиция до сих пор равняется на Прометея, хотя Прометеев огонь грозит спалить этот мир.

Прометей украл огонь у богов и отдал его людям. Он хотел, как и тот золотой змей из райского сада, чтобы люди «сами стали, как боги»... (Всего-навсего. И за такую малость...).

Впрочем, он ведь был добр. Он хотел избавить людей от жестокости богов - стихий - природы. Намерения у него были благие. Те самые, которыми ад вымощен.

Как бы то ни было, огонь был украден, присвоен. Ибо огнем может по праву владеть только тот, кто способен сделать его силой созидательной, а не разрушительной:

Созидатель жизни

Но разве Бог не дает огонь жизни всем? Разве во всем живом нет огня? И разве не назвал Бог первого ангела Люцифером – Светоносным?

Назвал. Люцифер - тот, кому Бог доверил свой Огонь. Поручил нести. От Бога к Богу. Огонь должен был служить Богу. А ангел- как всякая тварь - только носитель и хранитель огня.

Священный огонь, данный нам, не принадлежит нам, как сама наша жизнь, как наша душа. И однако, надо нести и хранить Божий огонь Светоносный ангел пал тогда, когда назвал Божий огонь своим' Себя - высшим. Самым высшим - Богом. Но тот, кто чувствует себя самым высшим, тот, кто меряется с другими, - не Бог и Богом быть не может.

Бог тот, для кого нет других. Все - в Нем и Он во всех. Тварь такими категориями не мыслит. Тварь не может обнять и вместить вся и всех Тварь - одна из множеств. Если огонь находится на службе у твари, он сжигает одних для других. Он становится смертоносным.

Огонь может принадлежать только Творцу, только Всецелому Духу который не делится на части и не может противостоять никому У него нет врагов. Ибо все - Он, все - Одно. Он живет в другом измерении (не от мира сего, не от мира частей: Он - целостность)

Есть древнее изречение: Христос - подлинный Люцифер (подлинный носитель огня). Человек, у которого все выжжено, прожжено насквозь его «я» (эго) человек, который стал един с Богом, - всецелый человек - вот кто вынес божественный огонь, вошел в него, слился с ним и не сгорел стал светом. Он не отказался от огня. Ни одной искры не уронил Всё собрал. Душа его горела великим пламенем. Накал этого пламени был такой, что людям трудно было вынести его, трудно глядеть в упор

И все-таки пламя это никого не сжигало. Сердце его горело и не сгорало, как куст неопалимой купины. Жизнетворная любовь Этой любви ничего и никого не надо присваивать. Она открыла источник жизни внутри самой себя. Все - внутри. Совершенно восполненная Душа. Полная Луна, если воспользоваться метафорой Рильке:

Но каждый восполниться должен сам, дорастая,
как месяц ущербный, до полнолуны.

(«Элегия»)

Только сам, ибо неистощимый источник жизни находится внутри Внутри каждого. И каждый, доходящий до вечного пласта в себе самом, может встретить там другого странника, устремившегося вглубь Но только там - в глубине, внутри - подлинная встреча Человек должен вместить огонь жизни. Проклят не огонь (любовь жизнь!), а укравший огонь, присвоивший огонь.

Боящийся огня, чурающийся, отказывающийся от Божьего дара - не зарывает ли в землю свой талант?

У человека, как у рабов из евангельской притчи, есть три возможности: растратить все, что получил, и ничего не отдать господину вернуть ровно столько, сколько взял; пустить в рост и приумножить

Первый путь - полная безнравственность, бездумное наслаждение жизнью, растрата жизни, без всякой мысли об ответственности перед Кто дал- Полное подчинение стихиям. Кроме себя и стихии - ничего. Стихия - твой слуга на время и ты ее - навечно. Есть только то, что вмещается в мой узкий окоем. Только - видимое Скроется - и все. После меня хоть потоп. А я промелькну - и нет. Это собствен но, не путь - беспутство. Второй путь - путь нравственности Исполнения долга. Ощущение своего «Я» звеном в человеческой цепи Нравственный человек как будто бы безупречен. Полная честность Сколько взял, столько отдал. Получил талант - отдал талант Но Богу' оказывается, этого мало... Ему надо большего. Чего же?

Богу надо, чтобы человек сам научился творить жизнь чтобы из семени, которое Он ему дал, человек сам вырастил бы плоды и собрал новые семена. Бог создал человека по образу и подобию Своему Он хочет иметь не раба, а сына - наследника - Творца Но для этого надо встать на третий путь - духовный. Почувствовать себя звеном космического Целого, где каждый твой поступок нет: слово, нет: вздох - разносятся по всем звездам и отдаются эхом в других галактиках.

Путь этот невероятно труден. И первая трудность в том, что быть может, придется сойти с надежного, проторенного пути нравственности в какую-то неведомую глухомань. Внешне этот путь часто трудно отличить от бездорожья - бес-пугства. Но мало этого; часто не только внешне, но и внутренне человек находится в великой опасности - вне закона не только нравственного, но и духовного

Глухой лес со множеством зверей... Пути Господни не исповеди- мы нашему разуму, и Бог часто представляется нам жестоким сверх всякой меры. В очевидности это так. Остальное - знание сердца

Правда осторожного человека, не отступающего от правил, очевидна А у ставшего на духовный путь правда станет очевидной только тогда, когда он сам станет наследником и творцом. Да и тогда еще - кому очевидна, кому нет. А уж до этого!..

«Я - есмь путь и истина, и жизнь», - сказал Христос. <Путь в Истину есть Истина... > Но ведь это не путь, а сплошное бездорожье Да, Это так. Проложенных, безопасных дорог в Бога - нет.

Кто такой путь отличит от беспутства? Внешних отличий нет Внешних ориентиров нет. Знамений нет. Путь этот всегда лежит через пустыню. И кто не прошел через пустыню, тот не шел Его путем Пустыня. Законы проторенные Души. Нет, это не небо, не райские куши. Это - далеко, далеко... То ли дойдешь, то ли нет. А пока - пустыня, пустыня души, заселенная подчас дикими зверями, а подчас и демонами.

Не мудрено испугаться и сказать тому, кто велит идти- не хочу. Возьми свой дар... Ты человек жестокий..

Цветаева не испугалась. Пошла (В письме Пастернаку: «может быть просто продленное "не бойся" - мой ответ на Эвридику и Орфея») Не пойти - не могла. Отродясь знала, что пойдет. А вот дойдет ли?

Но все равно, пути назад - нет. И все те, кто хотят проторенного более или менее комфортабельного пути к Богу, ей чужды Может быть, и искренне хотят помочь, но ведь не помогают, но ведь встают между ней и Богом, между ней и Путем...

«В священнике я всегда вижу превышение прав: кто тебя поставил надо мною? Между Богом и мною; (тем и мною)- всем и мною. Он - посредник, а я непосредственна. Мне нужны такие, как Рильке, как Вы (письмо Тесковой. - 3 М) как Пастернак. В Боге, но как-то без Бога, без этого слова Бог без этой стены между мной и человеком - Бог».

.. Нет, она вовсе не отвергала помощи. Помощь Рильке была нужна ей, как вода живая. Но это помощь того, кто сам прошел, воплотил стал, а не поставлен по должности. Тот, от кого веял Дух непосредственно в нее, кого душа сама узнает, как апостолы узнали Христа - вопреки всем знакам...

Встретить старшего по Духу (на несколько жизней, как Рильке) - величайшее счастье. Но с Рильке она успела только переброситься несколькими жаркими письмами. Ни одной встречи - и смерть. Где-то

далеко - на другом конце земли (иногда сомневается в этом) - есть равносущный. Но старшего, высшего нет. Идти надо самой. Как? Куда?

Маруся с Молодцем влетели в огонь-синь, в огромное пламя за церковным окном, за церковь, над всеми зданиями, дальше-дальше... Куда? Что они будут делать в огонь-сини? «Лететь в него вечно». Ни верха, ни низа. И первая оторопь души: «Борис, я не знаю, что такое кощунство», - писала она в тех письмах двадцать шестого года.

«Борис, мне все равно, куда лететь. И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность)».

Это были первые робкие признаки страха Божьего, которые шесть лет спустя преобразятся вот в такие слова:

«В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня? Кощунство не в том, что мы, со страха и отчаянья, во время Чумы - пируем (как дети, со страха, смеются), а в том, что мы в песне - апогее Пира - уже утратили страх, что мы из кары делаем - пир, из кары делаем дар, что не в страхе Божиим растворяемся, а в блаженстве уничтожения. Если (как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина) Чума - воля Божия к нас покаранию и покорению, то есть именно бич Божий. Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару, как таковому. Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума - или как их еще зовут. Ведь после гимна Чуме никакого Бога не было».

Я не знаю, как относительно Пушкина... Думаю, что это не однозначно. Но относительно себя Цветаева предельно и беспощадно точна.

Грехом, кощунством было не то, что она не испугалась бездны, стихии, Чумы или любви. Грехом и кощунством было упоение стихией до гибели в ней и упоение гибелью. Полное подчинение стихии - до «дальше некуда». И вдруг - оторопь и протест - с самого дна души. Душа опоминается и ужасается. Она чувствует, что перешла грань. Она знает, что так нельзя.

Но как можно? Как нужно? Этого она не знает. Знает только, что так - нельзя.

Молодец, краше которого нет, — упырь. И героиня это знает с самого начала. Не обманывалась. Не принимала его за светоносного ангела. Все они - эти бывшие светоносные - упыри, воры. Они крадут огонь жизни. Сами они жизни не творят. И потому жизнь в них время от времени иссыкает. Демон, нечисть, использует свое

могущество, чтобы вечно красть жизнь, присасываться и пить чужую жизнь, чужую кровь...

Госкующий демон - это голодный вампир. Он идет к самым прекрасным, ангелическим душам, чтобы их выпить и жить... жить самому...

Так пришел лермонтовский Демон к Тамаре. Так, может быть, приходит Ставрогин и к Лизе, и к Даше, и к Марье Тимофеевне. Оба они и другие, после них - так же пробовали пить жизнь жалевших, любивших их.

Цветаевский упырь — совсем не новость в русской литературе. Только теперь заговорила сама обольщенная. Сама Тамара, может быть, в тот момент, когда ангел с демоном спорят за ее душу...

Лермонтовский ангел сказал: «Она страдала и любила, И рай открылся для любви». Но что за этим стоит? Что это значит? И в самом ли деле злой дух побежден?

Пока зачаровывает, не побежден! Но пока остался хоть один атом сопротивления, он не победитель.

Маруся - в первой части поэмы - не сопротивляется. Только в самом начале она не знала, кто ее Молодец. Но кто бы ни был, - она целиком у него в плену. И когда узнала, это ничего не изменило. Так же пленена им, знающая, как и незнающая. Но теперь знает и потому ответственна. Более того, он же сам просит бросить его, заклисть: не губить свою душу. Не слушается. Он и сейчас есть ее душа.

И вот она - демоническая подмена. Не тот, а притворяется тем. И пока притворяется, все просьбы заклисть его, бороться с ним - лукавство. Он — лукавый. И чем правдивее, тем лукавее...

Ветер, да ивы.

Тихий, не дерзкий.

Голосом льстивым:

- Выслушай, сердце!

В кротости просим!

Милости райской!

Встану с допросом –

Не отпирайся!

Брось свою хитрость! —

Сердце, клянусь!

Прахом рассыплюсь.

Век не вернусь!

(Рученьки сжаты,

Ноженьки ноют).

Нашего брата

Правдою кроют!

До сердцевины,

Сердь моя, болен.

Знай, что невинен.

Знай, что неволен.

Чем не разговор Тамары со страдальцем Демоном? Он страдает, как никто, он «невинен и неволен». Его спасти надо... Он вроде и не обольщает. - Сам говорит, кто он есть. Да, Демон; да, упырь; возьми и убей меня. Но если душа обольщена, то все эти слова - ничто, пустое. Важно, обольщена ли? Заснула ли?.. Со спящей - все можно сделать. Нарочно кричу - крепко ли спишь? Крепко... Крепко, ох как крепко... Ну, теперь:

Лют твой сударик!
Лют твой румяный!
Полночь как вдарит,
Волком как гляну –

«Знаю, мол, чья, мол,
Кровь в твоих жилах!
Все мне до самой
Капли и выложь —

И разорвется
Весь наш союз.
Ветром в воротцы —
Ввек не вернусь!

Не одну твою жызть,
В руках, сердце, держу:
Вчера брата загрыз,
Завтра мать загрызу

Все наперед сказал, все знаешь, а не проснешься, - моя... Колыбельная спета. Душа зачарована. Кем же она зачарована? Дьяволом? Злом. Ужасом? - Нет. Тем самым божественным образом, который этот вор украл. Он - оборотень. Он приходит не в своем образе А своего у него нет. Есть умение красть.

Он притворился всей полнотой жизни, всей душой Марусиной Но может, и в самом деле это ее душа? Почему мы уверены в притворстве, в обмане?

Потому что душа вольна, а она не вольна сама в себе. Она делает то, чего не хочет, от чего в ужасе.

Если считать, что душа наша невольница, что наш господин - неумолимый Рок, тогда Марусин «сударик» - не<дьявол не вор а просто слуга Рока, такой же раб, как и сама Маруся.

Но если в душе дремлет представление о внутреннем господине - о Боге, - тогда душа начинает догадываться о своем грехе Само ее невольничество и есть первый грех. Она - вольной, божественной природы. Тот, кто ее порабощает, обманывает ее. Он - Лукавый Что из всего этого знала Маруся? Может быть, так ясно, - ничего Но у нее есть ясное чувство греха. Греха и невозможности ему противостоять.

Однако, ведь если действительно невозможно ему противостоять тогда какой это грех? Кто с нас спрашивает невозможного?

Раздвоение. Знаю, что грешна, но не могу иначе. Так в первой части поэмы. Во второй

части поэмы Маруся пытается противостоять греху изо всех своих сил. Но разве она владеет всеми своими силами? Сомнамбула, бродящая по миру с закрытыми глазами сомнамбула, знающая вещи на ощупь, знающая подземные корневые образы вещей и ничего не видящая, как бы еще не вышедшая из тьмы... Сомнамбула, полуживая, рвущаяся к жизни, тоскующая по жизни душа - такая она во втором своем рождении. Кто ее пробудит к жизни? Муж? - Нет... Дитяtko? Крохотка, чуточка... Вся нежность ее с ним. Но и он не пробудит. Почему в этом мире нет того кто пробудит ее к жизни - ко всей жизни, к целостной жизни Души?

И вот - снова он. Но - преображенный. Тут уж не просто Молодец-оборотень. Тут торжествующая сила огня. Тут то же, что в пушкинском Петре:

Лик его ужасен.

Движенья быстры.

Он прекрасен.

Он весь, как Божия гроза...

Полное торжество стихии над душою,

Но она никого не подменяет и ничем не обольщает. И - убивает или не убивает - не виновата. Природа. Извержение Везувия. Что это? Любовь? Революция? Море? - Огнь-синь. Горящая синева бескрайнего простора. И Маруся, подчиняясь ей, освобождается от раздвоенности. Она, наконец-то, живет цельно.

В первой части было нагнетание ужасов, совершенная поработенность грехом. И гибель. И вот во второй части она сознает неизбежность случившегося. Она не может отвечать за силы, во много раз превосходящие ее собственные душевные силы.

«Знай, что невинен, знай, что неволен», - говорит Молодец. И Маруся всей второй частью как бы вторит ему: невинна, ибо не вольна в себе...

И если в первой части герой дwoится между красотой и безобразием, между добрым молодцем и упырем, то во второй части уже нет ни красоты, ни безобразия, ни лица, ни маски, ни добра, ни зла — стихия!

Так душа, наконец, полна? Восполнилась?

В двадцать шестом году Марина Цветаева не додумала этого вопроса до конца. Может быть, вопрос и не ставился так. В тридцать втором году - додумала. И поставила вопрос именно так. Нет, душа Маруси не восполнена в ее полете. Это не вполне она, не вся она! И она - виновна. Если бы душа человеческая была только стихией, подчинялась бы только Року и не догадывалась бы о своей вольной божественной природе, она не была бы виновата.

Но вот стихия ли она? Самая ли это ее суть? Или это чуждое, завладевшее ею?

«Не хочу служить трамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям. Чужим? А есть ли для поэта - чужое?..

Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев. Тогда скажу: не хочу не вполне моего не заведомо моего, не самого моего. А если самое-самое-то мое (откровение сна) и есть Пугачев? - Ничего не хочу, за что в 7 ч. утра не отвечу и за что (без чего) в любой час дня и ночи не умру. За Пугачева не умру - значит не мое».

Вот оно что. Стихия не есть ее суть. Не вся она принадлежит стихии. Стихия ее разрывает на части. Мучает душу. Убивая других людей (с ее помощью, когда она зачарована стихией, или без нее) - убивает ее саму. Каждый убитый, каждый обиженный, каждый сирота - с мясом вырван из нее самой.

Обольщена стихией? Да. Но не совсем. Нет, не совсем!

Как Маруся, мужняя жена, ждала своего Молодца, так Маруся летящая с Молодцем, ждет еще чего-то... Нет, не того, что бросила, а чего-то третьего... Этого нет в поэме, но это есть во всем контексте творчества Цветаевой.

С этого света (скука, сон) - рвалась на тот. На том свете (за окном за полыхающей оконницей) скуки нет. О, нет! Но какая там тоска! Какой вечный неутолимый порыв! Куда?

Мне все равно, куда лететь.

Лететь в него (в огонь-синь. - З.М.) вечно.

Но ведь этот вечный полет есть сон «того света» - упоение, опьянение... То же убежание от самой себя.

С этого света, с этого края души - такое упоение кажется выходом, спасением. А с того края души выходом покажется остановка вихря в котором кружатся Маруся и Молодец, Паоло и Франческа... И будет мотать душу из одной крайности в другую. В истории так именно сменяют друг друга романтика и здравый смысл, крысы и Гаммельн В истории души - страсть и долг.

Но ведь истинный тот свет - это не Тот и не Этот, он противостоит не какой-нибудь части, а всем частям. Он противостоит только противостоянью, только разрывам. Он обнимает. Вмещает. Он - все Целое. Как сказал другой поэт:

...»Природа, вся в разломах,-
Зренья нет – ты зришь в последний раз.
Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны...»
(О. Мандельштам. «Ламарк»)

Кто же она, эта слепая и глухая Природа? И если она слепая и глухая, то кто же дает нам зрение и слух? Откуда Моцарт? Откуда полнозвучье? Откуда эта переполняющая душу любовь...

Любовь! любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь - прельщусь - смущусь - рванусь.
О милая! - Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.

Не темная, унижающая душу, отрывающая от себя самой страсть, а цельная и светлая любовь-нежность, любовь-переполнение сердца. Этот «звон такой ликующий!»

И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.

(«Любовь! любовь! И в судорогах, и в гробе...»)

Великая легкость, крылатость, «волна внутренней правоты». Откуда-то это в нас есть.
(Природа... природа... Слепая, суровая, смертная - как она тоскует по Зрячему, по
Доброму, по Бессмертному...)
Откуда же в нас эта тоска, если мы - слепота и смерть?!

«Обратная крайность природы есть Христос. Тот конец дороги есть Христос. Все, что
между - на полдороге.

И не поэту же, отродясь раздороженному, отдавать свое раздорожье - родной крест своего
перекрестка! - за полдороги общественности или другого чего-либо.
Душу отдать за други своя. Только это в поэте и может осилить стихию».

«Христос есть обратная крайность природы...» Не думаю что это самое точное
определение. Опять здесь крайности, разрывы и перелеты. Христос, скорее, - венец
природы, ее смысл, ее вершина- то что обнимая и вмещающая ее, уходит за ее пределы, к ее
Истоку и Отцу

Но как бы там ни было, самым своим, глубинно своим, главным своим Цветаева чувствует
Христа. И если Он не от природы «не от мира сего», то и ее главное тоже не от мира сего,
а - от Него И кем бы и как бы ни была зачарована ее душа, зачарованная и прельщенная, -
это не она, ибо не вполне она.

Она готова нести всю ответственность за то, что прельщена за то что постоянно
прельщается, за то, что бывает (и как часто!) не вполне собой Но - не путайте ее с «не
ею»! Она - это то, за что умрет и ответит в любой час дня и ночи. Она - это та, которая
предстоит перед Христом

Душа ее - это прежде всего - боль, боль за всех болящих про- низанность мировую болью -
не-вы-но-си-мой.

Душа ее не отдает и не предаст никого из малых сих. Пока она в здравом уме и в твердой
памяти. И потому душа ее - христианка И поэтому бесконечно ответственна.

Если душа - язычница, она ни за что не отвечает. «Нет виновного Все невинные». Нет
демонов. Есть природа. Стихия. Где душе бороться со стихией?! Щепка!

Если душа - христианка, то она знает, что Природа и Стихия - не последняя реальность, не
глубочайшая, не главная. Что есть сила большая, чем стихия, чем природа; что Творец
природы выше природы.

И она знает того, кто противостоит этому Творцу, - дьявола языческом мире дьявола нет.
В христианском – есть.

В языческом мире нет виновного, ибо дух человеческий немощен и отвечать за себя не
может.

В христианском мире дух человеческий за все отвечает ибо он могуч. Если душа ощутила Бога своего внутри себя, то она ощутила внутри себя великое могущество. Дьявол - внешний. Когда дьявол одолел душа виновата. Зачем вышла изнутри вовне, зачем обольстилась?

«Нет виновного. Все невинные», - сказал пораженный Роком Тезей.

«Я виновна, Господи, суди меня», - сказала Марина Цветаева. И может быть, это самое мужественное, что она сказала. Но «Кого, за что и кому судить» - так называется одна из главок в «Искусстве при свете совести». Она кончается словами:

«Права суда над поэтом никому не даю, потому что никто не знает. Только поэты знают, но они судить не будут. А священник отпустит.

Единственный суд над поэтом — самосуд.

Но есть, кроме суда, - борьба: моя - со стихией, ваша - с моими стихиями. Не уступать: мне - ей, вам - мне. Да не обольстимся.

Где тот священник, который мне наконец моих стихов не отпустит?»

Глава 14 ПРОТИВУГИМН

Итак, выходит, что вся задача - в борьбе со стихией. Поэтому надо не уступать стихии. - Читателю надо не уступать стихам, порожденным стихией. Ибо поэт, зачавший от стихии, дал стихии тело, воплотил. Ветер и пожар, бунтовавшие в мире, бушуют теперь на страницах книг и опрокидывают, сжигают души... Соблазняют малых сих.

Поэт зачарован (усыплен стихией), мы - стихами. И все эти зачарованные, спящие, пьяные - творят что-то страшное.

«Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих) искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя».

Вот как. Значит, во-первых, есть какая-то половина искусства, которая в соблазн не вводит. И, по-видимому, это и есть действительно святое искусство, - но вполне ли оно искусство? Только ли искусство?

Это больше, чем искусство, говорит Марина Цветаева. - Искусство без искусства. Оно может быть совсем безыскусным, как прозрение детской души, как стихи монашки о «Круговой поруке добра». А может быть и высоким искусством, как у Гёльдерлина. Или даже равно высоким и великим искусством, как у Рильке. И все-таки это все - за пределами собственно искусства. Это «доискусство» или «сверхискусство», но уже не просто искусство. И если нельзя вывести Рильке за пределы искусства, то Рильке - исключение, чуть ли не единственное.

«Рильке поэт не только равно-высокий и великий (это можно сказать и о Гёте), но с той же исключительностью высоты, здесь ничего не исключаящей. Точно Бог, который у других поэтов духа, дав им одно, взял все, тому - это все - оставил. В придачу».

По Рильке нельзя равняться. Вот что говорит Марина Цветаева. А как же ее обещание?

Свидимся — не знаю, но споемся
С мне-самой неведомой Землею —
С целым морем, Райнер, с целой мною!

Прошло шесть лет. Недаром прошло. Марина Ивановна шла навстречу Рильке в глубь, в высь, в тишь собственной души. И почувствовала, что дойти не может. И через шесть лет как бы говорит: ты несоизмерим с нами, Райнер. Я не знаю, как это у тебя все получается. Я так не могу. Ты - не путь. Я хочу разобраться в путях искусства. Искусства как такового. Не твоего - моего. Борисова. Всякого. Ты - больше, чем искусство. Искусство - это мы. И потому сейчас не о тебе речь.

Ты как-то совершенно совмещал искусство с совестью, с самой глубиной совести. У нас иначе: у нас «Искусство – атрофия совести». Или - или. И потому искусство и совесть находятся и должны находиться в состоянии борьбы. А раз это так, то Гоголь прекрасно делал, что сжигал свои рукописи. О, «эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого. Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем, и которого не перевесит ни одно «душевное движение».

И, уверенная, что вторая часть «Мертвых душ» могла бы быть нашей радостью, она говорит далее, что «наша та бы радость им - ничто перед нашей радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые сжег».

То есть ошибался Гоголь или нет (соблазнили бы мы или нет), он совершил героическое деяние - подвиг, который сам по себе выше творчества. Не Гоголь «сумасшедший», утверждает Цветаева, а мы «недошедшие». Не дошли до его подвига.

Оставив в стороне вопрос, кто сумасшедший, кто недошедший, скажу, что есть области, в которых самые героические подвиги - нуль и даже более того - величины отрицательные, сила темная и страшная. Марина Цветаева сама ведь говорила примерно так о «подвигах» Толстого, когда душа его «не дышала, а хрипела». И как ни преклоняется она перед Гоголем, душа ее идти его путем не может.

Ум ее часто спрямлял ходы, логика оказывалась прямолинейной, но душа, пригвожденная собственным умом к позорному столбу, выдерживала весь позор, но стояла на своем. Не могу так - и все.

«Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник человечески-важнее, все остальные общественно-важнее. За исключением дармоедов во всех их разновидностях, - все важнее нас. И, зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее. Посему мне прощения нет. Только с таких как я на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова - на нем я чиста».

«Зная большее - творю меньшее» - так оценил ум. Но душа без этого «меньшего» жить не может, а потому готова за него отвечать. Как? Всей собой. Предстать на Страшный Суд совести. Лицом к лицу с Судией. И не только готова предстать. Она ждет этого суда, этого

грозного Судию, потому что ей самой с собой не справиться. Она просит от Судьи помощи. Ей надо помочь оборотью саму себя. Ей нужна помощь в борьбе со стихиями. Но никто не гарантирует, что оборотая, побежденная стихия не сотрясет снова и снова гору совести. Цветаева не может жить без стихии так же, как и без совести. Оба «без» невозможны. Для того, чтобы жить всей душой - полной, не расколотой - нужно, чтобы искусство и совесть не противоречили друг другу. Но неужели они на самом деле несовместимы? Может быть, просто не совпадают сегодня, как две реки, текущие в одно и то же море, - чтобы встретиться в нем завтра?

Надо ли преграждать плотиной течение реки, поворачивать ее в другую сторону? Может быть, нужно совсем другое - провидеть море, сегодня невидимое, где реки сольются? И если искусство на сегодня еще не святое, отсюда вовсе не следует, что оно прямо бесовское, проклятое, что с ним надо бороться, обарывать в себе поэта Пушкин прекрасно видел, что поэзия и нравственность не совпадают но отсюда вовсе не следовало, что поэзия безнравственна. Это просто «совсем иное дело»⁶⁸. Нравственность - то, что мы должны людям. Поэзия - то, что мы должны своей душе. А душа наша - это, может быть, то, что мы должны отдать Богу...

Люди не вправе посягать на то, что нужно нашей душе. А душа не вправе присваивать себе то, что надо отдать Богу. Бог же открыт и отдан каждому. Поэтому недоданное людям вернется к ним через Бога, вернется не прямым, очевидным путем, а неисповедимым.

Истинное искусство и есть отыскивание этих неисповедимых путей во внутреннем мире, ведущих к жизненным источникам. Разум этих путей не знает. И он должен молчать. Терпеливо молчать. Здесь ему делать нечего. И душе надо только прислушиваться к тому, что делается в ней - внутри. Надо дотерпеть, пока ответ вызреет изнутри.

Вправе ли садовник срубить дерево за то, что плоды еще не созрели?

Пушкин доверял дереву, Поэзии, доверял красоте и не требовал от нее немедленного добра. Красота могла быть нравственно безразлична. Она только не должна была быть прямо безнравственной - злодейской. Вот в совмещение красоты и злодейства он просто не верил: злодейство было для него безобразно. Гений и злодейство не совмещались, как красота и безобразие.

Пока в человеке, как в явлении природы, как и в искусстве, была красота, он в этого человека или в это произведение искусства - верил. И, вероятно, глубоко осудил бы Гоголя за его неверие в свои «Мертвые души».

Верить - значит видеть еще не явленное, сущее внутри, верить - значит участвовать во внутреннем процессе, значит помогать росту. Душа как бы дает благословение невидимому - расти, будь...

Однако, есть какая-то граница, какая-то черта, которая не должна быть перейдена. За ней - кончается благословение. Здесь - остановка.

Пушкин поразительно знал эту черту. Страсти, стихии, стаи бесов могут разыгрываться на страницах его книг, как угодно, но... не переходить этой черты.

Злодеяние Бориса (убившего Димитрия) было последней каплей, переполнившей чашу (наполненную до краев Иваном Грозным)! Вырвались из преисподней бесовские полчища. Началось Смутное время - все перемутилось в домах, на улицах, в умах. Одна смута влечет за собой другую, другая - третью. Казалось, этому конца не будет. Если Борис зарезал Димитрия, то почему нельзя зарезать его собственных детей?

Но оказывается - нельзя. Народ безмолвствует. Логика не действует. Иллюзия

вседозволенности кончилась.

Пушкин доводил стихию до черты безмолвия, до черты самоиссякания. Пушкин подводил языческое мироощущение к своему краю. Дальше — пропасть. И человек отшатывается от нее.

Нет, песня вовсе не была просто громоотводом для пушкинских страстей. Тут было что-то иное. Больше. Песня Пушкина была местом, где душа его росла. И всему, в чем душа растет, Пушкин доверял. Он доверял природе, стихии, красоте. Он это все любил. Любил свободную стихию. Море! Любил любовь и «благоговел богомольно перед святыней красоты». Красота эта могла быть не добра и не зла, как гора или море, - но она питала душу. А душа его - зреющий плод, который, созрев, будет поднесен Богу. Полная зрелость души - это единство Красоты, Добра, Истины.

Ничего этого Пушкин нигде ясными словами не выразил. Но вера в это сквозит во всем его наследии. Внутренней пружиной Пушкина была вера и интуиция, которая подсказывала, где остановиться, где внешняя жизнь отрывается от внутренней реальности. Казалось, еще шаг - и можно сорваться со стержня. Но этот последний шаг в последнюю минуту не сделан. И в этом - знаменитое пушкинское чувство меры.

Безграничное доверие внутреннее к живому и точное чувство того мига, когда живое перестает быть живым...

Огромная, ничем не сдерживаемая, радостная любовь к свободной стихии уживалась с ясным чувством границы.

Стихия - не высшая реальность, и она не безгранична.

Она только образ безграничности внутренней - образ и подобие безграничности Духа.

Безграничная стихия - метафора высшей реальности, а не сама эта реальность.

Над стихией есть нечто Высшее. Как образ Его, стихия прекрасна Но как необузданность страстей она безобразна и безобразна Не подчиняющаяся Духу, существу внутри нее, вырвавшаяся из его воли противостоящая Созидателю стихия - это взрыв и гибель. Это разгул демонов, укравших энергию безграничного духа.

Стихия есть материя - материал Творца. И радость Пушкина при виде свободной стихии моря, радость Пастернака, захлебывающегося в дожде, в ветре, подобна радости зодчего при виде глыбы каррарского мрамора; писателя, полного замыслов над чистым белым листом. - Простор для Духа! - Ликованье!

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

(«Медный Всадник»)

На этих просторах, из этих просторов Петр создаст город. Пушкин - поэму. Оба меряются силами со стихией. Кто - кого?

Петр покорила стихию. Он заковал ее в гранит. Но не преобразил. Не полностью преобразил. И время от времени закованный титан бунтует. И страдают ни в чем неповинные Параша и бедный Евгений. Он тоже бунтует. Но сил на схватку с исполином у него нет. Вспышка бунта и - гибель. Раздавлен.

Цветаева утверждает, что точно так же стихия раздавила бы и Пушкина, если бы он не был поэтом.

«От чумы (стихии) Пушкин спасся не в пир (ее над ним! То есть Вальсингама) и не в молитву (священника), а в песню.

Пушкин, как и Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте - любви), убив своего героя той смертью, которой сам возжелел умереть, вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог.

Вальсингам - Пушкин без выхода песни. Пушкин - Вальсингам с даром песни и волей к ней».

«Пока ты поэт, - пишет она далее, - тебе гибели в стихии нет, ибо все возвращает тебя в стихию стихий: слово. Пока ты - поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо не гибель, а возвращение в лоно. Гибель поэта - отрешение от стихии. Проще сразу перерезать себе жилы. Весь Вальсингам - экстерриторизация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина».

Итак, Пушкин сбросил с корабля души героя, отдал его в дань богу пучины или на съедение рыбам и поплыл дальше. Никакого преображения. Никакого душевного роста. Громоотвод.

«Слава Богу, что есть у поэта выход героя, третьего лица, его. Иначе - какая бы постыдная (и непрерывная) исповедь! Так спасена хотя бы видимость».

Только видимость? Не верю.

Состояние творчества было для Пушкина великим катарсисом великим очистительным и преображающим процессом.

Когда Аполлон требовал поэта, Пушкин творил святое дело. Он не просто извергал чуму наружу и заражал ею мир. Он давал чуме образ то есть вводил стихию в границы. То есть созидал.

Евгений раздавлен стихией (все равно какой), потому что стихия представлялась ему слепой безграничностью, над которой нет высшей силы.

А Вальсингам не был раздавлен, потому что почувствовал в себе безмерный дух, готовый сразиться с Роком.

Его гимн Чуме - не растворение в стихии и не подчинение ей. Скорее проба внутренних сил. В песне Вальсингам собирает силы для борьбы со стихией - собирает дух. Внешняя и внутренняя безмерность готовы схлестнуться. Дух готов на поединок. Поединок со смертью, поединок со страхом, поединок с отчаянием...

Если Высшее начало приходит в виде внешней силы, то сила эта находит себе «соперника под стать». Стихии есть с чем побороться. Если миром правит Рок, то человек бросает ему вызов. Человек обречен, но не сломлен внутренне. Победа над Роком невозможна; но можно погибнуть с позором, как трус, а можно - со славой, как герой. Как те «богоравные» язычники...

Так бы и погиб Вальсингам, оставив нам песню не сломленного ничем человека, если бы не засомневался. Но он засомневался: на самом ли деле миром правит Рок, или есть сила Высшая. И с этой Высшей, Высочайшей силой духу человеческому бороться не надо. Здесь не надо искать побед, здесь поражение - победа.

Если это так, то тогда страшная Чума, грозная Смерть показывает человеку его предел во внешнем, его внешнюю границу - и обращает дух внутрь... |

И человек задумывается... Безграничная стихия подведена к та нице. Она

самоисчерпалась. И затихнувший человек приблизился к самому себе... Сон кончается. Опыание кончается. Спящий за чарованный, оболыщенный человек готов пробудиться. Наша юность проходит. Наши силы проходят. И наша физическая жизнь проходит. Мы все это знаем. Но мы зачарованы молодостью, игрой жизненных сил. Пробудиться от зачарованного сна - значит увидеть границы того, что нам казалось безграничным. Однако всегда ли благодатно пробуждение? Не совершается ли во сне что-то, что только там и должно совершаться? Рост совершается во сне... И может быть, рост души тоже происходит в состоянии зачарованное. Душа должна дорасти до Пробуждения, до возможности увидеть и вынести высшую Реальность. А пока - душа грезит. И хорошо, что грезит. Не грезят только в Гаммельне. Там, где нет ни спящих, ни восхищенных. Где все - сонные.

Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей среди бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.

Спящие - те, кто идут за флейтой. Сонные - те, кто не выходят из Гаммельна. Всю жизнь Марина Цветаева противопоставляла себя «сонным» Гаммельну во всех его видах. И вдруг она поворачивается всем корпусом и восстает против тех, кого воспевала всю жизнь, против тех без кого (и без чего), кажется, и жить-то не может... Против себя же, себя самой...

Сейчас она в ужасе от того, куда заведет чара. И этот ужас эта ее тревога - высокая тревога.

Она испугалась своей безоглядности. Испугалась перехода за черту. Испугалась того, что флейта губит детей... Почувствовала с великой силой свою ответственность за малых сих...

Однако что же делать? Глубина - это место, полное опасностей Это незащищенность, открытость, в которой растет внутренняя мощь.

Зачарованность Вальсингама стихией была нужна его душе. Душа складывалась, создавалась заново в битве с Роком. Хорошо, что Вальсингам затих, но хорошо и то, что затихла сильная душа, не испугавшаяся Рока, не избежавшая духовного борения, творческой встречи с Высшим началом. Все на своем месте: и сопротивление материала, и подчинение его Руке Творца. Это и есть творчество. Его не было бы, если бы душа Вальсингама была робкой, не способной вместить безмерность. Его не было бы, если бы сопротивление Творцу затянулось бы и перешло в инерцию сопротивления. Творчество есть встреча с Духом. Чтобы родилось создание искусства, надо зачать от Духа. Какого бы то ни было.

Душа поэта отдана многим духам - множеству богов - вот что утверждает Марина Цветаева. Душа поэта может родить кого угодно, в том числе - чудовище. Так что же делать? Оставаться бесплодной? Одолевать в себе поэта? Одолевать волевым упорством тягу к полноте жизни? Не начинать, не рождать...

Бог не хочет, чтобы мы оставались бесплодными. Бог не хочет Гаммельна. Он прежде всего хочет жизни.

Мир Божий еще далек от совершенства. Он полон неведомых опасностей. Значит ли это, что не надо рожать детей? И даже если бы мы наперед знали, что дети наши будут далеки

от совершенства, стали бы мы их рожать или нет? Написал бы Гёте Вертера, если бы он знал о волне самоубийств, которую эта книга вызовет?

Тысячу раз написал бы, отвечает Марина Ивановна, даже если бы знал, ибо не написать не мог. Но не мог - поэт, с него и спроса нет. Поэт не отвечает. А Гёте - человек? Отвечает.

Он, по мнению Цветаевой, должен был бороться с поэтом в себе и одолеть его.

Но если Гёте как человек отвечает за Вертера, то должен отвечать и Бог как Творец природы за все ее несовершенства и за всех ее тигров и скорпионов. Однако Цветаева призывает к ответственности Гёте и не призывает Творца природы. Почему? Или у природы нет Творца? И природа - слепая, глухая - не ответственна, а вот человек...

Человек отвечает за все?

Это звучит гордо. Но не слишком ли гордо? Не есть ли это арели- гиозное восприятие человека? При такой постановке вопроса с человека спрашивается то, что явно превосходит его возможности, - и не спрашивается то, что он действительно может, что он должен. Человек может и должен не противиться Богу, доверять Богу и дать Ему делать то, что Он хочет.

Марина Цветаева, начавшая статью с утверждения, что пишет для тех, для кого слова Бог - грех - святость существуют, продолжает ее так, будто кроме сегодняшнего состояния человеческого разума и воли ничего не существует.

Но может быть, все-таки есть высший божественный разум и воля, которые растут и зреют внутри природы, внутри высшего из природных существ - человека? И наша задача в том, чтобы растить в себе это божественное начало и не торопиться отвечать на наши вопросы, а ждать, пока оно само ответит? То есть не делать ничего от себя, а дать высшему действовать через нас... Как в художественном творчестве, где нельзя говорить ничего от себя, а надо дать сказаться через себя. Как об этом пишет сама Марина Цветаева в «Искусстве при свете совести»:

«Робость художника перед вещью. Он забывает, что пишет не он...»

«Кто своими двумя руками когда-нибудь вообще что-то мог? »

Дать уху слышать, руке бежать (а когда не бежит - стоять).

Недаром каждый из нас при окончании: «Как это у меня чудно вышло!» И никогда: «Как это я чудно сделал». Не «чудно вышло», а чудом - вышло, всегда чудом вышло, всегда благодать, даже если ее посылает не Бог.

- А доля воли во всем какая? О, огромная. Хотя бы не отчаяться, когда ждешь у моря погоды.

На сто строк десять - данных, девяносто - заданных: не- дававшихся, сдавшихся, как крепость, - сдавшихся, когда я добилась, то есть дослушалась. Моя воля и есть слух, не устать слушать, пока не услышишь, и не заносить ничего, чего не услышал. Не черного (в тщетных поисках исчерканного) листа, не белого листа бояться, а своего листа: самовольного.

Творческая воля есть терпение».

Марина Ивановна права: на Страшном Суде слова она чиста. Ничего не творила от себя, только от Того, Кто велел. Его волю исполняла.

А на Страшном Суде совести она должна отвечать. Но не за то, что не превозмогла в себе поэта. Не за то, что не сожгла своих рукописей. А за то, что не так жила, за то, что в жизни часто не боялась своего листа, не боялась самовольного поступка.

Воля души, воля жизни во всем подобна творческой воле. Воля души, то усилие, которым «царствие берется», есть терпение. Марина Цветаева обладала абсолютным слухом по отношению к богу вдохновения, но не к Творцу этого мира. Творцу своей души. Она очень часто делала то, что сама хотела, а не то, что Он велел. Именно как человек, а не как поэт, действовала самовольно. И в глубокий час Души - знала это. В этот глубокий час Души в ней была воля к преображению. Такая же творческая воля, как и воля к поэме. Воля к преображению - прежде всего то же терпение: Да будет воля Твоя, а не моя... Совершенно святое искусство есть искусство святых. Терпеливых до подвига. Но это вовсе не значит, что пока люди не святые, не должно быть искусства. Искусство растет вместе с Душой. Более того, искусство может быть путем души и даже - по словам китайского поэта - путем к святости. И часто от него невозможно, а потому и грешно требовать сразу всей святости, как от ребенка нельзя требовать силы и ответственности взрослого.

Все на своем месте. От искусства можно требовать только, чтобы оно не уводило в сторону от путей души, чтобы оно шло с душой одним путем.

В этом смысле искусство есть собирание души, возвращение вовнутрь себя, к «волнам внутренней правоты» (О. Мандельштам). Отсюда пастернаковское «книга есть кубический кусок дымящейся совести».

Пастернак, как и Пушкин, искусству доверял, и оно его в сторону от собственной души не слишком уводило (впрочем, на старости лет он пересмотрел свое раннее и сильно сдвинулся от стихии к совести, иногда углубляя, а иногда и спрямляя пути; но разбор этого выходит за рамки нашего разговора.)

Марину Цветаеву искусство подчас сильно уводило в сторону от собственной души, сбивало душу с пути. Но что это значит?

У человека есть высшая духовная задача - у всякого человека, вне зависимости от того, поэт он или не поэт. Это задача духовного роста, воссоединения с самим собой и с миром. Все, что помогает выполнению этой задачи, - от Бога. Все, что мешает, отвлекает, - от демонов. Художественное творчество может бесконечно помогать, а может и мешать душе выполнить свою задачу.

Все дело здесь в иерархии задач. Задаче творческой принадлежит не первое, а второе место в этой иерархии.

Ибо прежде всего умение слушать, умение различать духов, а затем уже умение говорить, творить, то есть воплощать услышанное.

Мы отвечаем за того, кого мы слушаем. И человек, слушающий демонов, всегда виноват - вне зависимости от того, поэт он или не поэт. Человек виноват в том, что не различил высший голос, а прислушался к низшему. Мидас отвечает за то, что предпочел Пана Аполлону. Бог не меньший, а больший поэт, чем все девять муз. И душа, которая этого не замечает, - заслушивается петуха и пропускает мимо ушей соловьиное пение.

Что такое демонический соблазн? Это соблазн поставить что бы то ни было на первое место, а душу (глубину души) - на второе. Любить что-либо больше, чем душу, - как в

народной разбойничьей песне:

Много за душу твою одинокую,
Много я душ загублю.
Я ль виноват, что тебя, черноокою,
Больше, чем душу, люблю?

Можно больше, чем душу, любить девицу, а можно - поэму. И вот когда поэму любят больше, чем душу, искусство превращается в то самое чистилище, из которого никто не хочет в рай. Не хочет к чистому свету, не хочет к точке соединения красоты и добра. Так, в разорванности, легче. На цельность нужен духовный труд всего человека, а не только творца поэмы.

И обарывать поэта не надо. Не это надо; Пушкин в себе поэта не обарывал. С поэтом - не боролся.

Пушкин, создавая Вальсингама, шел путем души.

Упоение в бою, упоение у бездны мрачной на краю - может быть не столько своеволием, сколько дерзновением, угодным Богу; если оно не перейдет в инерцию! Тогда - чувство пьяного: море по колено! И конец духовного труда.

Вот это опьянение, остановка души, конец духовного труда - уловка дьявола!

Не искусство грешно. Грешно опьянение в искусстве, кружение души вместо продвижения - внутрь и ввысь!

Пушкин, если и опьянялся, то на миг, - за которым было трезвение и новый духовный труд. Упоение в инерцию у него не переходило. А у Марины Цветаевой это случалось.

Когда в конце поэмы Маруся улетает в законное зарево, Цветаева стихии не одолела, к черте самоисчерпания не подвела, образа ей не дала.

Она в стихии потонула. Слилась с нею. И за это чувствует себя ответственной. При свете совести - за это - отвечает:

«Когда я пишу своего Молодца - любовь упыря к девушке и девушки к упырю - я никакому Богу не служу: знаю, какому богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу, кроме ветра (либо чура, пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны. Нужно различать, какие силы *im Spiel* (в игре). Когда же мы наконец перестанем принимать силу за правду и чару за святость!»

Молодец - разлив стихии без черты и границы. Но стихия - не вся сущность Марины Цветаевой. «За Пугачева не умру - значит не мое». У Цветаевой тоже есть своя черта, своя глубокая (глубочайшая) задумчивость. Только она вынесена за пределы поэмы. Она - в других ее вещах. И огромная черная черта через все творчество - «Искусство при свете совести». Вот где она призывает Марусю задуматься. Окликает спящую. Заклинает. Если в двадцать шестом году она писала Пастернаку: «Маруся - это я», то теперь, в тридцать втором, твердо говорит - всей своей статьей: я - не Маруся, во всяком случае, не вся я - Маруся. Я не хочу лететь вечно вниз головой. Я ответственна за этот полет. Но я не могу остановиться. Кто мне может помочь?!

Ни Толстой, ни Гоголь для нее не пример. Как они, - она идти отказывается. Как Рильке, - не умеет. Сил духовных не хватает. А как Пушкин?

Пушкин ей кажется таким же стихийным, как она сама. Но есть в статье такое место:

«Гений Пушкина в том, что он противовеса Вальсингамову гимну, противоядия Чуме - молитвы - не дал. Тогда бы вещь оказалась в состоянии равновесия, как мы - удовлетворенности, от чего добра бы не прибывало, ибо утолив нашу тоску по противугимну, Пушкин бы ее не угасил. Так, с только-гимном Чуме, Бог, добро, молитва остаются - вне, как место не только нашей устремленности, но и отбрасываемости: то место куда отбрасывает нас Чума. Не данная Пушкиным молитва здесь как неминуемость (Священник в Пире говорит по долгу службы и мы не только ничего не чувствуем, но и не слушаем, зная заранее, что он скажет)».

Вот и ответ на все самообвинения... Вот и возможность не опускать глаз перед священником.

Тоска по противугимну. Великий призыв создать Гимн Богу, противугимн всей Чуме. Вот она - высшая задача художника. Художника или человека?

Пушкин противугимна не дал, потому что как художник солгал бы, дав его.

Для того, чтобы художник мог написать противугимн Чуме человек должен был зачать от Духа Святого. Более того - Дух Святой должен был стать единственным возлюбленным, которым зачаровывается и от которого зачинает душа. Только душа, на которую никакие чары, кроме дуновения Духа Святого, не действуют, могла бы создать противугимн.

Чтобы написать противугимн Чуме, надо было преобразиться. Надо было, чтобы сердце действительно и навсегда превратилось в уголь, пылающий огнем, - белым огнем любви к Богу.

Чтобы ответить всей мировой Чуме, пушкинских душевных и духовных сил - мало. Гений Пушкина в том, что он это знал И это знание было внутренней незримой чертой. Он не мог дать ответа Чуме, ответ на Чуму. И он оставил вопрос открытым. Открытый вопрос и предчувствие, что он не может решиться в отрицательную сторону. Достоевский устами Зосимы только выговорит вслух эти предсказанные Пушкиным слова.

Творящий Дух ответит Чуме, ибо есть красота и есть Гений, а гений и злодейство - две вещи несовместимые.

А Бонаротти? Иль это сказка... и не был Убийцею создатель Ватикана?

Опять открытый вопрос, оставленный читателю. Но похоже что сам Пушкин ответ знает. Истинный гений - Моцарт - не сомневается. Сомневается только сомнительный гений. Истинный гений знает, что истоки гениальности - божественны и оторвавшийся от божественного источника потеряет свой дар.

Но пока еще - не потерял. Пока еще, на сегодня, гений и злодейство совмещаются. А искусство и совесть не совмещаются. Может быть, все дело в том, чтобы видеть дальше сегодняшнего дня, видеть сквозь сегодня?

Ведь время еще течет — не остановилось. Древо Духа растет. Плоды его созреют в вечности, когда время остановится. И Пушкин провидит в незрелом плоде - зрелый. Он видит внутренним зрением, что красота, добро и истина - на одном корню. Значит, должен прийти тот, кто ответит всей мировой Чуме, тот неподвластный стихии зла, способный укротить эту стихию. Тот, кто всей тьме противопоставит — Свет, собранный внутри. Пушкин еще не может воплотить его, ибо он сам только предтеча. Но он его провидит.

Вот в чем пророчество Пушкина. Он оставил великую тоску по такому гению. Нельзя тосковать по тому, чего не знаешь хотя бы краем души, нельзя тосковать по чуждому и ненужному. Пушкин тосковал по своей еще далекой Душе. Пушкин глядел вдаль и видел там новый космос.

И эту тоску и этот взгляд вдаль он завещал нам. Не самоудовлетворенность. И не безнадежность. Надежду славы и добра. Светлую даль белой ночи.

И Толстой и Достоевский по-своему вглядывались в эти, открытые Пушкиным, дали, по-своему вслушивались в его (свою) тоску по противугимну Чуме.

Толстой, поняв, что он противугимна создать не может, начал свой поход против искусства - против себя же. И это было похоже на подвиг отца Сергия, отрубившего себе палец, чтобы не поддаваться соблазну («Отец Сергий» Л.Н. Толстого).

Достоевский поступил иначе: он не стал сражаться с искусством. Он понял, что оно ни при чем. Что зло не в нем, а в душе художника. И пока эту душу тянет к стихийным духам, пока она соблазняется, зачаровывается ими, а не Духом Святым, или - зачаровывается то тем, то другим - не только Духом Святым - до тех пор зло так или иначе будет проникать в мир и торжествовать в нем.

Пока отец Сергий подвержен чувственным соблазнам, какой он святой? Святой — тот, кому ничего и никого кроме Бога не нужно. Демон над ним никакой власти не имеет. Истинный герой Достоевского - это именно тот человек, с которым демонам делать нечего. Это прежде всего - князь Мышкин. Чистый свет, над которым зло не властно. Его можно погубить физически. Но соблазнить? Нет.

Душа его восполнена. Свет собран внутри. Выходить изнутри за чужим светом - не надо. Чистый сосуд, который подставлен Единому Свету. «Как это можно видеть дерево и не быть счастливым?»

Внутреннее восполнение... то самое, которое завещал Марине Рильке. Никакие сражения, подвиги, отрубания пальцев или разрубание себя на части - не помогут. «Каждый восполниться должен сам». И только такая восполненная личность и будет противостоять злу. А если эта личность — поэт, то он и напишет противугимн.

Бог может. Но ответь мне, как же нам
Идти за Ним? Неполнозвучна лира.
В разброде чувств, в раздробленности утра
Не служат Фебу и не строят храм.

Напев твой - не призыв к чему-нибудь
Конечному. Он есть сама дорога.
Он — бытие. Легчайшее для Бога.
Но мы? Когда и где мы суть

Центр притяженья мира, ось планеты?
В любви? О нет! Пусть боль, тоска, желанье
Теснят тебя, пускай они воспеты

В бесчисленных песнях, - позабуди о них!
Песнь истинная - новое дыханье.
Полет в ничто. Круженье в Боге. Вихрь.

В этом сонете Рильке, как в пружине, сжата, собрана и целиком подчинена Духу вся стихийная сила. Дух взял весь мировой огонь внутрь себя. Вся эта сила стала его Силой - Силой Духа. Дух, подобный вихрю, - всемогущий Дух, созидающий все новое!

Что такое для него стихийные страсти, эти порывы, разрывающие душу на части?! - Ничто. Любовь?! Только та любовь достойна этого имени, которая становится центром мирового притяжения, держит мир, дарит миру жизнь. Новая душа - «песнь истинная» - «новое дыханье». - Вот он - противугимн.

Рильке его создал. А Цветаева? Стала ли сила стихии силой ее Духа?

И что такое ее постоянное обращение к стихии, ее притягивание-отталкивание, ее тяготение любви или вражды, но всегда тяготение, всегда неразрывная связь? Что это такое, как не кружение души вокруг неотступной своей задачи?..

Стихия, вулканическая душевная страсть, законное зарево, не знающее границ, полет бесконечный и безначальный, вал моря или вал толпы (то, что Блок называл музыкой революции, это грандиозное, почти мистическое «мы»...) - вот то, от чего Цветаева не может оторваться, вне зависимости от того, любит она это или ненавидит.

Она чувствует, что это и величественно и ужасно. Как материал - величественно. Как воплощение - ужасно. Как воплощение, как форма жизни, - это ужас, ибо это утверждение права на существование бесформенности, безобразия, в конечном счете - безликости и безличности, а они, может быть, более всего враждебны Марине Ивановне. Она - великая личность, и она любит личностное начало. Уже поэтому она не может ужиться со стихией: стихия безлична. Безличная жестокость, безличное зло, с которым у нее «тяготение вражды» (из письма к Тесковой). Но - какой силы тяготение!

Стихия в нее стучится. Стихии именно от нее чего-то нужно. Как ни от кого другого. Чего же?

Лица.

Она сможет полюбить море только тогда, когда взглянет в него, как в зеркало. Взглянет и — не отшатнется. Ибо в зеркале этом изобразится не хаос, а космос. Когда Безмерность обретет внутреннюю Мету, высшую меру, — станет Лицом мира.

Когда в любви изобразится лик Божий, а не «кошачья зевота тигра» (из письма к Бахраху), она полюбит Любовь.

Стихия ставит перед ней задачу. И задача эта решается не искусством и не в искусстве, а прежде всего - в жизни. «Моя специальность — жизнь», - говорила Марина Цветаева — и знала, что говорила.

В одном из лучших стихотворений, посвященных ей, есть горячая просьба научить поэта — не ее великому искусству, а ее — душе, ее — памяти:

Не речи, - нет, я не хочу
Таких сокровищ - клятв и плачей, -
Пера я не переучу
И горла не переиначу.

.....
Не дерзости твоих страстей
И не тому, что все едино,
А только памяти твоей

Из гроба научи, Марина!
Как я боюсь тебя забыть
И променять в одно мгновение
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм —
и в твоём стихотворении
Тебя опять похоронить.

(А. А. Тарковский. «Через двадцать два года»)

Да, удвоение, утроение рифм не должно стать самоцелью, уводящей от главного. А главное - духовный путь, внутреннее восполнение, дорастание до своего великого «Я», которому не страшны никакие соблазны и которое в себе самом, внутри черпает все живительные силы; идти туда, в полноту бытия, по этому «одиноким прочерченному пути через бессонный простор».

Да, туда ведет одиночество, которого она так просит, тишина, которую она так любит. Но выдержит ли она это? Тот сад, который она молит у Бога:

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет...

(«Сад»)

Что, если бы она действительно оказалась в таком саду, - это было бы наградой или наказанием?

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

.....

Скажи: — довольно муки — на
Сад - одинокий, как сама.
(но около и Сам не стань!)
Сад, одинокий, как я сам.

Давно уже эта «собутельница душ» хотела, «трезвость избрав», кончить жизнь в «тишайшем из братств» — среди деревьев. Но... Не заскучала бы она там, когда уже совсем не с кем спорить, не от чего отталкиваться; там, где совсем смыкается тишина? Как на море. «Что мне с ним делать? Глядеть? Мне этого мало» (из письма к Тесковой).

Но что нам делать с розовой зарей
Под холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?..

(Н.С. Гумилев. «Шестое чувство»)

Вот туг-то, где совершенно нечего делать нам, где, может быть, все пять чувств бездействуют, - тут-то и рождается «орган для шестого чувства».

То самое великое надеяние, в котором действуем не мы. Мы - затихший простор для нашего Создателя. Он творит в нас. Творит нас заново.

Более всего на свете Марина любит Его. Но дожидаться - не хватает терпения. Ей надо действовать, самой действовать... Все тот же самовольный лист. И море, и любовь требуют от нее слишком уж большой пассивности. «Море либо устрашает, либо разнеживает. Море слишком похоже на любовь. Не люблю любви (сидеть и ждать, что она со мной сделает). Люблю дружбу, гору».

В дружбе она активна. Она - личность. В любви - совершенно пассивна. Кто она? - Никто. - Материал. И она настолько не хочет, боится быть материалом в руках чуждой силы, что сопротивляется родной, внутреннейшей - Богу.

Инерция сопротивления, инерция борьбы! Когда бороться не с кем, она скучает. «Но... - Без любви мне все-таки на свете не жить, а кругом все такие убожества...»⁷²

С людьми скучно, но ведь и с самой собой, в полном одиночестве, только внутри - она не может... Не скучно лишь, если с нею - бог вдохновения, письменный стол и - «для тишины четыре стены». А если без стен? За стенами? Дальше стен?

А дальше — гладь
Такая ровная!

.....

А дальше — тишь
Такая!

(«Весть»)

Вот в этой тиши и ждут того, имя которого забыл ангел благовещенья, Там - священное место, где зачинают от Духа Святого:

Цельному небу нужно все море.
Цельному сердцу нужен весь Бог.
(«В глубокий час души и ночи...»)

Бог был нужен Марине Цветаевой. Необходим.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
На ней еще не подвели.

(Б. Пастернак. «Памяти Марины Цветаевой»)

Да, эта повернутость к Богу, эта открытость Ему, жажда Высшего, Высочайшего - была главным в Марине Цветаевой. Она была разверстой душой, жаждавшей Бога. Она была самой жадной, никогда не утолимой.

Земля утолима в нас.
Бес-смертное — нет.

Неутолимое, вечное святое недовольство собой. Она не была безгрешной. Нет, не была. И снисхождения не просила. Но огонь, сжигавший грех, никогда не угасал в ней.

11 ноября 1985 - 24 июня 1986

О СЛОЖНОСТИ И ПРОСТОТЕ

Я с интересом прочитала инаугурационную лекцию Ольги Седаковой «О смысле поэтическом и смысле доктринальном»; лекцию, в название которой вынесена строка Николая Заболоцкого: «В целомудренной бездне стиха». Позднее приводится и предыдущая строка. Вместе это звучит так:

Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.

Вот о «сердце поэта» мне и хочется поговорить сейчас. По мнению Седаковой, у сердца этого есть свои строгие законы, «почему и при всем своем желании - он (поэт. - З. М.) не может писать так же "просто", то есть знакомо, как его предшественники, которых уже привыкли принимать»

«Среди других причин... это довольно жестокое требование (когда оно становится едва ли не единственным) загоняет художника во все более и более узкий диапазон возможностей. Все больший и больший круг вещей, чувств, форм становятся запрещенными в так называемом "свободном искусстве". Поэту наших дней в этом отношении много трудней, чем Гёте или Лермонтову». Все это весьма стройно и логично, как и дальнейшие рассуждения о том, что все «готовые, чужие смыслы, установки, предпосылки могут только помешать этому событию совершенно нового познания».

Кто же с этим может спорить? Разумеется, готовые установки и чужие смыслы к истинной поэзии вообще не имеют отношения. Но при чем тут Лермонтов и Гёте? Почему им было легче?

Разве до Гёте и Лермонтова никто не писал о любви? Разве не предшествовал им царь Соломон со своей «Песней Песней», и Сафью, и Катулл, и доаравская поэзия узритов, и поэзия суфиев, трубадуров, миннезингеров? Если бы Гёте стал вспоминать их всех и старался не повторяться, то написал бы он песенку Клерхён, создал бы образ Гретхен? В переводе «Фауста» Пастернак натолкнулся на абсолютно точно переданную Холодковским (предшествующим ему переводчиком) строчку: «В твоём ничто я мыслю все найти» (In deinem Nichts ich glaube Alles finden). И вдруг потянуло сказать это по-новому, по-своему. Получилось вот что:

В твоём ничто надеюсь я, однако,
И всё найти посредством тех же чар.

Запутанно, сложно, неуклюже. И - не то, что у Гёте.

Сказалась привычка молодости к изысканно сложным конструкциям. Я уверена, что свою «Магдалину» и «В больнице» Пастернак писал, не оглядываясь на своих предшественников. Строка, вырвавшаяся из сердца, «свежа, как первая весна. Была ль другая перед нею, о том не ведает она» (Тютчев).

Сердце поэта так же открывает мир заново, как сердце ребенка. И только это прекрасно. Для ребенка нет запрещенных вещей, чувств, форм (которые, по мнению Седаковой, есть для поэта после Хлебникова). Тысячу раз открытый цветок он открывает заново. И только это является чудом. Новизна подлинная не столько в изобретении новой формы, сколько в открытии заново того, что вечно существует рядом, внутри. Чудо в неисчерпаемости жизни, в неисчерпаемости любви, которая делает все формы наполненными Ею живыми. Каждому, кто открывает мир заново, одинаково трудно; и каждому, кто берет «чужие смыслы и установки», одинаково легко. Закон для сердца поэта - быть всегда живым, «живым и только», а значит - бездонным, а значит - неисчерпаемым. Он вправе не знать о существовании Велимира Хлебникова. Кроме обязанности быть живым, у него есть обязанность владеть в совершенстве языком, на котором он пишет. Есть обязанность ничего не повторять, а все рождать заново. И будет ли он делать это так усложненно, как Хлебников, или так просто, как современница Хлебникова Ахматова, - дело его вдохновения. Непривычные уху строки Мандельштама: «В сухой реке пустой челнок плывет,/ Среди кузнечиков беспамятуется слово», - так же волнует меня, как простейшие пушкинские: «Я вас любил так искренно, так нежно,/ Как дай вам Бог любимой быть другим».

Суть - в точно переданной подлинности чувства. В массе современных стихов меня одинаково не устраивает и их обдуманная традиционность и их обдуманное новаторство. Повторяю - новизна есть новое открытие вечного. Продвижение с поверхности в глубину всегда ново. Открытие вечных пластов собственной глубины, пожалуй, важнее, чем открытие Америки.

На этом пути можно наткнуться на несказуемое - на то, что словом передать вообще нельзя. Вот тут-то слово должно быть особенно целомудренным. Оно как бы кружится вокруг невыразимого смысла, всё приближаясь к нему, как Рильке вокруг Бога, о котором сказать впрямую невозможно. Да, он кружится вокруг Бога, как вокруг предвечной башни, и не знает, кто он — «сокол, буря или великая песнь».

Это кружение слова, хорошо знающего, что прямолинейных путей нет, создает великую музыку, которая одна только и может сказать о невыразимом. Когда поэт понимает, что цель его не в нахождении новых форм, во что бы то ни стало непривычных, а в достижении новых уровней глубины, то формы придут сами собой. Придут, когда их перестанут искать. Они складываются, как кубики Кая, в слово «ВЕЧНОСТЬ».

Да, когда ВЕЧНОСТЬ открылась в размороженной душе, задача решилась само собой. Изнутри, а не снаружи. Никаких оглядок на то, как ее решали другие.

А теперь о «смерти поэзии». Я совершенно согласна с Ольгой Седаковой: настоящая поэзия, как и настоящее богословие, не могут и не должны умереть после Освенцима. Но Освенцим, как и Колыма с Воркутой, предъявляют к поэзии, как и к богословию, новые требования.

Какие же? Поэзия и теология должны выдержать взгляд смерти. Переглядеть ее.

Истинная поэзия, самая могучая поэзия на свете, - это творчество мироздания. «Бог — поэт наивысший», - сказал Тагор. Вот этот поэт наивысший и ответил на страдание Иова

так, что страдание Иова перед Ним смолкло. Он открыл страдальцу нечто, что невозможно не любить; перед чем невозможно не преклониться; что имеет высокий смысл даже тогда, когда жизнь кончается. Открыть то, что больше страдания и смерти. Есть в эпопее В. Гроссмана «Жизнь и судьба» Иов XX века, человек по фамилии Иконников, который перестал верить в Бога после голодомора на Украине и Освенцима. В душе его стало пусто и холодно. (Мы с мужем очень часто вспоминаем этого человека в своих лекциях, но не могу и сейчас не обратиться к нему). Так вот - нет Бога, нигде Его нет, если есть такие страдания. И вдруг... крестьянская изба, из которой только что увели хозяина, скорее всего на расстрел. А в избе рядом с убитой горем хозяйкой - постояльцы, молодые немецкие солдаты, гогочущие жеребцы, чистят свои автоматы. Как ненавидит она их, как желает им смерти!.. Но вот один из них случайно выстрелил себе в живот. Из ненавистного животного он превратился в страдающее живое существо. И хозяйка бросилась помогать ему. Нипочему. Потому что для нее всякая боль - своя боль. Эта опрокидывающая все нормы «дурацкая доброта», как назвал ее Гроссман, перевернула сердце его героя. Если есть такая доброта, такая красота души, то есть кого любить на свете. Душа не может быть пустой и холодной рядом с такой добротой и красотой внутренней. И душа его наполнилась Богом. Религиозность его приобрела живую форму. Бога во-вне, Бога - повелителя внешнего нет. Но есть Бог внутри нас и Его-то нам и надо искать. Докопаться до такой глубины души, в которой каждая боль - своя боль и всякая красота через любовь к ней становится своей красотой. Произошло великое таинство встречи с Богом. У Иконникова - так. У библейского Иова иначе. Но так или иначе была встреча с живым Богом - с Тем, перед которым нельзя не преклониться, которого невозможно не любить. Невозможно и всё. И это живое явление пересекло все словесные потоки защитников Бога. Бог был не с ними. А с тем, кто их отверг. Да, не Бога отверг Иов, а все самоуверенное богословие, не встречавшее живого Бога. Много ли слов сказал Бог Иову? Нет. Речь Его была бесконечно проста. Она ничего не доказывала. Она показывала. А это всегда просто. Однако простота здесь особая - неслыханная. Вот о ней-то и сказал Пастернак:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой:
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя к концу не впасть, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Почему? Почему сложное понятней им? Потому что оно состоит из частей, которые меньше нас, которые мы можем измерить. Простоту, противостоящую сложности, не нужно путать с упрощением деталей. Простота в нашем контексте - это цельность Единого. Это Целое, не охваченное нами, но вместившее нас в себя. Это понятие не

количественное, а качественное. И дело поэта - изменение качества души. Приятие в себя дыхания Целого. Это и есть вдохновение. Твоя душа перестает быть закрытой камеркой. Окна и двери открыты. В комнату вошел Простор. «Дуновение вдохновения». Но изменение качества души - преображение. Мне возразят, - это дело святого, а не поэта. Рильке, не переживший Освенцима, но предчувствовавший возможность подобного, ставил знак равенства между художником и святым, хорошо понимая, что настоящему художнику некуда уклониться от требованья Бога - преобразиться. Хотя ответ на эти требования должен прийти не от усилий ума, а изнутри самого творчества. Преображение и есть высшее художественное творчество. Подобное утверждение для большинства поэтов и мыслителей кажется весьма спорным. Вспомним, что Цветаева относилась Рильке к исключениям из правил.

Но вот что говорит Седакова о поэзии: «Голос поэзии — голос человека, находящегося в правильном отношении с чистотой, глубиной и тайной, - голос удивительной, необъяснимой уверенности. По этой уверенности мы его всегда и узнаем». Далее она цитирует очень любимые мной строки Мандельштама:

В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Однако вслед за этой цитатой - такие слова: «Этот миг правоты, чудесного забвения возможности ошибки и промаха... человек и назовет чистым счастьем».

Дар поэзии для Седаковой - дар памяти об Эдеме, где мы совершенно чисты. Но в обычном состоянии, говорит она, у нас остается только чувство вины перед природой. В поэзии мы чувствуем себя «изделием Творца», мы чистыми выходим из Его рук. Но только на миг.

Значит поэзия - только МИГ забвения своей вины, она может быть мигом счастья, но она еще не преображает человека, не переводит на язык человека язык Творца мира, который зовет нас к пред- стоянию перед Ним, к ответу...

«Грех есть потеря контакта с собственной глубиной», - говорил митрополит Антоний Сурожский. Уверенность поэзии в своей правоте, по словам Седаковой, есть следствие контакта с этой глубиной. Однако контакта мгновенного. Это МИГ забвения своего несовершенства. Но несовершенство остается. Вся природа наша остается непреображенной. Словом:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен...

Да, это сказал Пушкин. И это для поэзии пока считается законом и нормой. Но, может быть, в наше время к священной жертве требует не Аполлон (один из многих богов языческого пантеона), а Единый Творец мира? И потому Пушкину и вправду было легче быть поэтом, чем нам после Освенцима и Колымы?

Есть другая статья Ольги Седаковой- «Нет худа без добра». Статья очень смелая, глубокая, вызывающая мое сочувствие и подчас восхищение. И все-таки я хочу задать некоторые вопросы и по этой статье, а потом (и это главное) связать обе работы вместе. Внимание Ольги Александровны обращено к русской широте, которая может давать примеры изумительного великодушия, всепрощения - и в то же время «у этой лучезарной широты, способной ПОКРЫТЬ зло - в обыденной реальности жалостью, а в духовном подвиге любовью - есть своя тень, свой темный двойник, с которым мы хорошо знакомы. Это принципиальное, какое-то настойчивое неотличение зла, упорное настаивание на том, что ничего не следует относить к злу, ни за чем нельзя признать окончательный статус зла - и, соответственно, ни с чем нельзя внутренне порвать связь, ни от чего нельзя отречься, как от несомненно дурного и губительного, ничто нельзя "осудить"».

Все это она называет «отечественной традицией странного и сложного - как-то умышленно сложного отношения к злу», называет эту традицию «дружбой со злом». И в основном замечательно дает отповедь этой «дружбе». Мое возражение только одно: мысль Силуана о том, что любовь к врагам является главным критерием христианина (кто не любит врагов, в том числе врагов Церкви, - не христианин), по-моему, вовсе не является чертой русской. Есть уровень глубины, в котором национальное уже исчезает. Мистическая глубина - это то единое море Духа, где встречаются все нации, пересекаются все религиозные пути. Святой Силуан не помогает нам понять «широкую» Россию, так же как св. Франциск Ассизский - Италию, а св. Григорий Нисский - Византию. У того, что О. Седакова называет лучезарной широтой, а я духовной глубиной, тени нет.

«На глубине бытия зла нет», - сказал Августин. А глубина бытия не имеет национальности. Заповедь о любви к врагам, о том, что надо благословлять проклинающих нас и подставлять левую щеку, когда бьют по правой, дал не русский человек, да и не иудей, а Сын Человеческий - Тот, в ком нет ни эллина, ни иудея. Тот самый Человек, который оставил два взаимоисключающих высказывания: «Взявший меч от меча и погибнет» — и «не мир, но меч». Может быть, вся человеческая история после Христа есть длинная тень разделенных, отдельно взятых заповедей. И простые люди, и владыки государств равно склонны больше всего к прямолинейному пониманию - к тому упрощению, которое является не чем иным, как сведением Целого к частям, к деталям. Истинная простота есть простота Целого, в котором органично связаны все части в одно. Так вот, тени отбрасывают частности. Целое тени не отбрасывает.

Есть очень длинные тени у обоих оторванных друг от друга высказываний Христа. «Не мир, но меч» — дал страшную тень крестовых походов, инквизицию и т.п. «Взявший меч от меча и погибнет» — отбросил тень той самой дружбы со злом, о которой говорит Ольга Седакова. Примеров можно было бы привести множество. Но хочется вспомнить нехитрый рассказ митрополита Антония Сурожского.

- Вы плохой христианин, - сказал ему один прихожанин. - Да, - ответил владыка. - Но почему? - Потому что Вы не всегда исполняете заповедь о непротивлении злу насилем,- Хорошо, - ответил Антоний,- Представьте себе, что вы идете со своей невестой и на нее напали хулиганы. Ее собираются насиловать. Что вы будете делать? - Молиться, чтобы этого не произошло. - Ну, а если ваша молитва не поможет? - Тогда я буду молиться, чтобы от этого злого дела не было бы злых последствий.- Знаете, - ответил владыка, - на месте вашей невесты я бы искал другого жениха!

Человек очень глубокого и очень пристального внимания к жизни и к людям, Антоний

приводил немало примеров на эту тему. Прямолинейная мысль страшна. Это логика Иванушки-дурака, который говорит на похоронах «таскать вам не перетаскать», а на свадьбе начинает оплакивать новобрачных.

Да, есть простота, которая хуже воровства, а есть простота совсем иная. Сколько ни складывай простых прямолинейных истин друг с другом, Целого не получится. Получится та самая сложность, которая ужасает Ольгу Седакову, когда речь идет о возможности примириться или даже «подружиться» со злом. От этой сложности Ольга Седакова призывает уйти к простоте. Не к упрощению, а к той подлинной простоте, которую душа находит, когда она оживает, исцеляется, то есть делается целой. Это те самые кубики андерсеновского Кая, которые складываются сами собой в слово ВЕЧНОСТЬ, когда вечность пробуждается, «оттаивает» в душе.

Были отдельные части - кубики. Один кубик: «Вложи меч свой в ножны, не мечом решается спор сей». А другой: «Не мир, но меч». Когда на месте отдельных высказываний появляются цельные личности, тогда твой меч начинает отсекал зло в тебе самом и все становится на место.

Критерий Силуана - это отсечение всякой вражды, всяческой ненависти, гнездящейся в собственной душе. «Одна капля твари вытесняет всего Бога», - говорит Мастер Экхарт. Одна капля ненависти делает душу непроницаемой для жизни полной, вечной. Надо создать крепость на пути лавины ненависти, катящейся по миру. Первым создал такую крепость сам Христос, сказав свое великое «прости им, Отче, ибо не ведают, что творят». Да, Его мучители не ведали, что, вбивая гвозди Ему в руки и ноги, они вбивали их в собственную душу. Не ведали, что пока ненависть есть в мире, мира не будет. Не ведают, что все мы, хотим мы того или не хотим, таинственным образом связаны друг с другом в единый организм и мир будет живым только тогда, когда мы не будем рвать его на куски. Любовь к врагам - это ощущение тайного единства в явной раздробленности, ощущение той незримой связи, которая и есть религия, ощущение единого Бога, присутствующего во всех нас. Но любовь к врагам отнюдь не означает благословение их на вражду, на зло. Нет, меч еще нужен в этом мире, ибо надо спасти невесту от насилия, страну от поругания. Меч нужен, и все же - «не мечом решается спор сей». Если это сложится вместе в душе, возникнет то самое усилие, которым царствие берется. Что же это за усилие? Стремление победить внутреннее зло и встать стеною на пути внешнего. Стать стеной и стоять, если понадобится, вплоть до распятия. Может быть по-настоящему противостоять злу способна только душа, в которой совсем нет ненависти и вражды. По-настоящему противостоять злу может тот, кто стал самой любовью, одной любовью. «Что ты думаешь о дьяволе? - спросили суффий-скую святую (одну из зачинателей суфизма) Раббийю. - Я не думаю о нем, - ответила она. - Я думаю о Боге». Само существование Бога есть неодолимая крепость на пути зла. Эта крепость находится не на поверхности, а в глубине глубин. Это То самое царство, которое ВНУТРИ нас. И неукоснительное стремление внутрь, в глубину глубин, и есть движение по Божьему следу, о котором говорил вл. Антоний!

Это очень трудный путь, пересекающий все прямые линии застывших принципов. Это движение не по проложенным дорогам, а прокладывание дороги всегда заново, по целине, сквозь дебри! Имея в груди лишь таинственный компас, стрелка которого указывает - ВНУТРЬ. Там, ВНУТРИ, нет двойственности, нет никакой множественности, подробности. Есть единство.

У Дерева сотни веток и тысячи листьев, но Дерево ОДНО. У мира нашего миллиарды

видимых форм, но мир един. Хотя единство его невидимо и находится глубоко внутри всех форм, пронизывая всё и всех. Зло, как бы оно ни маскировалось, есть бесконечные попытки разделить мир на части, оторвав каждую часть от собственной живительной глубины. Подлинное добро есть стремление в глубину самого себя, которая одновременно является всеобщей глубиной.

Глубина эта проста, ибо не делится на части. Поверхность сложна, ибо состоит из множества частей, упорно сохраняющих свою отдельность. И не дружить со злом в самом радикальном смысле означает устремиться в глубину, где ЗЛА НЕТ. Где все очень просто, как в Эдеме, дар памяти о котором и есть поэзия, как утверждает Ольга Седакова. Эдем раскрывается на глубине, где нет двойственности, где нет ни зла, ни безобразия, ни хаоса. Только любовь, красота, гармония.

Да, есть таинственное внутреннее пространство, где Добро, Красота и Истина сходятся и потому стремление к полноте добра (расторжение дружбы со злом) и пути истинной поэзии и истинного богословия сходятся, идут в одном направлении. Мой покойный друг, замечательный художник Владимир Казьмин, оставил запомнившееся мне изречение: «каждое здание стремится стать храмом, каждая картина - иконой, каждое стихотворение - молитвой».

Это не значит, что на сегодня каждое здание - храм, картина - икона, а стихотворение - молитва. Но если искусство не довлеет самому себе, если оно путь, а не конечная станция, то оно путь туда, в эту неделимую на части простоту. Тогда гений и злодейство - две вещи несовместимые. А искусство, которое, по мнению Цветаевой, не выдерживает света совести, - просто еще не вершина искусства! На некой вершине или в какой-то последней точке глубины оно выдержит этот свет и само засветится тем же светом. Такое искусство уже есть. Это не отдельная область, связанная с украшением храмов и с богослужением, а вершина искусства вообще. И Рильке, которого Цветаева считает исключением, не исключение, а один из первопроходцев туда, куда идет всё искусство.

Суть только в том, что требование выдержать свет совести (или точнее войти в глубину, где зла нет) надо предъявлять не столько к искусству, сколько к творцу искусства. Пока зодчий не стал святым, его здание не будет храмом, на нем не будет отпечатка высшей гармонии, духовной стройности. Но если выстроен добротный дом, его ни в коем случае нельзя ломать из-за того, что это не храм. Гоголь, сжигавший свои «Мертвые души», был на ложном пути. Нельзя навязывать произведению извне волю автора. У произведения есть своя внутренняя воля, исходящая из глубины, ее породившей. Икону может написать только святой. Молитву создать - только совершенно чистое сердце, устремленное прямо к Богу.

Самое главное в иконе - не сама она, а то, что таинственно светит сквозь нее. Созерцание иконы уводит меня в безмолвную глубину, где я встречаюсь с духом ее создателя. Как ни прекрасна природа сама по себе, самое главное в ней - не она сама, а то, что светится через нее, ее Творец и наш Творец. Истинное созерцание дает возможность увидеть сквозь природу - Создателя мира.

Красота - это вестник, ангел Божий. Она несет весть, которую надо уметь услышать и увидеть. «Имеющий уши, да слышит, имеющий глаза, да видит». Умение видеть и слышать - это умение видеть невидимого Бога сквозь видимые вещи. Это и есть главное Дело, к которому мы призваны.

Седакова говорит, что «мы можем увидеть поэзию, как дело человека»... Выражение ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА можно принять, как «то, что делает человек» - и как «то, что ДЕЛАЕТ

ЧЕЛОВЕКА». Оба эти смысла, говорит она, и имею в виду. Итак, поэзия- дело человека и то, что делает человека. Формула эта звучит очень хорошо, и хочется к ней присоединиться. И все-таки я останавливаюсь и задумываюсь.

В своей апологии поэзии Ольга Седакова приводит ряд прекрасных цитат, которые возвышают, очищают, воскрешают - и так или иначе преображают душу. Поэзия действительно выглядит Делом, ведущим к святости. Однако святость есть возвращение в рай, в тот самый Эдем, о котором поэзия, по определению Седаковой, только напоминает нам. Святость есть возвращение в состояние безгрешности, соединенности с Богом. Если поэзия - то, что делает человека, то она приравнивается к деланию подвижника, к святому подвигу. Кстати, Рильке именно так к поэзии (и к искусству вообще) относится.

Мне кажется, что разговор о поэзии в статье Седаковой останавливается на полдороге - на очищающем мгновении. А всё остальное время - «пока не требует поэта...», пока «в заботы суетного света он малодушно погружен»? Но вот - «лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется»... Вот тут поэзия, кажется, и делает человека. Но делает ли в самом деле? Человек и поэт раздвоены. Два, а не одно. Есть Пушкин, написавший «Я помню чудное мгновенье». И весьма прозаическое письмо Вульффу об этом самом мгновении. Есть Блок, к которому приближается, пронзает душу и «легкий доселе неслышимый звон»; Блок, который видит «птицу, летевшую смерть унести, птицу, хотевшую душу спасти»... И Блок, который ловит эту птицу, убивает весть о бессмертии.

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил,—
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил - убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную.
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Вся золотая в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Спасительная весть превращается в развлечение толпы.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.

(Блок. «Художник»)

Но почему же это произошло? Почему творческий разум осиливает и убивает птицу - вестника, хотящего спасти душу? Что за раздвоение? Или безгрешное, божественное возможно только в эмпиреях, в небесном далеке, а приближаясь к земле, воплощаясь,

обязательно должно или погибнуть или стать тусклым, грешным, как все земное? Вечная двойственность, вечная «сложность», которую так хочется устранить автору статьи «Нет худа без добра». Есть сложный человек, в котором уживаются худо и добро. Есть сложный человек, в котором уживаются свободная птица и убивающий ее охотник; сложный человек, в котором уживаются высокое и низкое, гармония и хаос, красота и, подчас, пошлость.

Правда, подобная «сложность» у художников совершенно узаконена и принята, и против нее даже опасно высказываться. Пожалуй, потребуется ничуть не меньше смелости, чем для того, чтобы выступить против «дружбы со злом». Обзовут ханжой. Может, даже смешают с морализаторством Сальери, посчитавшим, что убить Моцарта гораздо справедливее, чем терпеть его легкомыслие... Ну, считайте как угодно, но речь здесь, конечно, о другом... Вопрос о совмещении святой музыки (или святой поэзии) с отнюдь не святой жизнью - это вопрос о той же сложности и простоте. Человек, совмещающий это в себе, остается человеком «сложным». И если искать путей к простоте, то искать их надо во всех областях, плохо складывающихся друг с другом: добра и зла, красоты и безобразия, истины и лжи.

Пушкин двигался от сложности к простоте и подходил к ней все ближе и ближе. В конце жизни он поставил вопросы, на которые целый век (а может больше) отвечала великая русская литература, заслуженно названная святой. Это он, Пушкин, задумался о несовместимости гения и злодейства, подлости и государственного величия. Это он сказал, что одно пятнышко нечистой совести сводит на нет все добрые дела. Он осудил на великие муки Бориса Годунова и вдруг своим внезапным безмолвием (приписанным народу) остановил прямолинейных мстителей, зашедших слишком далеко.

Все не так просто, избави бог от прямолинейных упрощений! Но то движение от общепринятой «сложности», понятной всем, к неслыханной и непонятной людям простоте целого - это движение необходимо. И Пушкин, может быть, первый среди наших поэтов, кто это хорошо понимал.

Ведущие поэты и мыслители XX века заговорили о смерти поэзии после Аушвица (Освенцима). И поэзии, и богословия. Ольга Седакова страстно защищает поэзию от приговора Теодора Адорно, утверждавшего, что в мире, где нет предельных вещей, поэзия невозможна. Седакова думает, что поэзию приговаривают потому, что «сказано почти всё - кроме того, о чем не говорят из брезгливости и от стыда, или от скуки». Тут я просто развожу руками. Думаю, что сказано будет всё только тогда, когда перестанут расти деревья, цвести цветы, истощатся поцелуи и вообще кончится жизнь.

Разговор о смерти поэзии, как и о смерти богословия после Аушвица имеет единственный смысл: к поэзии и богословию предъявляются новые требования, а именно: требование выдержать взгляд смерти, ответить на тот ужас, который царит в мире. Это, как в книге Иова, где Бог отворачивается от богословов и говорит Сам со страданием без посредников.

Настоящая поэзия, может быть, имеет дело только с «предельными вещами», то есть с сутью жизни, а не с суетой. Известны хлесткие слова, которые сказал Блок Ахматовой: «Вы пишете так, как будто на вас смотрит мужчина, а нужно писать так, как будто на вас смотрит Бог» (передаю по памяти, но смысл точен). Отвлекаясь от того, насколько эти слова были справедливы или несправедливы по отношению к Ахматовой, я подчеркиваю только одно: нужно писать так, как будто на вас смотрит Бог.

Необходимо предстояние перед Богом, перед Сушим - сутью и смыслом жизни. Если в

мире возможен Аушвиц, если мир занят суетой и не замечает предельных вещей, то поэзия должна ответить за это и на это. Вот в чем, по-моему, смысл разговоров о смерти поэзии. И такая постановка вопроса правильна и плодотворна.

Когда-то я считала, что в стихотворении Блока «Художник» - очень точное описание творческого процесса. Теперь для меня самое точное и глубокое описание творчества заключено в маленьком стихотворении в прозе Рабиндраната Тагора:

«Я погрузил сосуд своего сердца в молчание этого часа, и он наполнился песнями».

Самое главное в поэзии (и во всяком искусстве) не сама поэзия, не само искусство, а что-то большее, чем они. То, что является источником поэзии и источником самой жизни. И состояние, при котором осуществляется контакт с этим источником, то, что творится с душой в это время, куда важнее всего того, что может сотворить сам человек. Тот, кто погружал сосуд своего сердца в молчание этого часа, прежде очистил этот сосуд, ушел с поверхности в глубину. Он очистил свой слух и услышал в молчании что-то бесконечно важное - саму Реальность- то, что ЕСТЬ, в противовес тому что КАЖЕТСЯ.

Там, в реальности, в глубине, темы и формы никогда не могут исчерпаться. Там - неисчерпаемость, там сама бесконечность. И тот, кто погрузил в нее свое сердце, наполняется ею. Это она вытесняет из него всякое слово и всякий поступок, как тело, погруженное в воду, вытесняет воду. Это она - бесконечность, это он - источник жизни говорит и действует. Тот, кто погрузил в него свое сердце, сам не действует. Да, самое высшее действие есть недействие - недеянье. Не сам ты действуешь, а предоставляешь Творцу мира действовать в тебе. Само наполнение им создает форму (опять вспоминаются те же кубики Кая). Это совсем не исключает работы над формой, над воплощением. Работа есть и очень большая. Но это прежде всего работа по освобождению в себе места для Большого, чем ты, по уточнению соответствия между тем, что воплощается, и тем Духом, который воплощается. Это служение тому, кто воплощается. Вот затем-то и летела птица Блока, чтобы раздвинуть твою грудную клетку и вместить в нее Бесконечность. Вот там она могла спасти душу художника, если бы он не поспешил сделать ее пленником своего эго.

Художник должен стать со-трудником Бога, а не соперником в мастерстве. Мастерство, даже самое большое, если оно выдвигается на первое место, а не придерживается четко второго - места служителя, — духовно пусто. Оно может принести славу, вызвать восторги, но оно не оплодотворит душу, не вдохнет в нее жизни.

Если человек воистину служит Богу, если он научился видеть и слышать и при этом он — поэт, он будет писать стихи — молитвы, устремленные к Богу, устанавливающие связь с источником жизни. Если человек, действительно научившийся видеть и слышать, — художник, он будет писать иконы. Не обязательно канонические. Могут быть иконы - пейзажи, где соотношение предмета и пространства создает чувство бесконечности. Это могут быть и другие картины, связывающие человека с источником жизни. Служащий Богу композитор будет писать божественную музыку, зодчий строить храм. Такой человек, в котором совершенно замолкло эго, никак не отделяется от источника жизни — никакого «суверенитета», то есть отрыва! Напротив - непрерывный контакт с Богом. Такой абсолютно смирившийся своя «я» человек может быть не наделен никаким художественным даром, но он сам становится Божьим совершенным произведением - тем прозрачным окном, через которое виден Бог; той Дверью, через которую можно войти в источник жизни.

Да, так будет с тем, кто дойдет до полной «неслыханной простоты» — до той

недвойственности, в которой «Я и Отец — одно». И это людям труднее всего понять. «Я и Отец одно» - выражение высшего смирения понимается как дерзость, гордыня или как существование двух равных величин. То есть остается сложность, остается два, а не одно. Ибо ум наш эвклидов так устроен, что имеет дело с числами, с частями, а не с Целым. Но на самом деле есть не два, а одно, не Бог и человек, а Богочеловек, то есть наполненный Богом человек. И задача преображения человека и преображения поэзии (и искусства вообще) - это не две разные задачи, а единая задача предстояния перед Богом — перед своей сущностью, перед собственным смыслом.

Человек, глядящий в глаза Сущему (Яхве — библейское имя Бога означает Сущий), человек, слившийся с Сущим, с сутью жизни в одно, может переглядеть смерть. Не постижимым для эвклидова ума образом он сам становится воскресением и жизнью вечной. В конце

жизни Пастернак, давно стремившийся к «неслыханной простоте», понял это и вложил в уста своей Магдалины слова:

Но пройдут такие трое суток
И столкнут в ТАКУЮ пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до воскресенья дорасту.

Вот что требуется от нас после Аушвица. То же, что требовалось после распятия.

«Собственно говоря, лишь немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее»

Джонотан Стифт